

Милий Езерский

Конец республики

Книга первая

I

Лициния и Эрато каждая по-своему отнеслись к деянию заговорщиков. Лициния думала, что наступило освобождение римского народа от власти великого демагога, этого двуликого Януса, бывшего одновременно и популяром и царем; что республика, которую возглавит Брут, станет колыбелью плебса; что коллегии Клодия придут к власти.

Она вспомнила Сальвия, сподвижника Клодия, — оба были борцы, но Клодий подчинился Цезарю, который потом обманул коллегии, распустив их, и пошел иными путями. А Сальвий? Что дал ему бунт Долабеллы, кроме разочарования и неизлечимой раны, которая привела к смерти? Однако остатки коллегий тайно продолжали существовать, Лициния знала об этом от друзей Сальвия, изредка навещавших ее.

— Если Брут соединится с Секстом Помпеем, — утверждали популяры, — республика победит: Секст, говорят, друг угнетенных. Испания восхваляет его как честнейшего республиканца.

Лициния не была уверена в том, что Секст Помпей именно тот муж, который должен возродить республику, Не добивается ли он власти, мало помышляя о народе, горя желанием отомстить за смерть отца и получить его наследство?

Она поведала свои сомнения Эрато. Гречанка, пожав широкими плечами, закинула за голову толстые мясистые руки и, зевнув, сказала:

— Клянусь Гестией, ты меня удивляешь, милая Лициния! Чего тебе еще нужно? Все мое — твое. Чем же ты недовольна и почему не благодаришь богов за их милость? Конечно, я огорчена смертью диктатора, который был так добр ко всем нам, но его не вернешь из подземного царства. Ты превозносишь Брута, Кассия и Секста Помпея, а ведь нам известно, что Брут и Кассий — убийцы. Ты говоришь — Секст. А кто его знает? Мой господин Оппий утверждает, что Брут и Кассий — не государственные мужи...

Насмешливые речи Эрато оскорбляли Лицинию.

— О, госпожа моя, — возразила Лициния, — разве ты не была рабыней и вольноотпущенницей? Разве ты не из бедной семьи горшечника, которая нуждалась, притесняемая жадными купцами? Неужели ты забыла прошлое и сердце твое окаменело? Взгляни на римский плебс, сравни его нищету с нищетой илотов и скажи, не скрывая, — разве тебя не трогает участь бедняков?

Эрато рассмеялась.

— Какая ты глупая, — сказала она, усаживаясь на ложе, — что могут сделать две слабые женщины? Спартак и Клодий, мужи сильные и храбрые, не устояли, а ты, женщина, чего-то хочешь, о чем-то мечтаешь... О неужели ты, действительно, думаешь о борьбе? Но где вожди? Назови хоть одного достойного! Где средства? Имеют ли их коллегии Клодия? Где оружие? Много ли его у вас для борьбы с легионами? А самое главное — на какие силы вы рассчитываете?

— О госпожа моя, ты не веришь! — вскричала Лициния, — Но клянусь Громовержцем! — кроме Брута и Кассия, будут у нас новые вожди из среды плебса;

средства и оружие найдутся — нам помогут добыть их наши единомышленники, а силы... О, их много... Плебс Италии и провинций будет на нашей стороне...

— И легионы Секста Помпея? — презрительно вздернули плечами Эрато. — Увы, Лициния! Секст — не Спартак, и, если бы даже он был им, не устоять ему против Рима!

Лициния молчала. Неверие Эрато в победу плебса наполнило ее сердце неприязнью к случайно возвысившейся рабыне. Чувствовала, как высокая и крепкая стена вражды вставала между ними.

— Меня, госпожа, не может удовлетворить эта праздная жизнь... Благодарю тебя за твою доброту — пусть боги воздадут тебе радостью и такой же мирной жизнью, а я не могу так жить...

— Чего же ты хочешь?

— Я уйду, госпожа, к вождям коллегий... Может быть, к Бруту...

Эрато всплеснула руками.

— Ты много старше меня, Лициния, и опытнее в жизни. А на этот раз ты ошиблась... и друзья Сальвия ошиблись... Консул Антоний науськивает народ на Брута и Кассия...

— О, боги! — прошептала Лициния. — Ты шутишь, госпожа, ты хочешь удержать меня...

— О, нет, Лициния, разуверься, — холодно сказала Эрато. — Иди к популярам, поброди по улицам, прислушайся, что говорят плебеи и ветераны... И еще сегодня ты вернешься в мой дом...

— Нет, госпожа, нет!.. Ну, а если ты ошиблась, пойдешь ли со мною...

— Я, с тобою? — возмутилась Эрато. — Не хватало еще, чтобы женщины ввязывались в политику, несли на себе тяготы войны! Кому нужна, Лициния, твоя борьба? Человек живет один раз, и глупо играть своей головой ради сомнительного блага будущих поколений! Ведь и вы не уверены, что победите. А если бы у вас и была эта уверенность, я не пошла бы подставлять свою грудь под стрелы, копья и мечи легионариев...

— Ты предпочла бы жизнь рабыни?

— Конечно. Все же это была бы жизнь, а не смерть. Повторяю, мы живем один раз, и глупо жертвовать жизнью ради мечты.

Лициния вскочила, — на бледном лице ее выступил румянец.

— Госпожа, ты была рабыней и осталась ею! — вскричала она. — Твоя трусливая философия ранит мое сердце... О, Эрато, Эрато!..

Гречанка нахмурилась.

— Не тебе жалеть меня... Это я должна тебя жалеть... Многого ли добился твой Сальвий? Он сгорел в борьбе против власти. А я видела Власть в лице Цезаря. Один муж держал в своей мощной руке миллионы жизней, делал, что хотел... Сенат повиновался ему, боги поддерживали его. Это власть. А вы? Ничтожные черви, которых он мог легко растоптать. Вот почему я не верю в успех вашей борьбы!.. Мне живется хорошо, и я не откажусь от этой жизни, да и никто не откажется... А о бедняках пусть заботятся глупцы и мечтатели, которым терять нечего...

— Госпожа, что ты говоришь? — воскликнула Лициния и бросилась к двери.

Эрато не удерживала ее. И, когда дверь за Лицинией захлопнулась, спартанка подошла к клетке, в которой сидел зеленый попугай, и стала дразнить его. Взбешенная птица бросалась на клетку и кричала хриплым голосом:

— Дура, дура!
Эрато хохотала.

II

Улицы были запружены народом, спешившим на форум. С крыш ломов смотрели на толпы гордые матроны в столах, дети с локонами до плеч, одетые в белые легкие туники, спускавшиеся до колен, учителя и педагоги, вольноотпущенницы.

Толпы двигались со всех сторон, выливаясь из улиц и переулков, сталкиваясь на площадях, наполняя улицы многоголосыми криками. Здесь были разрозненные остатки коллегии Клодия, лишенные единства и силы, и Лициния, присоединившийся к ним, видела, что друзья Сальвия преувеличили значение их, и вспоминала насмешливые слова Эрато; шли ремесленники, вольноотпущенники и мелкие торговцы, не рассчитывавшие на помощь республики, не уверенные в хлебе и жилище на завтрашний день; они поносили грубыми словами богачей и квартирных хозяев; за ними двигались, звеня оружием, ветераны, призванные совсем еще недавно Цезарем для участия в парфянском походе. Теперь, когда вождь был убит, они думали, что аристократы лишат их милостей, дарованных им, и с озлоблением посматривали по сторонам, готовые с оружием в руках отстаивать свои права. «Цезарь убит, — говорили ветераны, — но остался консул, правая рука императора, и он позаботится о нас». Они шумели больше всех, ударяя по мечам, и звон и крики наполняли улицы, пугая Лицинию:

- Проклятье убийцам Цезаря!
- Смерть злодеям!
- Его закололи люди, которым он верил!
- Которых любил!
- Которых возвысил!

Лициния слушала с ужасом: вот плебс подхватывает угрозы ветеранов, и уже коллегии кричат, надрываясь, проклятья, и уже весь народ — даже рабы и невольницы возносят хвалу Цезарю, величая его отцом и благодетелем.

Форум кипит. На ростре стоит бородатый консул, и ветерок играет его черными волосами.

— Квириты, — говорит он громким голосом, когда народ умолкает, — великий Цезарь оставил завещание, и я, его друг и коллега, хочу объявить вам волю императора...

Он читает завещание при гробовом молчании народа. И, когда называет имена заговорщиков, которых Цезарь осыпал милостями, и упоминает имя Децима Брута, второго наследника в случае смерти Октавия, толпа неистовствует, а ветераны кричат: «Смерть убийцам!»

— Где справедливость? — воздевает руки к небу Антоний. — О, Цезарь, отец наш! Видишь ли бедняков, притесняемых презренными сторонниками убийц? Слышишь ли вопли и стоны голодных? О, вождь наш, друг Клодия, убитого палачами! И тебя поразили преступные руки! А чьи? Руки друзей, которым ты верил и которых любил! О горе! Где ты, дружба, любовь, благодарность, честность, милосердие?

Еще большее впечатление производит забота диктатора о народе. Антоний уже не

говорит, а кричит на весь форум, на все улицы, на весь Рим:

— Большие деньги завещал популярь Цезарь римскому народу: каждый квирит получит по триста сестерциев. А плебс, кроме того, в вечное пользование сады за Тибром! Но берегитесь людей, которые посягают на милости, дарованные вам императором...

В наступившем молчании слышно, как всхлипывают седые ветераны, видно, как они утирают слезы заскорузлыми руками.

— Слава Цезарю! Антоний кончил чтение.

— Все на похороны! — воскликнул он, и толпа подхватила его возглас.

Лициния спросила молодого популяря Понтия, что он думает об Антонии, и тот, не задумываясь, ответил:

— Демагог.

Она выразила удивление, почему коллегии Клодия присоединились к ветеранам, требовавшим убийства заговорщиков. Понтий пожал плечами:

— Цезарь называл себя популяром, был другом Клодия, и ветераны верили императору как популяру, а он оказался демагогом. Поэтому я не мог поддерживать ветеранов и отошел от них. Мы работаем в цирке, объезжая диких коней, участвуя в состязаниях колесниц. Я учусь побеждать в цирке, чтобы потом побеждать на форуме и бороться с оружием в руках.

— Что цирк? Не это нужно делать.

— А что?

Лициния не знала. Вспомнила пожар на форуме — как это было давно! — и Сальвия, зажигавшего факелом погребальный костер Клодия.

— Когда Цезарь распускал коллегии, ты говорил, что вы сильны. А я смотрела сегодня на остатки коллегий и не чувствовала силы в их рядах. Нет, популяров мало, они не объединены. Как же они думают продолжать борьбу?

— Они еще не решили.

— А Брут? Посоветуй им договориться с ним.

— Я отошел от них, но, если это нужно для нашего дела, мы встретимся и обсудим, нужно ли связываться с Брутом, — сказал Понтий.

«Они не знают, захотят ли коллегии поддерживать Брута, бывшего сторонника Помпея? — подумала Лициния. — Не есть ли убийство Цезаря — месть помпеянцев? Ведь Эрато говорит, что Цицерон подстрекал Кассия и Брута...»

Усталая и голодная, возвратилась она в дом Оппия.

Эрато стояла на пороге лаватрины. Она только что вышла из цистерны и, крепкая, здоровая, сверкала наготою; одни рабыни вытирали ее, другие готовились умащать благовониями.

— Я так и знала, клянусь Герой! — воскликнула Эрато. — Разве женщины способны на подвиг? Наше дело — подвиги любви, правда, Лициния? Ты краснеешь? Но ты еще не стара, сколько тебе лет? Более тридцати? Говорят, римлянки умеют любить до глубокой старости.

Они уселась в кресло и протянула коленапреклоненной рабыне ногу, покрытую темными волосками. Невольница раскрыла коробочку, вынула черепок острацита и принялась гладить кожу.

— Брось его! — крикнула Эрато, ударив ногой рабыню в зубы. — Разве не знаешь, что я предпочитаю эольскую пемзу? — И, обратившись к Лицинии, которая вспыхнула от негодования, добавила: — Эта скотина настолько бестолкова, что только

хороший удар проясняет ее мысли.

— Госпожа моя, ты несправедлива. Вспомни, что и ты была...

— Замолчи!

В то время, как одна рабыня сглаживала волоски с ее тела, другая приводила в порядок ногти на руках и ногах, придавая им круглую форму и полируя их, третья натирала лицо, чтобы придать ему хороший цвет, тестом, замешанным на молоке ослицы, а четвертая покрывала лицо смесью из бобовой и рисовой муки, Лициния молчала, наблюдая за работой невольниц. Ей было стыдно и досадно на себя, что, живя у спартанки, она не замечала ее повадок — повадок щеголихи-блудницы, занятой только уходом за своим телом.

— Заговорщики сидят взаперти, так сказал мне господин мой, — заговорила Эрато, внимательно присматриваясь к своему лицу в серебряном зеркале. — Они укрепились в домах, боясь нападения черни. Когда похоронят Цезаря, им придется бежать из Рима, иначе ветераны и коллеги Клодия, — подчеркнула она, — растерзают их в клочья...

Лициния молчала.

— Вот, Лициния, ты и вернулась, — продолжала Эрато, следя за невольницей, выводившей узенькой кисточкой на ее груди бледно-голубые жилки, — а вернулась потому, что у вас нет вождя...

— Ты ошибаешься, госпожа, — солгала Лициния, — я зашла к тебе по дороге... по старой привычке... А вождя и не искала, потому что он у нас есть — это доблестный Брут.

— Брут? И ты веришь этому мягкому, безвольному человеку? Его место у Цицерона за свитками папирусов и пергаментов...

Лициния смутилась. Ни Брута, ни Кассия, ни Цицерона она не знала. Правда, Цицерона она видела после заговора Катилины, — старый, поджарый, длинноносый, с холодными насмешливыми глазами и тощими ногами, он напоминал журавля, был неприятен. А Брут и Кассий? Она никогда их не видела. Но если Цицерон — друг заговорщиков, то могли ли Брут и Кассий бороться за плебс, стать вождями?

Как бы угадывая ее мысли, Эрато встала, оглядела себя в зеркале и сказала:

— Все они, вместе взятые, ничего не стоят. Республику и свободу может спасти муж твердый и жестокий.

— Секст Помпей?

— Не знаю его. Муж твердый должен непременно явиться, иначе республика развалится.

— Ты повторяешь слова Оппия...

— А разве они несправедливы?

Задумавшись, Лициния вспоминала свою жизнь во Время деятельности триумвиров. Тогда жил Сальвий, борясь рядом с популярями, и жизнь казалась наполненной, как чаша вином. А теперь? Все отживало, клонилось как будто к упадку.

Молча она простилась с Эрато и направилась к двери.

III

После похорон Цезаря волнения в городе продолжались. Несколько раз толпа

пыталась взять приступом дома Заговорщиков, но рабы и клиенты отбивали нападения.

Брут и Кассий не могли выйти из дому и приняться за отправление магистратур.

Время близилось к полудню. В атриуме горели светильни, потому что комплювий был закрыт ставнями, — толпа осыпала дом Брута камнями.

— Неужели делом наших рук воспользуются аристократы? — Волнуясь, говорил Брут, шагая из угла в угол, одергивая на себе тогу и прислушиваясь к угрожающим крикам снаружи, — Неужели казнь Цезаря не изменит положения в республике?

Он был удручен и говорил, ни к кому не обращаясь. Кассий, щурясь, просматривал рукопись, изданную недавно Аттиком: на тонком пергаменте были выведены киноварью крупные письма с затейливыми завитушками «Тимей» Платона, переведенный М. Т. Цицеронрм. Порция, прижимая руки к груди, вздрагивала от ударов в стены и каменного дождя, стучавшего по крыше.

— Беда в том, — отозвался Кассий, — что все растеряны. Саллюстий и Бальб дрожат за свои богатства, Оппий просит поддержки у Цицерона, а Гиртий, говорят, бежал из Рима. Испуганный Лепид пишет нам дружелюбные письма, консул Антоний возбуждает против нас ветеранов и одновременно заискивает перед сенатом. Я говорил, что его следовало убить, а ты, Марк, воспротивился.

— Я и теперь не жалею об этом, — мрачно сказал Брут, пощипывая бородку. — Если у власти окажемся мы...

— Но мы бессильны так же, как и цезарьянцы. Кто же восстановит республику? Цицерон? Я никогда не любил его... Он остался помпеянцем.

— А мы?

— Если мы и заблуждались, то республика от этого не пострадала.

— Теперь плебс должен выдвинуть вождя, — заметил Брут, прислушиваясь к удалявшимся крикам толпы.

— Он уже выдвинул Герофила, этого проклятого коновала, лже-Мария, изгнанного Цезарем. Герофил возбуждает народ против нас, требуя мести за диктатора и вопя на перекрестках: «Смерть Бруту и Кассию!»

— Мне кажется, муж мой, — вмешалась Порция, — что вам обоим небезопасно оставаться в Риме. Ветераны озлоблены, и боги одни ведают, что может случиться, если вы пойдете на форум.

— Смерть? Мы ее не боимся, — сказал Кассий. — Может быть, смерть лучше такой жизни. Боюсь, что мы оказали Цезарю большую услугу, освободив его от волнений и борьбы с недовольными...

Брут остановился. Темная складка, залегавшая у него между бровей, выделялась резче, чем всегда; голос упал до шепота.

— Молчи. Он мне снится каждую ночь...

— Ты много думаешь о нем, муж мой, — прервала его Порция. — Жалеть Цезаря значит жалеть, что Рим лишился царя и власти Клеопатры.

— Я не жалею, — твердо сказал Брут, — магистрат, стремящийся к диадеме, должен быть казнен. Не я один повинен в смерти Цезаря, а весь Рим.

«Слова Цицерона», — подумал Кассий, свертывая пергамент.

Вошел раб, низко поклонился:

— Какая-то женщина желает видеть господина. Она говорит: «Мне нужен Брут».

— Пусть войдет.

Раб ввел Лицинию. В плебейской одежде, в грубой обуви, она стояла перед

Брутом, взглядываясь в него, стараясь угадать, тот ли это человек, который назначен Фатумом бороться за плебс.

Брут тоже смотрел на нее, думая, что нужно этой женщине, а Кассий и Порция внимательно разглядывали ее лицо.

Каждый думал по-разному. «Вольноотпущенница», — решил Брут; «Искательница приключений», — подумал Кассий; «Голодная плебеянка», — сказала себе Порция и подошла к ней:

— Кто ты?

Рассказав о своей жизни, Лициния добавила:

— Ты видишь, что я — женщина честная, а не обманщица. Впрочем, ты можешь справиться обо мне у Оппия. Я оставила госпожу свою Эрато, чтобы бороться за свободу, ибо я сжилась с плебеями и благо их стало целью моей жизни... Я помню заветы популяров и мужа моего Сальвия... И я готова, господин мой, — обратилась она к Бруту, — пойти за тобой, куда ты меня поведешь, лишь бы ты боролся за свободу и счастье народа.

Брут просветлел.

— Сядь, госпожа моя (Лициния смутилась, — так обращались к ней впервые, и ей было стыдно и приятно), рядом с моей супругой. Ты много пережила, и я прошу богов вознаградить тебя за твои страдания. Ты ждешь от меня выступления против угнетателей, а я еще не готов к борьбе.

Лициния села на биселлу.

— Я пригожусь тебе, господин мой, — сказала она, — и привыкла к тяжелой жизни, стала выносливой и нетребовательной. Я умею работать мечом и копьем.

— Ты?! — вскричал с изумлением Кассий. — О, Минерва, слышишь? Не женское дело возложила на свои плечи эта женщина, и вынесет ли она...

Ты ошибаешься, господин! Я могу быть гонцом, вести переговоры, отправиться на разведку, и никому не придет в голову, кто я: там, где часто не пройти мужчине, пройдет женщина.

— Мы подумаем, — улыбнулась Порция, протянув ей руку. — Оставайся у нас, ты будешь с радостью принята в нашу семью. И, шурша столой, подошли к ларарию, сделав Лицинии знак приблизиться.

Подав друг дружке руки, они зашептали молитву; одна просила домашних богов принять под их покровительство пришедшую женщину и охранять ее наравне с семьей от всего дурного; другая обещала, как член фамилии Юниев, поддерживать дело своего патрона, бороться рядом с ним, жертвовать за него жизнью.

IV

Убийство Цезаря было для Антония страшным несчастьем.

Он любил завоевателя Галлии, разделял его политические взгляды, и монархия, к которой стремился диктатор, была и его затаенной мечтой.

Вспомнились события после смерти Цезаря: бурная радость Цицерона, заговорщики, укrywшиеся на Капитолии, призыв консулом в Рим остатков Клодиевых коллегий, колонистов, ветеранов Цезаря и его сторонников, измена Долабеллы, любимца Цезаря (Долабелла восхвалял на форуме убийц), утверждение сенатом всех

распоряжений диктатора.

Ненавидимый, презираемый аристократами, имевший мало друзей, Антоний решил опереться на популяров, ладить с врагами. Он даже притворился сторонником заговорщиков и, посоветовавшись с Лепидом, устроил большой обед в честь Брута и Кассия. Здесь, сидя между братом Люцием и женой Фульвией, он говорил о величественности дела заговорщиков, пил за здоровье Кассия и Брута, восхвалял Децима, своего старого друга, и предсказывал, толкая под столом Фульвию и Люция, восстановление республики. А потом он развернул на форуме перед народом окровавленную тогу Цезаря и плакал; непритворные слезы катились по смуглым щекам и пропадали в густой бороде.

Вспоминал. Труп Цезаря сжигали на форуме. Был воздвигнут большой костер, и ветераны бросали в огонь оружие, музыканты — инструменты, а плебеи — одежды. А когда ненависть к убийцам достигла своего предела, толпа, с факелами в руках, бросилась к домам заговорщиков. Несколько поджигателей хотели устроить пожар на форуме, но Антоний приказал схватить их и сбросить с Тарпейской скалы.

Прошелся по таблинуму, прилег на ложе. Зажав по привычке в кулаке бороду, он думал. Сколько событий, а в итоге все же у власти — аристократы. Разве не прибывают каждый день помпеянцы? Во главе республики находится он, консул Антоний, но почему никто не желает помочь ему в государственных делах? Децим Брут и другие отправились в свои провинции, сенаторы — в виллы, и даже Цицерон поспешил уехать в Путеолы. Было ясно, что аристократия не может управлять республикой, а цезарьянцы, оставшиеся без вождя, способны только на беспорядки. И, действительно, мятежная толпа бесчинствует, а Герофил требует отомстить за диктатора.

— Пусть умрут злодеи, — шепнул Антоний, — а потом...

Кликнул раба и, надев тогу и белую обувь, вышел на улицу. Впереди него шли с красными поясами двенадцать ликторов, неся на левом плече березовые прутья, связанные красным ремнем, и поддерживая их левой рукою. Толпы расступались. Антоний видел квиритов, детей и девушек в разноцветных одеждах, вольноотпущенников у своих лавок, плебеев, рабов и невольниц; проплывали лектики с гетерами и знатными чужеземками, слышал восклицания: «Друг и коллега Цезаря!» — и, не оглядываясь, продолжал путь.

На форуме остановился перед алтарем, воздвигнутым Цезарю Герофилом; здесь совершались обеты, жертвоприношения, молитвы, разрешались споры.

— Клянусь Цезарем! — сказал стоявший в стороне ремесленник. — Если Герофил не уничтожит убийц, мы сами отправимся к ним в гости!

— Ходили к ним не раз, — усмехнулся бородатый кузнец, — да они не очень гостеприимны. Взгляни, — указал он на синяк, расплывшийся под глазом, — вот они угостили нас!

— А ты так и ушел? — презрительно сказал ремесленник и плюнул. — Не забывай, что Цезарь сопутствует тем, кто мстит за него...

— Поэтому мы и пошли. А злодеи встретили нас стрелами и камнями!

Антоний, обходя форумы и улицы, видел возбужденные толпы граждан. На рыбном рынке ветераны напали на двух всадников и опрокинули их лектики; избитые богачи едва спаслись. На одной улице гладиаторы оскорбили матрон и сорвали с них одежды; толпа окружила полунагих женщин и забросала их грязью. У городской лаватрины ветераны потешались над лысым сенатором, напяливая ему мешок на

голову.

— Был один лысый — это наш вождь и бог! — кричали они. — Больше лысых не должно быть!

При виде консула, предшествуемого ликторами, мятежный плебс оставлял свои жертвы, и Антоний принимал благодарность от вырученных из беды нобилей с видом человека, враждебно настроенного к цезарьянцам.

Подойдя к храму Теллуры, возле которого находился его дворец, он услышал крики Фульвии и увидел ее, растрепанную, разъяренную, среди пьяной толпы. Им овладело бешенство. Растолкав людей, он бросился к жене, пытаясь взять ее под свою защиту, но коренастый старик оттолкнул его с такой силой, что Антоний едва не упал.

— Презренный богач! — вскричал старик, угрожая ему палкою. — Знаешь ли, кто перед тобою? Сам Марий, вождь плебеев! Клянусь Цезарем, я привык не щадить его врагов, и если сам консул бездействует...

— Разве не видишь, Герофил, что перед тобою консул? — ответил Антоний.

— Не верю, — упрямо возразил старик, — Антоний был друг Цезаря, а друг обязан отомстить убийцам. — И возвысил голос: — Если ты действительно Антоний, то почему предаешь Цезаря?

Антоний обратился к ликторам и приказал схватить Герофила.

— Не тронь его! — закричала толпа, надвигаясь на консула.

Однако Антоний не смутился, решив перекричать усилившийся ропот. Подняв руку, он возгласил:

— Квириты, Герофил был уже однажды изгнан Цезарем, который не любил обманщиков; этот коновал, самозванный племянник Мария, дурачит вас, и теперь — клянусь Цезарем! — понесет заслуженную кару.

Герофил вырвался из рук ликторов и бросился бежать, но ликторы настигли его на углу улицы. Защищаясь, коновал ударил ножом одного ликтора.

Антоний видел борьбу. Лицо его было гневно. Фульвия дотронулась до его руки.

— Казни злодея, — шепнула она, — он посягнул на мою честь.

Антоний, не колеблясь, обратился к толпе:

— Квириты, подлый самозванец оскорбил супругу консула, друга Цезаря, нашего отца. И голос императора говорит мне: «Казни его!»

Суеверная толпа безмолвствовала. Только два-три возгласа поднялись в защиту Герофила.

Ликторы привели связанного старика. Проклиная Антония, он кричал о любовных похождениях Фульвии с Долабеллой, называл Антония предателем дела Цезаря. Обращаясь к толпе, он злобно спрашивал:

— Что же вы молчите, трусы? Консула испугались? Пьяница и сладострастник ведет на казнь Мария, и народ молчит? О, боги! вы видите, как низко пали эти продажные твари!..

— Замолчи! — вскричал Антоний и нанес ему кулаком сильный удар.

Герофил упал навзничь. Его подняли; из носа и рассеченной губы старика стекала кровь по подбородку.

— Сбросить злодея с Тарпейской скалы, — повелел Антоний.

Толпа зашумела, бросилась к ликторам. Подоспели братья Гай и Люций, стали уговаривать народ не выступать против консула. И, когда Герофил был уведен, Антоний обратился к братьям:

— Люций, отведи Фульвию домой, а ты, Гай, возьми ветеранов и обойди город.

Приказываю рабов-бунтовщиков распинать, а мятежных вольноотпущенников сбрасывать с Тарпейской скалы.

С этого дня Антоний еще больше сблизился с аристократами. Поручив Лепиду вести переговоры о мире с Секстом Помпеем, он думал, что с ним возможна дружба. «Секст поможет мне в достижении намеченных целей, стоит только обещать ему хотя бы частицу власти и полное возвращение отнятых отцовских имений»...

Однако сын Помпея не доверял Антонию. Кто такой был Антоний? Ярый приверженец Цезаря, враг республиканцев, противник аристократов, то есть муж, убежденный в правильности пути, избранного Цезарем. И если диктатор погиб, то не Антоний ли будет продолжать его дело, добиваясь диадемы?

Трудность борьбы была очевидна: Брут и Кассий — перебежчики из лагеря Помпея в лагерь Цезаря, и доверять им не приходилось: притом Брут, более философ, чем вождь, казался Сексту ничтожеством, и, если бы не смелый и твердый в решениях Кассий, ничего бы у заговорщиков не вышло. Так думал Секст, колеблясь между союзом с Брутом и Антонием: Бруту он не верил, как изменнику дела Помпея Великого, а Антония считал волком, надевшим овечью шкуру.

Секст ответил Антонию, что готов сложить оружие, если ему возвратят имущество отца и если полководцы откажутся от начальствования над своими легионами.

Антоний понял намек. От соглядатаев, следивших за Цицероном, он знал, что оратор надеялся на Секста, как на восстановителя свободы, — «Пока существуют республиканские легионы — не все еще потеряно», — мечтал оратор.

— Пусть Цицерон ждет нападения Секста Помпея на Италию, — говорил Антоний Фульвии, готовившейся ко сну, — войска аристократов получают отпор! Не может быть чтобы дело Цезаря было растоптано кучкой заговорщиков!

— Да поможет нам Дева мудрым советом и копьем, — зевая, вымолвила Фульвия, укладываясь на ложе. — Сегодня я виделась с вдовами триумвиров — Тертуллией, Корнелией и Кальпурнией; Тертуллия давно утешилась после смерти мужа и сына, — занята любовными делами, несмотря на то, что поседела; прекрасная Корнелия скорбит о смерти Помпея Великого, а Кальпурния — о смерти Цезаря.

— Почему ты вспомнила о них?

— Корнелия могла бы повлиять на Секста Помпея как супруга его отца, а Муция — как мать. Теперь нужно увидеться с обеими...

— Клянусь Вестой, я ничего не понимаю! При чем тут Тертуллия и Кальпурния?

— Тертуллия имеет влияние на Муцию, не подумай — любовное — нет, нет! Кальпурния дружит с Тертуллией со времени гибели Красса и его сына. Понял теперь? Подражай Цезарю, действуя через женщин.

Антоний хлопнул в ладоши и повелел рабыне подать вина и фруктов.

— Мысль хороша, но я предпочитаю, Фульвия, действовать через тебя...

— И напрасно. Я ненавижу и презираю жен триумвиров, хотя часто бываю у них. Действуй сам. Если нужно, сделай их своими любовницами...

— Тертуллию? Старуху?.. Ха-ха-ха!

— Что ж, ты не брезглив. Впрочем, все пути хороши для достижения цели.

Она привлекла его к себе и, когда вошли рабыни с вином и фруктами, добавила:

— Я тоже старею, но разве это помешает нам пить, веселиться и любить друг друга до самого рассвета?

Гай Октавий находился в окрестностях Аполлониды, где стояли лагерем римские легионы, ожидавшие приказания двинуться в поход, когда прибыл Диохар, старый гонец Цезаря; он разыскал с большим трудом Октавия и сообщил ему об «отцеубийстве», повергшем Рим и весь мир в ужас.

Рыжеватый юноша, с густыми, сросшимися бровями, побледнел, губы его полураскрылись, обнажив гнилые зубы, точно он собирался заплакать. Прихрамывая на левую ногу, он прошелся по шатру и, подойдя к своему другу Агриппе, смуглому юноше с толстыми красными губами, сказал:

— Слышал, Марк Випсаний, какой удар нанесла нам Фортуна?

— Удара не слышу, — тихо вымолвил Агриппа, — но чувствую его: сердце у меня не на месте.

— Расскажи, старик, как это случилось, — приказал Октавий.

Диохар сообщил ровным старческим голосом подробности убийства, а чего не знал, придумывал, — он любил украсить речь небылицами, поразить слушателей своей осведомленностью. А тут дело касалось диктатора и императора, величайшего мужа! И Диохар стал сочинять: он говорил, что Антоний, желая помочь Цезарю, бросился в курию Помпея; заговорщики удерживали его, и консул разбил лица в кровь нескольким сенаторам, а Брута и Кассия, обратившихся в бегство, назвал предателями; Цицерон же, рукоплескавший убийцам, получил от Антония пощечину.

Старик болтал без умолку — он клялся небожителями, что сам видел тень окровавленного Цезаря, бродившую по форуму с мечом в руке и искавшую своих убийц.

— Его тень, — продолжал он, — являлась Антонию, Лепиду, Кальпурнии и Долабелле: она требует мести... Ветераны и плебеи волнуются. Антоний не знает, что делать... он бессилён...

Когда гонец вышел, Агриппа взглянул на Октавия.

— Гай Октавий, не медли, — сказал он, — стань во главе легионов, иди на Рим...

— Мне, на Рим? — испугался Октавий. — Да ты шутишь, друг! Итти против сената, против друзей Цезаря, против...

— Нет, против помпеянцев! Соединись с Антонием, и вы продолжите дело Цезаря...

Октавий нерешительно покачал головою. Агриппа продолжал убеждать его; он употребил все свое красноречие, но Октавий отмалчивался.

Вскоре собрались друзья и военачальники.

— Легионы уже знают о смерти Цезаря, — сказал ветеран-примипил, — и требуют итти на Рим. Не медли же, наследник Цезаря, научись создавать с юных лет величие Рима...

— Он верно говорит, — кричали военачальники, — покажи себя достойным потомком Ромула!

Однако Октавий нерешительно поглядывал на преданные лица друзей. Он испытывал робость школьника, застигнутого строгим учителем во время совершения недозволенной шалости; можно еще вывернуться, спастись, свалив свою вину на одного из товарищей, но страшно его увесистых кулаков, а еще страшнее

беспощадных ударов учителя ребром дубовой линейки по ладоням.

И Октавий колебался, избегая взгляда Агриппы и умоляющих глаз примипила.

— Я подумаю, — вымолвил он и встал.

В шатер ворвались громкие крики легионариев, вошел караульный легат.

— Вождь, легионы волнуются. Они строятся перед Преторией.

Октавий понял. Он должен выйти к легионам и успокоить их. Может быть, обещать даже поход на Рим. Но сдержит ли он свое слово? Нужно решить теперь же.

И вдруг он улыбнулся. Лица военачальников просветлели. Агриппа, знавший хорошо Октавия, обрадовался: победа его над этим «нерешительным стратегом», как он подумал, могла быть началом влияния на него и в будущем.

Выйдя на преторию, полководец произнес речь. Он проклинал убийц и притворно, закрыв руками лицо, всхлипывал. Потом, опустив глаза, развел руками:

— Идти нам, римляне, на Рим — значит начать гражданскую войну. Народ устал, не желает войны, и сенат двинет против нас Испанию, Галлию, Африку и Азию; мы будем раздавлены, как клопы. Не благоразумнее ли будет, если я с несколькими друзьями отправлюсь в Рим, чтобы получить наследство Цезаря? Там я увижусь с товарищем диктатора Антонием и другом его детства Лепидом и тогда уже решу, что делать.

Военачальники были ошеломлены. Агриппа растерялся. «Влиять на Октавия? — думал он. — Легче жениться на весталке. И все же я добьюсь первенства».

Легионарии молчали. Они считали бездействие полководца трусостью и неверием в их силы. В задних рядах послышался ропот, и Агриппа подумал, что, если не удастся успокоить воинов, может произойти страшное возмущение.

— Римляне, — воскликнул он, подняв руку, и ропот затих, — решение полководца мудро. Вы останетесь не без выгод, когда наступит время выступить и поработать мечами, копьями, стрелами и дротиками!

Он кричал звучным голосом на весь лагерь, и его толстые красные губы прыгали. Легионарии смотрели на Агриппу и старались понять, действительно ли не трусят военачальники.

— А пока мы будем в Риме, — добавил Октавий, — не ослабляйте бдительности: помните, что здесь — недовольные Римом племена, а там — раздраженные Цезарем помпеянцы.

Прибыв в Рим, Октавий узнал, что Антоний под влиянием жены Фульвии и брата Люция, народного трибуна, решил захватить, опираясь на ветеранов, верховную власть. Всюду говорили, что Антоний обратился к народу с речью, в которой восхвалял Цезаря, называя его величайшим гражданином. Ветераны рукоплескали ему, призывая отомстить за Цезаря. Антоний не мешал им выражать свои чувства. Сенат возмущался действиями консула: по записям, найденным якобы в папирусах Цезаря, Антоний даровал сицилийцам права гражданства, а Дейотару вернул галатское царство. Ходили слухи, что Сицилия уплатила ему большие деньги, а Дейотар выдал синграфу на десять миллионов сестерциев.

Октавий слушал Агриппу, не прерывая. По обычаю, он, приемный сын, должен был преследовать убийц отца, но амнистия препятствовала этому.

— Как обойти ее? — говорил он. — Не отомстив за Цезаря, я не могу принять его имя. Для всех я — Гай Октавий.

— Нет, Цезарь, — льстиво ответил Агриппа. — Для нас ты именно Цезарь... Воля диктатора и императора священна, и скоро весь Рим, провинции и легионы назовут

тебя этим именем.

— Но амнистия, амнистия, — простонал Октавий, — Неужели боги не научат меня, что делать?.. Должен ли я получить наследство Цезаря? Тесть не советует принимать, а Цицерон отмалчивается...

— Цицерон — хитрец. Ты обворожил его, а мы, твои приближенные, не понравились ему; оттого оратор был мрачен во время беседы с тобою. Его коробило, что мы величали тебя Цезарем, и он нарочно называл тебя Гаем Октавием.

— Все это так, и душа моя печальна, — сказал Октавий и стал объяснять Агриппе причину наглого обращения с ним оратора. Цицерон, конечно, знал, что убийца Цезаря Децим Брут, прибывший в Цизальпинскую Галлию, был признан легионами вождем, а Секст Помпей заключил мир с Антонием, и его испанские легионы находились на стороне заговорщиков. Располагая войсками Децима и Секста, аристократы ободрились, и Цицерон открыто радовался. Затем Октавий стал говорить о надеждах аристократии.

— Оратор удручен, — прервал его Агриппа, — бесполезность умерщвления Цезаря очевидна.

Это было верно. Так называемая «казнь Цезаря всем Римом» оказалась простым убийством. Вместо спокойствия надвигалась новая гражданская война: Антоний объединял ветеранов, возбуждая их слухами о посягательствах сената на решения Цезаря. Он говорил, что аристократы желают отнять у ветеранов милости, дарованные Цезарем, а уступить — значит лишиться всего; единственная мера против посягательств сената — это отпор ему, борьба на смерть. В доказательство правильности своих слов Антоний занялся основанием новой колонии в Кизилике. Однако ветеранам этого было мало: раздраженные неустойчивым положением в республике, они обвиняли Антония в бездеятельности. «Почему не мстишь за Цезаря? — кричали они. — Что медлишь? Скажи слово, и наши мечи дружно заработают по головам и спинам врагов».

— Что нам заботы и горести Цицерона? — пожал плечами Октавий.

Агриппа сказал вполголоса:

— Я беседовал с Аттиком. Он говорит, что оратор решил, который уже раз, уехать в Грецию: «Старость делает меня угрюмым. Все опротивело. К счастью, жизнь моя кончена». Атик советовал, чтобы он для спасения республики заставил сенат ввести военное положение.

Слушая Агриппу, Октавий думал. Рим был во власти ветеранов и плебса. После бегства заговорщиков аристократы рассеялись. На кого опереться? На Антония? Но Антоний заискивал перед ветеранами и плебеями — людьми, которых Октавий не любил. Однако выбора не было: ветераны и плебеи — сила, при помощи которой можно добиться власти. И Октавий решил: «Нужно стремиться, чтоб сила работала на меня. Плебс ожидает денег, обещанных Цезарем, а так как я — сын диктатора, то народ примет меня с радостью, если я объявлю, что эти сестерции сын выдает за отца».

Размышления его были прерваны оживленным смехом и говором друзей, входивших в таблинум.

— Не помешали тебе, Цезарь? — спросил Квинт Сальвидиен Руф. — Мы были на форуме и беседовали с народом. Почва для твоего выступления подготовлена.

— Хорошо, — сказал Октавий таким голосом, точно это известие имело для него второстепенное значение.

— Я намекнул, что каждый плебей получит обещанные Цезарем триста сестерциев, и эти деньги будут выплачены, как только ты получишь наследство...

— Хорошо.

— Мы виделись с обоими Антониями — претором Гаем и народным трибуном Люцием. Они не будут тебе препятствовать...

— Хорошо.

Лаконические ответы Октавия раздражали Агриппу больше, чем Руфа. Но Агриппа был осторожен. Боясь рассердить молодого полководца, он терпеливо привыкал к его характеру, — привыкал несколько лет и не мог привыкнуть; каждый раз, когда он замечал несправедливость Октавия, его охватывало возмущение. Однако он переносил все безропотно, надеясь на блага будущего. Но не таков был Сальвидиен Руф. Менее хитрый, более прямой, он нередко любил откровенно высказать свое мнение, невзирая на дурное настроение начальника. Так случилось и теперь.

— Одними «хорошо», Цезарь, не добиться успеха. Если ты не знаешь, что делать, посоветуйся с нами, и мы тебе поможем...

Не кончил. Октавий вскочил, лицо его искажилось.

— Вон, вон! — кричал он, топая, брызгая слюною и размахивая руками.

Руф поспешно вышел.

— Глупец, он хотел советовать, что делать, когда все уже решено, — глухо вымолвил Октавий, обращаясь к друзьям. — Что? обедать? — обратился он к вошедшей рабыне. — Скажи госпоже, что сейчас придем. А ты, Марк Випсасий, разыщи все-таки Руфа. Только не медли, потому что мать моя не любит ждать.

Спустя несколько дней Октавий с друзьями, клиентами и вольноотпущенниками (он нарочно взял с собою побольше людей, чтобы показать, что сын Цезаря пользуется влиянием в столице) отправился на форум. Он заявил претору, что прибыл из Иллирии принять наследство диктатора, но, так как Антония нет в Риме, он подождет его возвращения; что же касается усыновления, на которое он имеет право, согласно завещанию отца, то отныне он будет называть себя Гай Юлий Цезарь Октавиан.

— Не имеешь права! — закричали сенаторы, стоявшие обособленно от народа. — Разве прошел куриатный закон о твоём усыновлении?

— Закон пройдет, — невозмутимо ответил Октавиан, — никто не станет препятствовать воле Цезаря.

— Пусть сперва пройдет! — не унимались сенаторы, перебивая друг друга. — А раньше срока не смеешь величать себя Цезарем.

Дерзко пожав плечами, Октавий повернулся к народу, толпившемуся у ростр, и произнес речь, в которой превозносил память Цезаря.

— Квириты, — говорил он, и голос его дрожал, а слезы капали из глаз, — я осиротел, и вы так же осиротели, как весь римский народ. О горе, горе! Несчастны мы! Я вам выплачу деньги, завещанные нашим отцом, устрою игры в честь его побед, чтобы память о нем жила вечно среди десятков и сотен поколений, как о величайшем популяре, консуле, диктаторе и императоре! Кто равен ему? Он превзошел даже Александра Македонского, которым любят хвалиться греки и египтяне, ибо ему покровительствовала богиня Венера, наша родоначальница...

Всхлипнув, он прикрыл полою тоги свою голову и несколько мгновений оставался в этом положении, слушая крики ветеранов о мести убийцам и возгласы плебеев, называвших Цезаря великим популяром.

Октавий медленно спускался с ростр походкой убитого горем человека, с

несколько склоненной головой, и друзья его думали, что он расчувствовался, вспомнив об отеческом отношении к нему Цезаря. То же думал и простодушный Сальвидиен Руф. Один только Агриппа не верил словам Октавиана. Привыкнув к его лжи и лицемерию, он удивлялся, с каким бесстыдным притворством была проведена эта игра.

«Ему быть не вождем и не магистратом, а гистрною, — думал он. — Октавий способен обмануть даже родную мать, а ведь ему всего девятнадцать лет. Что же будет дальше? Неужели он перейдет от обмана к насилиям и подлости? О боги, что мне делать? Я начинаю бояться его».

VI

Возвратившись в Рим, Антоний стал добиваться получения провинции Децима Брута. Аристократия понимала, что он готовит ей удар. Поход против Децима был выступлением против сената; носились слухи, что Люций и Фульвия подстрекают Антония уничтожить амнистию и привлечь к суду убийц Цезаря.

В этот день Фульвия сидела на катедре, беседуя с мужем. Она не утратила еще былой красоты и продолжала нравиться мужчинам; вокруг нее увивалась молодежь, потому что Фульвия умела влиять на Антония. Всем было известно, что консул пользовался большим авторитетом в сенате и мог содействовать получению магистратур. И молодые люди расточали свое красноречие, изощряясь в льстивых похвалах, сравнивая стареющую Фульвию с Венерой и Дианою.

Рядом с ней стоял Люций, щеголь с женоподобным лицом, подведенными сурьмой глазами и крашеными губами, рассеянно слушая, как Фульвия убеждала Антония захватить власть.

— Чего медлишь, — говорила она, — ветераны на твоей стороне, ты могущественнее Цезаря, стоявшего некогда во главе коллегий Клодия. В твоей власти македонские легионы, и ты можешь набирать воинов среди ветеранов.

— Все это так, — в раздумьи ответил Антоний, — но народные трибуны против меня, аристократы и Долабелла строят козни.

— Ты — глава государства, — поддержал Фульвию Люций, — и тебе ли, слону, опасаться визгливых щенят? У тебя надежная охрана, состоящая из астурийцев, купленных на невольничьем рынке; твой дворец охраняется стражей; твое слово — закон...

Антоний не успел ответить, — раб возвестил о прибытии Октавиана.

Сначала Антоний решил не принимать его. Он смотрел на Октавиана как на ничтожного человека, выходца из ростовщической семьи, считая усыновление его Цезарем слабостью старика к юноше; он даже намекнул Клеопатре, когда она приезжала в Рим, об отношениях Цезаря к Октавию; египтянка ответила со смехом; «Я предпочитаю, чтобы он тешился с юношами, чем с женщинами». Грубый ответ царицы изумил его, но, поразмыслив, Антоний пришел к заключению, что Клеопатра, может быть, права: «Она хочет держать Цезаря в руках, а другая женщина могла бы отнять его». И Антоний принужден был сознаться, что царица умнее и дальновиднее многих мужей.

— Гай Октавий? — переспросил он, избегая называть его Октавианом. — Пусть

войдет.

Фульвия и Люций отошли к имплювию.

На пороге появился Октавиан в сопровождении Агриппы. Оба приветствовали поднятой рукой хозяина, его жену и брата.

Антоний, едва сдерживаясь, пошел ему навстречу; он знал, что Октавиан целые дни проводит на улицах, беседует с ветеранами о Цезаре как сын диктатора и возбуждает народ против него, консула. Но не так возмущал его Октавиан, как Агриппа; недостойное поведение «красногубого ментора», руководившего действиями Октавиана, приводило Антония в бешенство.

«Наглец подстрекает Октавия против меня, — думал Антоний, — а тот, очевидно, подчиняется. Клянусь богами! этот Октавий недалек, и, не будь Агриппы, едва ли бы он осмелился явиться во дворец Помпея».

Принял обоих стоя, не пригласив даже сесть. После обыкновенных слов любезности Октавиан сказал:

— Я пришел к тебе как к другу убитого отца, его коллеге по консулату и высшему магистрату, охраняющему законы римского государства. Отец мой Цезарь оставил мне наследство и...

— Что? — вскричал Антоний. — Ты считаешь себя способным наследовать Цезарю, ты, мальчишка...

— Но позволь, Марк Антоний, — растерялся Октавиан, едва владея собою, — закон на моей стороне...

Антоний с оскорбительным смехом повернулся к жене и брату:

— Слышите, что лепечет этот безумец?.. Наследство, закон, ха-ха-ха! Наследством распоряжается консул для блага государства, а закон — ну, обойди его, если посмеешь!

Вмешался Агриппа:

— Прости, консул! Мой господин не намерен обойти закон, а хочет соблюсти его. Все права...

— Молчи, я тебя не спрашиваю, раб своего господина!

— Позволь, — побледнев, вымолвил Агриппа, — я человек свободнорожденный, и оскорблять меня...

— Еще слово и — клянусь Зевсом Ксением! — невольники выкинут тебя за дверь.

Фульвия расхохоталась. В ее смехе слышались злорадство и ненависть.

— Ты очень мягок, Марк, — сказала она, — я бы поступила иначе. Разве прибытие в твой дом этих людей не есть оскорбление твоего величества? Зови, Люций, рабов...

Агриппа и Октавиан бросились к двери. Бледный, дрожащий, Октавиан остановился на пороге и вымолвил, заикаясь:

— Никогда, Марк Антоний, никогда... я не прощу тебе... этого оскорбления... Клянусь тенью Цезаря!..

— Берегись, Гай Октавий! Ты угрожаешь консулу, другу и коллеге Цезаря!

Октавиан выбежал, прихрамывая на левую ногу, хлопнув дверью.

Фульвия смеялась; она была довольна, что Антоний «проучил зазнавшегося мальчишку», но больше радовала ее твердость мужа, отказавшегося вернуть наследство,

— Брат, — спросил Люций, — ты еще не оставил мысли Цезаря о парфянском походе? Нет? Значит, ты прав: наследство Цезаря нам понадобится.

Однажды утром Антоний сказал, одеваясь:

— Тень Цезаря бродит среди ветеранов. Фульвия, встававшая с ложа, возразила:

— Не тень Цезаря, а Октавий... Берегись его: он способен запятнать грязью не только своих друзей, но и свою старую мать. Этот юноша... о, этот юноша, Марк, отвратительнее самой грязной субурранки... Не спорь. Я тороплюсь. Пройди в конклав и подожди меня. Нам нужно поговорить.

Возле нее суетились рабыни: одна помогала снять тунику, другая надевала на узкие ступни матроны легкие сандалии, третья держала затканное золотом покрывало, которое госпожа должна была набросить на себя, выйдя из лаватрины.

Антоний направился к дверям.

В конклаве находился его брат Люций. Ходили слухи, что он — любовник Фульвии и подчинен ей так же, как Антоний, но муж не знал об этом, а если бы и услышал, то едва ли бы поверил, — Люция он любил и в нем не сомневался.

Брат сидел на катедре перед серебряным зеркалом, между курильницей и вазой с цветами (обыкновенное место Фульвии после купанья) и забавлялся тем, что дразнил обезьяну, просовывая между прутьев клетки палочку: зверек визжал, и глаза его казались раскаленными угольками. Люций хохотал, отнимая орехи у обезьяны (он отодвигал их), и она бросалась в бессильной ярости на прутья клетки.

Когда вошел Антоний, Люций полуобернулся к нему, продолжая дразнить обезьяну.

В конклаве было душно от благовоний и дымившихся курильниц. Коричневотелая рабыня — девочка, полунагая, с прозрачной опояской вокруг бедер, вытирала пыль со статуй, ваз, кресел и треножников. Антоний загляделся на нее, — стройная, как тростник, красивая, она смущалась, чувствуя на себе взгляды господина, и старалась поскорее кончить работу. Но Антоний уже заговорил, и она, подняв голову, застыла с тряпкою в руке, слушая ласковые слова:

— Халидония, почему ты так торопишься? Разве не приятно тебе поговорить с господином?

Невольница опустила голову:

— Господин мой, я боюсь...

— Боишься? Кого?..

И вдруг понял, — дикая ревность Фульвии была ему известна; чувствовал, что не мог бы защитить рабыню от гнева жены. И все же, подойдя к ней, коснулся ее руки.

— Не бойся, госпожа добра, она...

Не договорил, — дверь распахнулась, и в конклав вошла Фульвия. Увидев мужа рядом с невольницей, она нахмурилась. Люций, поднявшись с катедры, приветствовал ее рукою.

— Садитесь, друзья, — кивнула она обоим и, повернувшись к Халидонии, крикнула: — Вместо того, чтобы болтать, делала бы свое дело! Подай мне тунику да кликни служанок!.. Подожди. Узнай, встала ли молодая госпожа и что она делает.

Речь шла о Клавдии, дочери Клодия, с которой она соперничала в красоте и которую ревновала к своим поклонникам, мужу и его братьям.

— Что нового? — спросила Фульвия, прикрывая дряблую грудь, выглядывавшую из-под покрывала, и бросая на Люция многообещающий взгляд. — Надеюсь, боги привели тебя, Люций, не по поводу Гая Октавия?

— Именно по поводу его, — ответил Люций, — этот юноша очень вреден. Но вреднее его, конечно, Агриппа.

— Красногубый? И ты, Марк, такого же мнения? Клянусь Олимпом, я не узнаю тебя, Марк Антоний, полководец великого Цезаря! — говорила Фульвия, наблюдая искоса в зеркале за Антонием, который посматривал на возвратившуюся рабыню. — Ты, лев, боишься щенка, которого можешь уничтожить одним ударом лапы.

— Я не боюсь, — ответил Антоний, продолжая следить за движениями невольницы. — Осторожность — мать удачи.

В конклав входили рабыни.

Фульвия пожала плечами и приказала им завить ей волосы, надеть перстни и браслеты, подать зубной порошок, сурьму и сделать притирания щек, рук и груди. Потом тихим голосом, предвещавшим гнев, обратилась к Халидонии:

— Узнала, что делает молодая госпожа?

— Госпожа встает, — пролепетала испуганно невольница.

— Кто у нее в конклаве?

— Никого, госпожа моя!

— Значит, она не заглядывается на чужих мужей? Халидония молчала. Антоний, чувствуя готовую

вспыхнуть ссору, сказал:

— Мы хотели посоветоваться с тобою...

— Не мешай мне расправиться сперва с дерзкой развратницей! — воскликнула Фульвия и, когда Антоний попытался вступить за рабыню, выговорила прерывистым шепотом: — Молчи! Любая девчонка готова свести тебя с ума!.. Подойди ко мне, Халидония!..

Невольница упала на колени.

— Подойди! — повторила Фульвия, и судорога свела со лица. — Не хочешь? Эй, служанки, схватите ее и тащите ко мне!.. О, боги, видано ли, чтобы презренная тварь не повиновалась своей госпоже?..

Испуганные рабыни тащили упирившуюся девушку. Она рыдала, боясь расправы жестокой женщины.

— Не смей заглядываться на чужих мужей! — воскликнула Фульвия и, схватив длинную шпильку, замахнулась на Халидонию, чтобы проткнуть ей глаз, но Антоний схватил жену за руку.

Фульвия яростно боролась, пытаясь освободиться; она осыпала Антония грубой бранью, называла развратником и, обращаясь к девушке, оскорбляла ее. Однако Антоний, зная, что вспышки гнева у жены непродолжительны, держал ее руку.

— Успокойся, дорогая моя! — говорил он. — Я знаю, что еще сегодня ты пожалела бы о своем поступке. Твоя доброта и милосердие известны всем, а я не хотел бы, чтобы тебя, вдову Клодия и Куриона, супругу консула, величали именем «жестокая». Эта рабыня, — указал он на Халидонию, — проиграна мною в кости Требацию Тесте, и я не имею права послать ему искалеченную девушку...

Это была ложь, — Антоний твердо решил спасти понравившуюся ему невольницу.

— Требацию Тесте? Как ты смел играть в кости на моих служанок? Бессовестный!.. Клянусь Фуриями! если ты солгал...

— Ты можешь справиться у Требация.

Гнев ее утихал. Антоний отнял у нее шпильку и сделал знак Халидонии удалиться.

Невольницы с удивлением посматривали на консула, — не было еще случая,

чтобы он заступался за рабов перед разгневанной женою.

Люций молча наблюдал за супругами. Настойчивость брата удивила его, и он думал, как сделать, чтобы невольница не попала к Тесте: «Если я отдам Халидонию в ее руки, сердце Фульвии смягчится, и она будет действовать со мной заодно. Мы заставим Антония вести нашу политику. А если Фульвия будет мешать мне... Но нет, не посмеет. Она была любовницей Цезаря, у меня есть две эпистолы от него, и стоит только показать их брату...»

— Нужно ладить с аристократами, — говорила Фульвия, — Лепид будет наш — разве он не друг детства Цезаря? Долабелла (ярость мелькнула в глазах Антония) — тоже, Цицерон — враг, Октавий — бунтовщик. Аграрный закон Люция, опиравшегося на популяров, сделал свое дело, — народ и ветераны требуют уничтожения амнистии, и нам нечего опасаться аристократов, которые натравливают на тебя демагога Октавия.

— Я решил, — нахмурился Антоний, — ввести в сенат центурионов Цезаря, имена которых нашел в папирусах диктатора...

Фульвия захохотала.

— Хорошо придумал! Эти «Хароновы» сенаторы поддержат тебя! Что за беда, если они — темные проходимцы? Добивайся получения Цизальпинской Галлии, — с заговорщиками нужно кончить, иначе они...

— Но Цицерон...

— О проклятый пес, враг народа! — с ненавистью выговорила она и, молитвенно воздев руки, зашептала по-гречески: — О Зевс и вы, боги Олимпа, продлите мне жизнь, чтобы я насладила свои глаза видом отрубленной головы консуляра, ненавидевшего Клодия и Куриона!

Консул пожал плечами, — он старался не верить закланиям и надеяться только на себя и свою судьбу, хотя и был суеверен; Цицерона он ненавидел и думал так же, как и жена, что смерть оратора удовлетворила бы его больше, чем величайшие почести.

Выйдя из конклава, он кликнул атриенсиса и велел привести Халидонию. Рабыня робко остановилась перед ним. Он взял ее за руку:

— Халидония, я хочу снасти себя от гнева госпожи. Я подарю тебя Лепиду, а он отпустит тебя на свободу.

В черных глазах невольницы была такая благодарность, что Антоний невольно смутился, подумав, что он освобождает ее не ради человеколюбия, а ради своей похоти. Однако он овладел собою. Рабыня, опустившись перед ним на колени, прижала его руку к своим губам.

— Идем, Халидония, я сам отведу тебя к Лепиду... Невольница, не вставая с колен, целовала его руки, и

Антоний подумал: «Вот верное существо, которое будет служить мне преданнее, чем лучший друг, жена и братья».

Он поднял ее и, полуобняв, пошел с ней к выходу.

VII

Лепид, друг детства Цезаря, считал себя эпикурейцем: он любил пиры, женщин и наслаждения. Пристрастие к изящной обуви и роскошным тогам было у него

привычкой, унаследованной от деда и отца. Преклоняясь перед эллинским искусством, он не увлекался им, считая, что если римляне и обязаны многим варварам, то явление это временное, обусловленное ходом исторических событий, случайно отодвинувших развитие римского народа на несколько столетий. Рим, по его мнению, должен был прежде всего завоевать весь мир.

Если бы Лепиду пришлось лишиться богатств и стать пищим, он, не задумываясь, пресек бы мечом свою жизнь. Стоило ли трудиться над свитками пергаментов и папирусов, дышать вековой пылью изъеденных молью хартий и терпеть лишения, не принимая участия в пирах и попойках, не созерцая юных тел танцовщиц, не наслаждаясь музыкой, песнями, поэзией, философией и любовью? Стоило ли жить, как живут десятки и сотни тысяч плебеев и рабов? Мысль об этом казалась ему безумием.

Когда Цезарь был умерщвлен, Лепид и Антоний сидели в таблиуме, прислушиваясь к крикам толп, ходивших по улицам. Антоний говорил: «Конечно, эти дикие звери, выпущенные из клетки римского закона, могут нас растерзать, но как только мы соберем войска, пусть они попытаются поднять головы!.. Помнишь, друг, как я усмирил восстание Долабеллы?.. О, этот урок они будут помнить, пока существует Рим». Лепид понял: власть хирургическим ножом закона произвела операцию государственного тела и отсекала гнилые члены; следовательно, власть, спасающая республику, священна.

Слова Антония утвердили его мысль, что нобили — избранники богов, управляющие толпой. Однако он вспомнил, что Цезарь никогда не говорил резко о народе.

«Что ж, Цезарь был хитер, Антоний же прямее, — подумал Лепид. — Если род Цезаря происходит от Венеры, то Антония — от Геркулеса». Он улыбнулся и решил обратиться к Аттику, чтобы тот порылся в родословных и определил, от какого бога или героя происходит род Эмилиев.

Еще недавно он, *magister equitum*,¹ собирал легионариев, объединял коллегии Клодия, разыскивал ветеранов, колонистов и приверженцев Цезаря, возмущая их речами, направленными против аристократов; потом, повинуясь демагогической политике Антония, пригласил Брута и Кассия на обед, на котором они оба восхваляли «освободителей отечества». Став вскоре после смерти Цезаря верховным жрецом, Лепид поселился во дворце Нумы Помпилия, называемом «*Regia*». ² Новые обязанности изменили его прежнюю жизнь: он должен был наблюдать за фламинами, весталками и иными жрецами, вести каждый год списки магистратов, анналы, жреческие книги, записи понтификов. Работы было много, но он не мог отказаться от политики и взирал на борьбу сословий с философским спокойствием. Даже казнь Герофила и бегство Брута и Кассия из Рима не могли вывести его из душевного равновесия.

«Подкупив Долабеллу, Антоний умно повел дело», — раздумывал Лепид, рассеянно поглядывая на папирус, полученный от Аттика. Это было сочинение покойного Нигидия Фигула об оракулах и искусстве вызывать тени умерших; оно было написано тяжелым и туманным языком, и Лепид не мог понять многих мест.

«Пусть Цицерон восхваляет «героев», предательски умертвивших Цезаря, пусть

¹ Начальник конницы.

² Царское жилище.

он твердит, что «мертвый Цезарь управляет Римом», пусть мечется между Долабеллой и Брутом, пусть ожидает помощи от Секста Помпея, — словами и действиями он доказывает свое бессилие. Но предложить ли ему, чтобы он последовал учению своего друга Фигула и вызвал тень Цезаря? Может быть, он успокоится, когда Цезарь скажет, что продолжателем его дела будет Антоний, который отомстит за него.

Раб возвестил, что в атриуме дожидается Антоний. Лепид поспешил ему навстречу.

— Знаешь, пес Октавий опять возбуждал против меня плебс и ветеранов, — заговорил консул, приветствуя хозяина. — Он стал демагогом. Я пригрозил, что посажу его в тюрьму, и представь себе, дорогой мой, хитрость Октавия: ветераны якобы потребовали, чтобы он примирился со мной, и этот ночной горшок Цезаря прибыл на рассвете к моему дворцу. Ветераны кричали: «Мир, мир!» И, когда я вышел к ним, я увидел Октавия, который дружески приветствовал меня. Пришлось пригласить его к себе, хотя он вызывает во мне отвращение.

Лепид в раздумье смотрел на него.

— Как-то вечером, — сказал он, — появилась большая комета, и Октавий, говорят, кричал на площадях, что это душа Цезаря, вознесшаяся на небо и занявшая место в сонме богов.

— Знаю, поэтому я решил обожествить Цезаря. Он, конечно, заслуживает этого. Но знаешь — больше всего меня беспокоит противодействие аристократов закону, отнимающему у Децима Брута Цизальпинскую Галлию. Меня и Долабеллу обвиняют в желании вызвать гражданскую войну.

— Разве ветераны не требуют передать Цизальпинскую Галлию стороннику Цезаря? — удивился Лепид.

— И, несмотря на это, находятся мужи, вроде Пизона, которые якобы пекутся о спокойствии в республике, а на самом деле, несомненно, помышляют о личном благополучии, о легкой наживе!

— Надоели мне эти распри, и я решил уехать в назначенную мне провинцию. А ты что думаешь делать? — спросил Лепид и, взяв серебряный колокольчик, позвонил. Вбежал раб. — Поддай нам кайкубского и фуданского вина. Так ты говоришь, Марк...

— Я говорю, — нахмурился Антоний, — что положение становится тревожным. С одной стороны усиливаются ветераны и колонисты, якобы ненавидящие убийц Цезаря; конечно, они никогда не любили диктатора, а стремятся сохранить милости, дарованные или обещанные императором. Ты скажешь, что ветеранов и колонистов поддерживает плебс? А что такое плебс? Толпы нищих, ремесленников, вольноотпущенников и земледельцев, толпы бедняков, обремененных долгами. И действительно ли плебс поддерживает ветеранов? Я знаю, что положение его мало улучшено Цезарем. И потом, ремесленники, вольноотпущенники и земледельцы скорее пойдут за Брутом и Кассием, чем станут поддерживать ветеранов. С другой стороны нам угрожают все эти «отцы отечества», «Демосфены великого Рима», не сумевшие стать у власти после умерщвления Цезаря; они обижены, завидуют нам, честолюбие не дает им спать. И я решил провести законы, чтобы успокоить взволнованные умы. О, Цезарь, Цезарь! Зачем ты даровал амнистию псам-помпеянкам?

— А зачем мы даровали амнистию псам-убийцам? — отозвался Лепид, вставая. — Вот вино и фрукты. Возляг, прошу тебя, рядом со мною. Ты мне расскажешь о намеченных новых законах. А где же виночерпий? — обратился он к

рабу. — Опять опаздывает? Скажи ему, что больше не буду марать своих рук о его варварское лицо!

Не успел раб выйти, как вбежал испуганный виночерпий. Это был лысый грек, с брюшком и маслянистыми глазами.

— Снова опоздал? — вымолвил Лепид свистящим шепотом. — Ступай к атриенсису, — пусть пришлет сюда Халидонию. Подожди. Не забудь сказать ему, чтобы он дал тебе тридцать ударов.

Грек упал на колени.

— Господин мой, — крикнул он с ужасом. — Прости меня еще раз... Ради высокого твоего гостя, друга трижды божественного диктатора! — И, обратившись к Антонию, заговорил по-гречески, умоляя его сжалиться над ним.

— Прости его, — сказал Антоний, — пусть наша дружба не будет омрачена криками истязуемого.

Лепид привстал на ложе.

— Встань, — сурово сказал он греку. — Я прощаю тебя последний раз. Позови Халидонию.

Когда вошла гречанка, настроение Антония изменилось.

— Поглядеть на нее — хороша! — воскликнул он.

Девушка была в легкой льняной тунике, обнажавшей колени, и в светлых сандалиях. От нее пахло духами — Лепид любил, чтобы рабы и невольницы, прислуживавшие за столом, душились.

Узнав консула, Халидония опустила глаза. Антоний подозвал ее. Гречанка хотела поцеловать у него руку, но он, не стесняясь Лепида, обхватил ее стан.

— Как живешь? — спрашивал он по-гречески. — Довольна ли? Господин отпустил тебя на волю?

Узнав, что она продолжает оставаться рабыней, Антоний шутливо обратился к Лепиду:

— Ты, наверно, влюблен в кого-нибудь, если не исполняешь обещанного.

— Не влюблен, а забываю, — ответил Лепид. — А забывчивость в такое тревожное время простительна.

— Я напоминаю тебе.

— Завтра она будет отпущена на волю. Антоний задумчиво поглаживал плечи девушки.

— Я хотел бы, чтоб она покинула твой дом и переселилась в мою виллу... Габии недалеко от Рима, и она могла бы бывать в Городе...

— ...и видется с тобою? — подсказал Лепид. — Понимаю. У тебя хороший вкус, Марк Антоний!

Девушка зарделась и, мягко освободившись из объятий консула, поспешила наполнить фиалы вином. Прислуживая, она избегала взглядов Антония: впервые ее удостоил внимания высший магистрат, и впервые она, бедная гимметская пастушка, могла помечтать о лучшей жизни.

Она слушала звучный голос Антония, но слов не понимала.

А консул говорил:

— Я изменю закон божественного Цезаря о судах: к декуриям всадников и сенаторов прибавлю третью декурию, которая будет состоять из центурионов и воинов. Таким образом в число судей должны будут выбираться центурионы и воины наравне с сенаторами и всадниками. Я возобновлю обжалование гражданами

судебного приговора, уничтоженное Суллой и Цезарем: отныне каждый гражданин, обвиненный в преступлении против общественного порядка, не будет зависеть от воли продажных магистратов. И, наконец, предложу закон об обожествлении Цезаря.

— Твои законопредложения делают тебе честь, — сказал Лепид, подымая фиал. — Я должен обратить твое внимание на недовольство, которое вызовут выступления против законов Цезаря: противодействие твоих врагов...

Антоний тряхнул головою.

— Муж, предком которого был Геркулес, не страшится подлых нападков помпеянцев. Разве может меня уязвить стрела презренного Октавия, место которого было под ложем Цезаря?

Лепид засмеялся.

Допив вино, Антоний простился с другом, потрепал по щеке Халидонию и направился к двери.

VIII

Около восьми месяцев вел Цицерон упорную борьбу против Антония, и эти восемь месяцев подорвали его здоровье.

Сперва он написал I филиппику против Антония, в которой порицал его политику, обвиняя в нарушении законов Цезаря и в чрезмерном честолюбии, советуя следовать теории Аристотеля — быть первым гражданином среди граждан. Боясь македонских легионов, на которые мог опереться Антоний, чтобы уничтожить амнистию, оратор подстрекал друзей к неурядицам, советуя возбуждать воинов, сеять среди них рознь и недовольство. Когда Антоний и Фульвия отправились в Брундизий навстречу македонским легионам, аристократы склонили на свою сторону Октавиана, и тот поспешил в Капую под предлогом продажи вилл, принадлежавших его матери, а на самом деле — чтобы набрать себе телохранителей среди ветеранов Цезаря.

Переехав в ПUTEОЛЫ, Цицерон следил за деятельностью Октавиана, который распространял среди воинов эпистолы с обвинением Антония в измене делу Цезаря. Легионарии чуть не взбунтовались, и только обычное хладнокровие и присутствие духа спасли Антония: он велел казнить подозрительных центурионов в своем доме, в присутствии разъяренной Фульвии, — стареющая матрона выказала себя кровожадной гиеной, принимая участие в пытках людей, — одежды ее были забрызганы кровью.

Цицерон знал о злодействах Антония. Он стал писать II филиппику и, закончив ее, послал Аттику.

Шагая по холодному атриуму, в который врывался ноябрьский ветер, Цицерон говорил Тируну, оторвавшись от работы над трактатом «De officiis».³

— Нужно умиротворить общество, изменить нравственный уровень жизни. Богатство и власть развращают людей, это не высшие жизненные блага, а бремя, которое должно переносить. Следует жить, занимаясь земледелием и торговлей, принимать участие в политической жизни. Целью правительства должно быть общее благо, а достигнуть его возможно строгим соблюдением законов, восстановлением добродетелей, щедростью нобилей, честностью, порядочностью...

³ «Об обязанностях»

— Но если идеальная республика, — возразил Тирон, — ставит целью своего существования благо народа, воздержание от наступательных войн, подобных тем, какие вели Красс и Цезарь, уничтожение жестокостей и вероломства, стремление сдерживать данное слово, то не есть ли это возврат к древним временам?

— Ты меня правильно понял, сын мой, — оживился Цицерон, — я стою за аристократическую республику, в которой не было бы ни Гракхов, ни Мариев, ни Сулл, ни Цезарей, а единый сенат, состоящий из ораторов, правоведов, ученых, философов и писателей...

— Но ведь ты, господин мой, пытаешься привить идеи Платона к римской жизни!

Цицерон не ответил. Он прислушивался к приближавшимся голосам людей.

— Кто там? — спросил он, приоткрыв дверь и выглянув на улицу.

— Письмо от Октавиана Цезаря! — крикнул грубый голос.

Тирон распахнул дверь, и в атриум проник вооруженный гонец в мокром плаще, в забрызганных грязью калигах.

«Что мне делать? — писал Октавиан. — Антоний во главе легиона Алауда двинулся на Рим. Задержать ли его в Капуе или идти на столицу?»

Не колеблясь, Цицерон посоветовал Октавиану двинуться на Рим: он боялся отмены Антонием амнистии и возникновения новой гражданской войны.

Вскоре Цицерону стало известно, что Октавиан ошибся, думая, что Антоний шел во главе одного легиона, — их у него было два.

«Октавиан трусит, — писали друзья, — и опасается, как бы Антоний не объявил его врагом республики». Узнав о походе Октавиана на Рим во главе трех тысяч воинов, Цицерон успокоился.

События следовали одно за другим. Вступив в Рим раньше Антония, Октавиан объявил его изменником дела цезарьянцев и предложил ветеранам поддерживать сына диктатора. В то же время, боясь аристократов, он пытался ладить с ними. Популярны считали его своим вождем, а аристократы — своим защитником, хотя многие не доверяли ему, видя его растерянность и двуличность. Прибытие в Рим Антония, эдикт его, в котором он презрительно отзывался о низком происхождении Октавиана («из фамилии ростовщиков») и намекал на причину усыновления его Цезарем («любовник диктатора»), а затем второй эдикт о созыве сената с предупреждением, что не явившиеся будут считаться приверженцами Октавиана, — возымели свое действие: воины покидали Октавиана, разбежались, а Цицерон побоялся вмешаться в это дело.

Однако восстание двух тибурских легионов, требовавших отомстить за смерть Цезаря, расстроило планы Антония, — войска перешли на сторону Октавиана. Римское общество растерялось: аристократы считали Октавиана своим, а он очутился во главе мятежных легионов, готовых мстить за убийство Цезаря.

Положение Антония стало опасным: если остальные легионы перейдут на сторону Октавиана, он очутится во власти аристократов. Однако Антоний не показывал беспокойства и на заседании сената старался быть веселым: с радостью в голосе он объявил, что Лепид заключил мир с Секстом Помпеем, и, восхваляя его, предложил благодарственное молебствие. Сенат рукоплескал.

Возвратившись домой, Антоний собрал друзей и спросил, следует ли ему примириться с Октавианом или отправиться в Галлию к Лепиду. Мнения разделились. Молчали только Люций и Фульвия.

— Что же ты, жена? — спросил Антоний. — Разве не одобряешь наших замыслов? А ты, Люций? Или мудрая Минерва подсказала вам мысль лучшую, чем

высказали все мужи?

Матрона встала. В ее глазах была непреклонная воля.

— Октавиан умен. Ему улыбнулось счастье, а от нас улетело. Но надолго ли? Октавиана нужно бить его же оружием. И потому не тебе, Марк Антоний, первому мириться с ним, не тебе, Марк Антоний, просить убежища у Лепида. Стань же и ты мстителем за Цезаря, подыми легионы, созови опять сенат, распредели провинции между магистратами... Действуй!

Люций поддержал Фульвию.

— Изгони Децима Брута из Цизальпинской Галлии, и цезарьянцы будут на твоей стороне; Октавиан принужден будет присоединиться к тебе, иначе легионы его разбегутся.

— Так я и сделаю, — твердо сказал Антоний. — Буду действовать по примеру Цезаря — стремительно и внезапно.

Вечером он выехал неожиданно для всех из Рима, сказав родным, что отправляется к видному центуриону по важному делу, а на самом деле ехал в сопровождении верного вольноотпущенника Эроса в окрестности Габий, где находилась его вилла.

Ночь выдалась лунная. Вымощенная дорога гулко отдавалась под копытами лошадей. Дул прохладный ветер, и Антоний плотнее кутался в плащ.

Мост, сооруженный Гаем Гракхом, казалось, был построен недавно: ни единой трещинки на сваях и облицовке перил. Остановив коня, Антоний смотрел на волны, посеребренные лунным светом, на берега, поросшие кустарником, и улыбался своим мыслям.

«Она ждет меня, — думал он, — и обрадуется моему решению».

Выехав из городка, он помчался к вилле, расположенной на берегу той же реки, через которую был перекинут мост, сооруженный Гракхом.

При въезде в виллу он был встречен собачьим лаем. Раб-вратарь, узнав господина, низко кланялся. Из эргастулы вышел декурион и спросил, нужно ли разбудить невольников, чтоб они приветствовали хозяина. Антоний объявил, что не следует тревожить людей, которые должны чуть свет отправляться на работу.

Войдя в дом, он остановился на пороге атриума: Халидония приветствовала его поднятой рукой, а затем, упав к его ногам, обняла колени.

— Какая радость твой приезд! — говорила она. — Слава Зевсу Ксению, радетелю об амфитрионах, не знающих, как лучше провести время, — добавила она с легкой шутливостью в голосе.

— Уж не думаешь ли ты, Халидония, что я приехал поселиться или развлекать тебя? — сказал он, поднимая её и прижимая к груди.

— Да, господин мой, ты здесь, чтобы меня обрадовать.

Слова гречанки понравились Антонию. Обняв ее за стан, он вошел с ней в атриум и, сняв плащ, бросил его подбежавшему Эросу.

— О деле будем говорить позже, моя птичка, хотя оно не терпит отлагательств... Ты уходишь, Эрос? Отнеси плащ в спальню и разбуди нас на рассвете...

Вошли рабыни, неся амфору на палке, продетой в ручки. Пока они распечатывали ее, Антоний, облокотившись на ложе, беседовал с гречанкой; он хвалил ее прическу, восторгался глазами, нежным цветом лица. Халидония преданно смотрела на него, улыбаясь одними глазами. Когда невольницы поставили перед ними кубки, Антоний взял свой фиал и поднес к губам:

— За твоё здоровье и счастливое путешествие!

— Путешествие? — удивилась Халидония. — Но я, господин мой, никуда не собираюсь ехать.

— Поедешь со мною?

— С тобой? А куда? Удивление её возрастало.

— На войну, да поможет нам Арес!

Пили до полуночи. Мерцали светильни. Халидонию клонило ко сну, голова её отяжелела.

— Господин мой, — пролепетала она, — я пьяна... Позволь мне удалиться...

Антоний засмеялся.

— Ещё один глоток, и мы вместе отправимся в объятья Морфея. Пей!..

...Рассвет застал их на ногах. Антоний торопил Халидонию:

— В путь, в путь! Возьми с собой одежду, обувь и одеяло... Остальное найдётся у меня. В Риме остановишься у одного из моих друзей. Вот письмо к нему. Скажи рабам, куда доставить вещи...

Сев на коней, они выехали на Пренестинскую дорогу, направляясь в Рим.

...Взяв деньги в сокровищнице Сатурна, Антоний выступил во главе двух легионов, преторианской когорты, конницы и ветеранов по направлению к Цизальпинской Галлии. С ним уезжало большинство цезарьянцев.

Действия Антония возмутили Цицерона. Оратор не находил себе места, не мог работать. Он то подстрекал Октавиана выступить против Антония, советуя помочь Дециму Бруту, то не доверял Октавиану, подобно многим аристократам, и искал вожда, способного возглавить движение. Когда же аристократы предложили ему стать вождем, Цицерон пригласил Аттика и Корнелия Непота, чтобы выслушать их мнение. Они советовали не отказываться. Однако у Цицерона не хватило решимости, и он сослался на старческие недуги.

— Заклинаю тебя твоими сединами — не отказывайся! — вскричал Тирон. — Будь тверд, как подобает мужу до Пунических войн!

Эдикт Децима Брута, объявившего, что не признает Антония правителем Цизальпинской Галлии, придал оратору бодрости. Друзья и родственники Октавиана настаивали, чтобы Цицерон разогнал цезарьянцев и восстановил республику. Но как это сделать?

Оратор произнес III филиппику, предложив сенату уничтожить распределение провинций, проведенное Антонием, и поручить Гиртию и Пансе наградить Децима Брута и Октавиана, оказавших услуги отечеству. И в тот же день обратился к народу с IV филиппикой, обрисовав тяжелое положение республики.

IX

Лициния бежала с Брутом из Рима. Порция сопровождала мужа в Луканию. Прощаясь с ним в Элее, она смотрела на острова Ойкотриды, возвышавшиеся перед городом, и едва сдерживала рыдания, предчувствуя длительность разлуки.

— Не огорчайся, госпожа, — сказала Лициния, утешая её, — ты станешь сражаться за отечество не руками, как мы, а своей душой. Ты любишь республику и отечество не меньше, чем мы.

— Прекрасная мысль, — улыбнулась сквозь слезы Порция. — Иди, муж, куда зовет тебя долг, а ты, Лициния, позаботься о нем, как мать, охраняй от невзгод...

— А кто охранит меня от самого себя? — вздохнул Брут. — Он не дает мне покоя: является наяву и в сновидениях, смотрит на меня с укором, угрожает окровавленными руками.

— Цезарь? Не думай о нем, муж мой!

Обхватив Брута за шею, Порция не могла от него оторваться. Рабыни увели ее. Она догнала мужа на пристани и, рыдая, говорила:

— Тяжелый жребий выпал нам на долю. Но меня утешает, что ты — республиканец. Иди же, куда ведет тебя Фатум, а я сумею перенести горе и, если понадобится, умереть за отечество.

Брут взошел на корабль и долго смотрел на жену, стоявшую на набережной.

...Прибыв в Афины, Брут стал готовиться к войне. Он привлек на свою сторону молодежь, изучавшую философию, в том числе и Горация, который стал его убежденным сторонником. В течение нескольких месяцев Брут создал восемь легионов из войска Помпея, рассеянного после Фарсалы по городам Фессалии, Македонии и островам Архипелага, захватил в Деметриаде склад оружия, приготовленного Цезарем для войны с парфянами, осадил в Аполлонии Гая Антония, назначенного правителем Македонии, и взял его в плен с войсками, не лишив однако знаков власти, хотя Цицерон, переписывавшийся с Брутом, советовал убить Гая Антония.

Размышляя, как поступить с братом Марка Антония, Брут спросил Горация, читавшего стихи лесбиянки Сапфо:

— Не казнить ли нам Гая Антония? Гораций, не задумываясь, ответил:

— Оставь его заложником. Боги одни знают, чем кончится борьба. Имея же у себя видного магистрата, можно в случае неудачи...

— Ты не веришь в наше дело? — с возмущением вскричал Брут. — Зачем же ты в таком случае присоединился ко мне?

Вмешалась Лициния, и Брут успокоился: она умела влиять на него, во-время отвлечь от беспокойных мыслей, начать беседу о борьбе, которая должна вывести Рим на путь свободы, величия и могущества. Так случилось и теперь.

— Не слушай, Марк Юний, поэта, который столько же разбирается в политике, как незрелая девочка, — сказала она. — Лучше обрати внимание на дела Кассия и Секста Помпея.

— Секста, сторонника сената?

— Не говори так, Марк Юний! Мы не знаем причин, заставивших Помпея примириться с сенатом. Может быть, это уловка, чтобы выиграть время? Может быть...

— Я не доверяю Сексту, — тихо вымолвил Брут, — а Кассия люблю и уважаю. Вместе с ним мы убили Цезаря, вместе решили продолжать борьбу и вместе умрем, если это понадобится. Что такое жизнь? Испытание богов или издевательство над человеком? Я думаю, что жизнь — глупая случайность, а зарождение новой жизни — преступление перед человечеством.

— Ты был иного мнения...

— Да, но чем больше я живу, тем больше вижу бессцельность существования сотен, тысяч, десятков и сотен тысяч людей...

— Ты мрачен, Марк Юний, — опечалилась Лициния. — Неужели призраки

продолжают тебя тревожить?

Брут кивнул.

— Я обращался к Гекате, заклиная ее магическими формулами и знаками, однако богиня не помогла. Знаешь, мне иногда приходит в голову, что она бессильна.

— Ты много думаешь...

— Нельзя не думать, когда на плечах голова. Мне кажется, что эти призраки ниспосланы на меня жрецами, владеющими силой заклинаний, и нужно только найти жреца, умеющего снять заклятие.

Лициния молчала. Она жалела свободолюбивого мужа, истерзанного мыслями и сомнениями, возбуждаемого Цицероном.

Оратор писал, что убийство Цезаря не освободило отечество, наоборот — родина находится во власти честолюбцев, готовых решать силой оружия, кому быть властелином. «Не таких ли, как Цезарь? — ехидно добавлял Цицерон. — А может быть, больших, чем восточные деспоты, как, например, Митридат Эвпатор?»

Лициния знала содержание писем оратора. Она перечитывала их, отвечая Цицерону со слов Брута; иногда вождь республиканцев отвечал сам, но каждый раз советовался с нею, так ли выражена мысль, тот ли оборот и то ли слово употреблены им. Он избегал писать по-гречески и только изредка употреблял двустишия из Гомера, Гезиода, Эсхила и Эврипида, чтобы подчеркнуть мысль, облечь ее в нарядные одежды.

Кассий писал из Сирии, что собирает войска, упрекал Долабеллу, замучившего в Смирне двухдневными пытками Требония (Долабелла добивался получить у него деньги), ругал Пансу, который, выступая в сенате, мешал ему, Кассию, получить проконсульство над Сирной и полномочия над Азией, Вифинией и Понтом.

«Консул Панса заявил Цицерону, что это предложение не нравится матери Кассия, его сестрам и Сервилии, — писал Кассий Бруту, — как будто политические дела находятся в зависимости от женщин. А если б это было и так, то может ли консул действовать в ущерб республике, ссылаясь на матрон? Уловка Пансы глупа, теперь я уверен, что консул враждебен республиканцам и не желает видеть их у власти. Цицерон пишет, что именно поэтому Панса не посылает тебе воинов и отговаривает молодежь служить под твоим начальствованием. Панса — явный цезарьянец!»

Брут ответил, что консул не страшен, молодежь имеет свою голову и поступает, как повелевает сердце, и закончил письмо такими словами: «Пусть Панса мешает — его старания смешны. Ко мне прибыли Мессала Корвин, сыновья Лукулла, Катета, Гортензия Гортала и Бибула. Жду еще сыновей всадников и плебеев, для которых слово свобода звучит как призыв к счастливой, радостной жизни. «Не лучше ли умереть свободным, — говорю я молодежи, — чем жить рабом? Если бы мой отец вздумал добиваться диадемы и поработить квиритов, я, не задумываясь, поразил бы его, как поразил Цезаря в сенате! Лучше не жить, чем быть сколько-нибудь ограниченным в свободе!» Молодежь хвалит меня за эти речи, только не нравятся мне двое: поэт Гораций Флакк, для которого поэзия, очевидно, важнее, чем благо отечества, и Мессала Корвин, в глазах которого часто вижу неискренность. Гораций безвреден, а Мессала, без сомнения, находится на моей стороне ради выгоды. Если это так, то боги покарают мужей, равнодушных к судьбам родины».

Читая эти письма, Лициния покачивала головою.

«Аристократическая молодежь! Разве она, гнилая, способна на доблестный подвиг? Только подлостью, хитростью, лицемерием, подкупом и продажностью идет она к своей цели. А если начальствовать над ней будет демагог и палач, подобный

Милону, она превратится в толпу злодеев».

Она высказала свою мысль Бруту.

— Если республика изверилась в молодежи, — рассеянно вымолвил Брут, — одной и другой пора умирать.

Х

Считая себя мстителем за Цезаря и защитником ветеранов от произвола аристократов, Антоний издевался над VII филиппикой Цицерона (знал о ней из писем друзей) и, кривляясь, повторял его слова: «Если нельзя жить свободным, должно умереть».

— И пусть умирает! — кричал он своему другу Барию, прозванному «винной бочкой» за способность пить очень много, который перечитывал дружественные письма Пансы и Гиртия. — Давно пора! Старый Харон соскучился по старому болтуну!

— Все это так, — прервал Варий, — но что ты намерен делать?

— Нужно сообщить легионам Децима, что я не желаю сражаться с ними, а хочу только наказать их вождя, убийцу Цезаря. Пошли расторопных людей в Мутину, пусть они обещаниями наград склонят воинов на мою сторону. Говори, что я готов отказаться от Цизальпинской Галлии, если взамен ее получу Трансальпийскую, сроком на пять лет.

— Ты уверен, что Цицерон согласится на это?

— Цицерон, Цицерон! — задыхаясь, выговорил Антоний. — Болтун, выживший из ума, желает войны, жаждет крови, чтобы получить власть. Хорошо, он получит войну и заплатит за нее своей старой, холодной кровью! Впрочем, довольно об этом. Иди, Варий, и делай, что приказано.

Узнав, спустя три недели, что Цицерон настаивал объявить его врагом отечества и потерпел в этом неудачу, Антоний сказал Вентидию Бассу и Варию:

— Он предсказывает в VIII филиппике резню аристократов, если я приду к власти. Он жаждет нашей крови, — подчеркнул он, — чтобы некому было произвести резню. А вот и письма из Азии! — воскликнул он, выхватывая из рук раба связку навощенных дощечек. — Посмотрим, что пишут друзья.

Это были старые и новые письма, опоздавшие по неизвестной причине — обстоятельство, вызвавшее гнев Антония. Он позвал гонцов и бил их, приговаривая:

— Почему не прибыл вовремя? Вот тебе за это! А ты? Получай...

Он читал письма, сжимая кулаки: Брут готовился к борьбе, — республиканцы имели уже сильные войска, воодушевленные идеей освобождения отечества. Это была страшная угроза делу Цезаря, и Антоний понимал, что если он не отстоит новой формы правления, враги восторжествуют. Он был уверен, что Цицерон одобрит действия Брута.

Опасения Антония оправдались: письма из Рима говорили о новой филиппике Цицерона, о непримиримости оратора, об утверждении Брута правителем трех провинций и — что самое главное — об отмене законов Антония.

— Цицерон хочет войны. Пусть же будет война! — вскричал Антоний, ударив кулаком по столу. — Клянусь богами! — пока я жив — не уступлю, если бы даже

Фатум готовил мне сотни неудач!

Антоний стал готовиться к войне. Покинув Бононию, в которой он оставил Халидонию на попечении Эроса; (гречанка забеременела, и Антоний хотел выдать её за любимого вольноотпущенника), он шел дубовыми лесами во главе войск к Мутине. Легионарии со смехом разгоняли стада жирных свиней, подбиравших желуди. Веселые крики людей и хрюканье животных оглашали леса.

«Благодатная страна», — думал полководец, оглядываясь на смоляные заводы, на овец, шерсть которых славилась во всей Италии, и на огромные бочки, величиной с хижину, — в них приготавлилось лучшее вино Циспаданской Галлии. Антоний послал гонца к Вентидию Бассу с приказанием прибыть к нему на помощь с тремя легионами. До Мутины оставалось не более пятидесяти стадиев. Легионы шли с веселыми песнями.

Однако Мутина встретила Антония не приветливо. В бою Антоний понес большие потери и стал отступать, двигаясь к Нарбонской Галлии. Октавиан побоялся его преследовать, и только Децим Брут погнался за Антонием, решив его уничтожить, чтобы избавиться от «Дамоклова меча», как он говорил, занесенного над его головою.

Антоний шел на Лигурию, переваливая через крутые и дикие горы между Дертоной и Вадой, минуя Эмилиеву дорогу из опасения попасть в засаду. Он надеялся соединиться с Вентидием Бассом, так как своих войск у него было мало — четыре легиона, конница и новобранцы. В первые два дня он прошел тридцать миль, отделявших Мутину от Пармы, и ночью обрушился на город.

Была вторая половина апреля, но еще держались заморозки: осколки льда звенели под калигами воинов, молча подходивших к городу. Полководец объявил, что отдает город легионам, предупредив, что за обнаруженное пьянство виновные будут казнены. Всю ночь шел грабеж, происходили насилия. Центурионы кричали: «Воины, запасайтесь продовольствием! Предстоящий путь долог и тяжел!»

В следующие два дня было пройдено сорок миль. Дав войскам однодневный отдых в Плацентии, Антоний двинулся по Мульвиевой дороге к Дертоне и спустя неделю достиг лигурийских гор. Перевалив через них, он в первых числах мая прибыл в Ваду Сабатию, однако Вентидия Басса там не оказалось.

Расстроенный, Антоний послал навстречу ему брата Люция. Вскоре Вентидий Басе прибыл. Уставшие легионы отказывались идти в Нарбонскую Галию. Антоний, привыкший в последнее время к ударам судьбы, принужден был обещать, что отправит их в Полленцию. К счастью для него, разведка донесла, что Полленция занята Децимом Брутом.

— Слышите? — возгласил Антоний. — Враг занял город; Если вы хотите предать своего полководца и сдаться на милость убийцы нашего друга и отца, великого Цезаря — идите! Но помните: вы покроете себя вечным позором — каждый квирит, нет, даже не квирит, а вольноотпущенник и раб вправе будет плевать на вас, на ваших жен и детей, и не ответит за это по римскому закону. А каждый раб, пошедший со мною, получит — клянусь Меркурием! — свободу, вольноотпущенник — права гражданства, воин — земли и подарки, центурион, трибун, легат, префект — большие награды и повышение в чинах. Кто за Цезаря — тот с мною, кто против меня — тот с убийцами-помпеянами!

— За Цезаря! — закричали друзья Антония. Возглас их повторили первые ряды легионов, подхватили вторые и третьи, и мощные крики огласили окрестность.

— С Антонием, всегда с Антонием! — говорили, перебивая друг друга, воины. —

XI

Находясь в Форуме Вокония, Лепид с тревогой следил за движением войск Марка и Люция Антониев. Первым прибыл Люций в Форум Юлия; Марк, подошедший с легионом позже, немедленно направился к лагерю Лепида, где находились ветераны Цезаря.

Расположив войска на берегу речки Аргентей, Антоний возбуждал ветеранов беседами о Цезаре. Его легионарии были частыми гостями в лагере Лепида, а воины Лепида — в лагере Антония.

Сам Лепид был в нерешительности. Он думал: «Антоний друг, но в немилости. Стоит ли жертвовать своим положением ради него?» Он смотрел на походный столик, на котором лежал декрет сената об изгнании Антония, и его одолевала мысль: «Оскорбить сенат неповиновением значит стать его врагом. Как поступил бы в этом случае Цезарь? Конечно, употребил бы хитрость». Лепид решил притвориться противником Антония и не препятствовать ему в действиях, какие тот найдет нужными. Но тут он вспомнил о письме Октавиана, который спрашивал: «Сообщи, согласен ли ты признать меня вождем цезарьянцев», и в раздумьи опустил голову. На письмо он еще не ответил, и теперь, когда Антоний стоял в нескольких шагах, его занимал вопрос, как держать себя с ним, чтобы не возбудить подозрений легатов и военных трибунов.

Приоткрыв полу шатра, Лепид наблюдал за противоположным берегом Аргентей и вдруг среди воинов увидел Антония. Сердце его сжалось: с длинной бородой и всклокоченными волосами, в траурной одежде, полководец, правая рука Цезаря, беседовал с ветеранами, находившимися на другом берегу. Легионарии приветствовали его.

— Трубить в трубы! — закричал Лепид легату, находившемуся на претории.

Трубы заглушали громкий голос Антония, — так нужно было. Никому не приходило в голову, что Лепид склонен перейти на сторону сената.

На другой день Лепид был разбужен криками. Полураздетый, он выглянул из шатра и увидел ветеранов, несших на руках Антония. Они шли к его палатке. Толпа увеличивалась — воины сбегались со всех сторон.

Караульный легат доложил:

— На рассвете Антоний с небольшим отрядом перешел реку вброд, наши легионарии сломали палисады и схватили его на руки. Принимай, вождь, друга Цезаря.

Лепид поспешно оделся и выбежал на преторию. Он обнял Антония при радостных криках легионариев и громко сказал:

— Привет сподвижнику нашего бога и отца!

— Привет и тебе, отец мой! — смиренно сказал Антоний. — Я понимаю твою нерешительность... ты боялся сената.

— Сената?

Лепид был задет. Нет, он никогда не был трусом. Кто боится сената? Только варвары! А он — верховный жрец, и его слово свято. Римский народ не позволит даже

сенату издеваться над священной личностью жреца.

Кликнув писца, он стал диктовать дерзкое послание, уверяя отцов государства, что сострадание к Антонию победило легионариев и его самого. Письмо кончалось словами: «Надеюсь, что римский сенат не вменит нам в преступление оказанного милосердия, которого, по-видимому, лишены отцы государства во главе с Цицероном. Ветераны и друзья Цезаря знают, что делать для блага государства».

Узнав о соединении Антония с Лепидом, общество негодовало; Растерянный сенат принял срочные меры: Марку Бруту и Кассию с войсками, а также африканским легионам было приказано прибыть в Италию; Секст Помпей был поставлен во главе всех кораблей с титулом начальника флота и морского берега и с полномочиями, какими некогда пользовался Помпей Великий в борьбе с пиратами. Введение налога по случаю войны вызвало всеобщее недовольство: роптали всадники, негодовали ростовщики, волновался народ, хотя всем было известно, что сокровищница Сатурна была пуста, а средства требовались большие. Сенат хотел обнародовать проскрипцию против Лепида, славившегося богатством, но его теща Сервилия, имевшая большие связи в аристократических фамилиях, приложила все усилия, чтобы его спасти. Вскоре о проскрипции перестали говорить.

Октавиан перешел на сторону аристократов и получил начальствование над войсками, выставленными против Антония. Учитывая тяжелую обстановку, он не торопился выступать в поход, желая вынудить сенат не препятствовать его консульству.

Перед заседанием сенаторы толпились в курии: одетые в тоги с красными полосами, в красных полусапожках, украшенных полумесяцем из слоновой кости, надменными лицами, они шептались, стараясь казаться спокойными:

— Октавиан приказал убить на войне Гиртия...

— Велел отравить раненого Пансу, чтобы расчистить себе дорогу к консулату.

— Мы знаем, кто этот сын Цезаря, — насмешливо подчеркнул Фавоний, — от него так и пахнет ростовщической породой. Что? — закричал он, заметив движение руки Цицерона, собиравшегося возразить. — Ты легковверен, Демосфен великого Рима! Ему приказано спешить на помощь Дециму Бруту, а он медлит...

Цицерон не ответил и, взяв Фавония под руку, отвел его в сторону.

— Лепид должен быть объявлен врагом отечества, — сказал он, — подлый проконсул, которому мы доверяли, оказался изменником, и я решил принять строжайшие меры. Когда Октавиан отправится в поход...

— Понимаю, — кивнул Фавоний. — Мы объявим Лепида врагом и отсрочим выполнение проскрипции, чтобы дать время воинам покинуть проконсула. А потом?

— Что потом? Октавиан и Децим Брут разобьют Антонии, и республика будет спасена.

— Ты очень доверчив, Марк Туллий! Октавиан — трус, и едва ли можно рассчитывать на него...

— Октавиан знает, что у Децима десять легионов, у Планка — пять, у Азиния Поллиона — три, у Марка Брута — семь, у Кассия — десять, а всего тридцать пять легионов, не считая кораблей Секста Помпея и моряков, которых он купил в Африке. Неужели с такими силами мы не сможем противостоять четырнадцати легионам бунтовщиков?

— А ты уверен, что легионы не перейдут на сторону Антония?

Цицерон отшатнулся.

Вопрос Фавония был страшен: он давно уже беспокоил оратора, который боялся даже думать об этом, а друг спросил, точно предательство было вполне естественным делом.

— Измена? Не может быть. Подождем событий, — сказал Цицерон, упрямо сжимая тонкие губы.

Ждать пришлось недолго — пролетели три недели, и Октавиан, не получивший консульства, выступил в поход. Лепид был объявлен врагом отечества, а проскрипция против него отсрочена на два месяца. Сенат торжествовал, все, казалось, было в порядке. И вдруг в июльские иды прибыло в Рим посольство от Октавиана. Испуганный сенат слушал центурионов и воинов, которые нагло говорили, перебивая друг друга:

— Легионы требуют избрать нашего вождя консулом...

— ...отменить проскрипцию против Антония и Лепида...

— Мы не пойдем против ветеранов Цезаря... Цицерон вскочил.

— Измена? — крикнул он. — Октавиан с бунтовщиками? Так ли это? О, боги! — обратился он к Капитолию: — Слышите и видите, что происходит?

— Нужно ответить на требования посольства, — шепнул ему Фавоний.

— Голосуйте, — махнул рукой Цицерон и опустился в курульное кресло. Он был бледен, губы посинели, на лбу выступил пот.

Голосование оказалось не в пользу посольства, — центурионы и воины покидали курию с угрозами.

— Война, неужели война? — вскричал Фавоний. — Войск у нас много, а где они? Децим будет уничтожен, потому что Марк Брут и Кассий далеко, а Планк и Поллион не сумеют разбить легионы злодеев...

— Марк Туллий, ты ослеп! — насмешливо сказал старый сенатор. — Мальчишка перехитрил тебя, приняв сначала вид республиканца, а потом — цезарьянца.

— . Подлый демагог! — выговорил Цицерон, пытаясь подняться, но не мог, — странное бессилие овладело им, губы шептали молитву: оратор умолял богов о смерти.

Возвратившись домой, Цицерон принялся за работу: он писал сочинение, в котором доказывал, что смерть — не зло. Он хотел ободрить римлян, внушить им твердость, мужество и философское спокойствие к перенесению несчастий. Проповедуя смерть и презрение к жизни, он ссылался на Катона Утического, на Юбу, Петрея, Сципиона и других, которые предпочли небытие позорному существованию. Это была первая Тускулана, хотя и сочинения «*Cato major sive de senectute*»⁴ и «*Laelius sive de amicitia*»⁵ были кончены и он хотел просмотреть их после обработки Тироном, теперь было не время приниматься за них. Сперва нужно издать «*Tusculanae quaestiones*»,⁶ которые утверждали самоубийство как спасение от зверств победителя.

— Сын мой, — сказал он Тирону, — обещаю, что бы ни случилось со мной, опубликовать мои труды. Я стар, врагов у меня много, и одни боги знают, что ожидает меня.

— Не беспокойся, господин мой! Твои труды — достояние потомства. А жизнь —

⁴ «Катон Старший или о старости»

⁵ «Лелий или о дружбе»

⁶ «Тускуланские вопросы»

в руках Олимпа.

Октавиан двинулся на Рим и остановился у его стен, ожидая присоединения к нему африканского и сардинского легионов. Город сдался, вожди аристократов бежали. Но Цицерон и сенат остались.

Обняв на форуме мать и сестру, которых спрятали весталки от мести аристократов, Октавиан принес жертву Юпитеру Капитолийскому и вернулся из города к войскам.

Заставив сенат избрать себя и Квинта Педия консулами, а куриатные комиции утвердить свое усыновление, Октавиан приказал Педию внести законопредложение, а комициям утвердить закон о запрещении огня и воды убийцам Цезаря.

Ужас охватил Рим. Амнистия была уничтожена и заговорщики привлечены к суду, однако ни один из них не явился.

Вскоре стало известно, что Планк и Поллион сдали свои легионы Антонию и Лепиду, а войска Децима Брута перебежали на сторону Антония. Сам Децим был захвачен в Альпах варварами и казнен по приказанию Антония, хотя спас ему жизнь во время убийства Цезаря. В это же время в Рим пришло запоздалое известие о поражении, нанесенном Кассием Долабелле, и смерти его.

XII

Кассий, муж смелый, твердый и решительный, упорно боролся с Долабеллой, собиравшим дань с городов и снаряжавшим корабли при помощи родосцев, ликинцев и иных народов. Кассий тоже попытался получить корабли от Финикии, Родоса и Ликийи, но это ему не удалось, и он принужден был выступить против Долабеллы с теми силами, какие имел. Морское сражение не дало ни одному из них преимуществ, и Кассий стал готовиться к новой битве. Он собирал корабли, нанимал людей, закупал оружие.

Напав на Долабеллу в море, Кассий разбил его, частью потопив корабли, а частью заставив их сдаться. Долабелла бежал. Он заперся в Лаодикее, надеясь на помощь Клеопатры, корабли которой ожидали попутного ветра, чтобы отплыть в Азию. И Кассий, опасаясь удара в тыл, решил кончить войну поскорее.

Подкупив центурионов, охранявших городские ворота, Кассий проник днем в Лаодикею, а за ним ворвались войска.

Шум и крики донеслись до площади, где Долабелла производил смотр легионам.

— Что там? — вскричал он, обратившись к друзьям. — Пусть телохранитель узнает, что случилось.

Вскоре телохранитель появился на площади. Он бежал, размахивая руками, и кричал:

— Беда, вождь, беда! Кассий в городе!

— Кассий?

Долабелла растерянно смотрел на легионариев, покидавших ряды и исчезающих в улочках. И вдруг, поняв, что все погибло и жить незачем, успокоился. Этот веселый кутила, любивший женщин и пиры, приказал телохранителю убить себя и подставил ему горло.

— Клянусь богами! — воскликнул Долабелла. — Вот что составляет доблесть

мужа.

Получив смертельный удар, он упал, обливаясь кровью. Телохранитель отрубил ему голову, а потом вонзил себе кинжал в сердце.

...Смерть Долабеллы обрадовала Кассия. Собрав легионы противника, он заставил их присягнуть себе. Торопясь покинуть Лаодикею, полководец ограбил храмы и казначейство, умертвил знатных людей, чтобы получить их имущество. А на горожан была наложена такая большая дань, что они стали нищими.

Когда Кассий покидал город, жители проклинали и оскорбляли его, а он ехал впереди легионов, равнодушный ко всему, думая об одержанной победе и захваченных богатствах.

«Все, что бы я ни делал, — думал он, — хорошо и необходимо для спасения республики. Мы должны разбить злодеев, посягающих на нее, стремящихся ее ниспровергнуть. И мы добьемся светлых дней, рассеяв мрак, окутывающий Рим».

Повернувшись к легату, ехавшему рядом с ним, Кассий сказал:

— Наша цель — жизнь, борьба и победа. А обернется к нам Фатум спиной — примем безропотно смерть.

И спросил, какой из враждебных городов самый богатый в Азии.

— Разве у нас недостаточно золота и серебра? — спросил легат.

— Для спасения республики нужны огромные средства, — сказал Кассий. — Но первым делом мы должны обезопасить себя с тыла, чтобы противник не двинул против нас своих кораблей...

— Самые богатые и враждебные нам государства — Родос и Ликия. Но в городе Родосе ты, господин, получил воспитание и греческое образование.

— И все-таки родина моя — Рим! — вскричал Кассий.

XIII

Объявив сенату, что он идет усмирить Антония и Лепида, Октавиан двинулся в поход, сказав на прощание Квинту Педию:

— Консул, поручаю тебе в мое отсутствие утвердить закон об уничтожении проскрипций против Антония и Лепида.

Педий испуганно заморгал глазами:

— Боюсь, консул, что сенат догадается о твоих намерениях.

— Делай, как приказано, — сената не боюсь, да и никто его не боится: он давно уже перестал быть нашим пугалом...

Октавиан шел на Бононию. Легионы весело шагали, распевая песни (Октавиан выплатил им из сокровищницы Сатурна часть серебра, завещанного Цезарем). Прислушиваясь, Октавиан переглядывался с Агриппой, ехавшим с ним рядом, и улыбался.

На привале воины беседовали.

— Песенка вождям понравилась, — говорил седой ветеран с носом, разрубленным мечом. — Гнилозубый смеялся, оборачивался к Красногубому...

— А что же тот? — спросил другой ветеран с бородой, похожей на мочалу.

— Красногубый даже не улыбнулся...

— Скромник! А попалась бы ему девчонка, как в песне поется, бьюсь об заклад на

сестерции, которые звенят у меня, — не устоял бы!

— Клянусь Венерой, ты не знаешь его, — вмешался третий ветеран и, высморкавшись, вытер пальцы об одежду. — Сын Цезаря холоден, а такие песни любит. Красногубый же песен не любит, зато подавай ему девчонок...

Ветераны захохотали.

— Тише... Красногубый...

Подошел Агриппа и дружески заговорил с легионариями; он расспрашивал их, сыты ли они, не устали ли и как думают распорядиться деньгами.

Ветеран с бородой, похожей на мочалу, сказал:

— В Бононии будем тешиться с девчонками, которые падки до лакомств, а еще больше до денег. Молодая дорогого стоит, а старая и даром не нужна.

— Тратить деньги на лакомства, вино и девок безрассудно, — заметил Агриппа, но его уже обступили бородатые ветераны, посыпались шутки.

— А разве ты с сыном Цезаря зеваешь? Вспомни Этрурию!

— Не напорись на столетнюю старуху!

— Убегая, не покинь сына Цезаря, как тот раз!..

Агриппа засмеялся, вспомнив, как они в поисках ночных приключений отправились однажды из лагеря в небольшой городок и попали вместо лупанара в дом кожевника. Поднялся переполох. Агриппа бросился бежать.

Октавиан отстал (хромота подвела), и его окатили с верхнего этажа помоями.

— Хорошо еще, что помоями, — хохотали ветераны, держась за бога и за животы, — а могли бы...

Агриппа поспешил уйти, указав на знаменосца, который нес древко с серебряным орлом.

— В путь, в путь! — крикнул Агриппа. — В когорты по местам!

Заиграла труба.

Старческий голос вывел первую строфу непристойной песни. Когорта подхватила, за ней вторая, третья и другие, кто-то свистнул, свист повторили, и песня покатилась, гремя и прыгая, как тяжелая повозка земледельца по неровным булыжникам.

— О-о-о!.. А-а-а! — взвизгивали легионарии, а на смену вскрикам, заглушая их и громокая, мчалась грубая песня.

XIV

Встреча полководцев произошла на острове — при слиянии Репа и Лавиния — в стороне от Эмилиевой дороги. Неподалеку в лучах бледного октябрьского солнца сверкали мраморные храмы Бононии, розовели дома, желтела поблекшая зелень садов и виноградников. Кое-где пестрела листва, тронутая дыханием осени, и косматые утренние туманы стлались по лугам и низинам, цепляясь за кустарники и нависшие ветви деревьев.

Утро было прохладное. На берегу строились легионы. Взоры воинов были обращены к островку, среди которого возвышался шатер, украшенный тремя крылатыми Победами. С берега на остров вели два моста.

Подъезжали вожди, встречаемые приветствиями легионов. Впереди скакал Лепид,

душа примирения; он сам облюбовал место встречи, сам позаботился, чтобы беседа произошла втайне, без свидетелей.

Спрыгнув с коня, Лепид первый прошел по мосту и, обойдя островок, а затем и шатер, осмотрел, нет ли чего-либо подозрительного, затем сделал знак рукой Антонию и Октавиану.

Пройдя по разным мостам, оба полководца сошлись перед шатром, к ним присоединился Лепид, и они поздоровались. Потом, тщательно обыскав друг друга, они спрашивали полушутливо:

— Не вооружил ли тебя, Марк Антоний, по твоему неведению, любитель войны Марс?

— А тебя, Гай Октавий Цезарь, воительница Беллона?

— А тебя, Марк Эмилий, бог и богиня вместе? — приоткрыв кожаную полушатра, Лепид вошел первый. За ним последовали Антоний и Октавиан.

— Давно пора, дорогие друзья, жить в мире, — непринужденно сказал Лепид, усаживаясь на скамье и жестом приглашая Антония и Октавиана занять места. — Кто мы, чтобы враждовать? Я и Антоний — самые близкие друзья Цезаря, а ты, Гай Октавий, сын его... О, если бы Цезарь явился из подземного царства, он проклял бы нас за эту вражду...

— Я давно стремлюсь к миру, — вздохнул Октавиан, — но не по моей вине...

— И не по моей тоже, — вымолвил Антоний, готовый обвинить Октавиана в демагогии и подлости.

— Виновата во всем Вражда, ожесточившая любящие сердца, — заговорил Лепид, стараясь не смотреть на Антония, — у нас сорок три легиона, сорок тысяч вспомогательных войск и конницы...

— ...которых нельзя распустить, пока не погибли Брут и Кассий, убийцы Цезаря! — прервал Антоний. — А между тем содержание этих войск, по моим подсчетам, обойдется в восемьсот миллионов сестерциев. Где возьмем денег?

— Нельзя допускать, чтобы воины нас покинули, — сказал Октавиан. — Дело нужно довести до конца. Но не так помогут нам боги, как мы поможем себе сами.

— А кто мы? — взглянул Лепид на Антония и Октавиана. — Разрозненная сила. И потому необходимо нам заключить триумвират, но не тайный, как это сделали некогда Красс, Цезарь и Помпей, а — явный. *Triumviri rei publicae constituendae*,⁷ не так ли, друзья?

Антоний и Октавиан наклонили головы. Первым заговорил Антоний:

— Убийцы Цезаря, помпеянцы и сторонники их должны быть казнены — вот откуда мы возьмем деньги! Имущество богачей перейдет к триумвирам, пекущимся о благе отечества, поможет им заплатить воинам, победить Брута и Кассия.

— Итак, восстановление диктатуры Цезаря, которая по наследству переходит к трем мужам, — заметил Октавиан.

— Мы будем господами жизни и смерти квиритов, их жен и дочерей, — продолжал Антоний, — а самое главное — имущества, во имя закона и порядка в республике.

Понимая, что их власть будет подобна власти Суллы и Цезаря вместе, триумвиры приступили к распределению провинций. Антоний получал обе Галлии, Лепид — обе Испании и Нарбонскую Галлию, а Октавиан, имевший меньшее войско, — Африку,

⁷ Триумвиры по восстановлению или упорядочению республики.

Нумидию и острова. Римом же и Италией они должны были управлять сообща. Затем было постановлено готовиться к войне с Брутом и Кассием. Антоний и Октавиан получили по двадцать легионов, а Лепид, который, вследствие родства с Брутом и Кассием, не мог участвовать в войне против них, только три легиона для наблюдения за Италией.

— Теперь обсудим, — грубо сказал Антоний, — кто из разжиревших богачей нуждается в кровопускании.

Долго они спорили, торгуясь, как на рынке. Каждый хотел спасти жизнь друзей и родных. Лепид и Октавиан робко возражали Антонию, который гневно настаивал на казни сенаторов и всадников, вспоминая мелкие обиды, отказ в деньгах, пренебрежение. Он говорил с ненавистью в голосе, протягивая Лепиду таблички:

— Здесь намечены сто сенаторов и две тысячи самых богатых всадников. Жатва будет обильная. Пусть жнецы вооружатся серпами. К злодеям, которых я внес в список, нужно еще прибавить наших политических противников, всех этих деятельных помпеянцев, чтобы сразу подрезать аристократам крылья. Так ли я говорю?

Октавиан и Лепид одобрили предложение Антония.

— Есть старая жирная свинья, жравшая Тринакрию и подавившаяся ею, к счастью для нас, не насмерть, — это Веррес, богатый кутила и стяжатель, — продолжал Антоний. — Некогда старая лиса подбиралась к свинье и чуть не загрызла ее — я говорю о презренном Демосфене великого Рима. Пусть обвинитель и обвиняемый погибнут вместе!.. Цицерон погубил Катилину и его друзей, и я хочу быть мстителем за них!..

— Цицерона можно было бы пощадить, — пытался вступить за оратора Октавиан, но Антоний ударил кулаком по столу.

— Ты, сын Цезаря, защищаешь подстрекателя к убийству отца! Это рука подлого лизоблюда направила кинжалы в грудь Цезаря! Ты скажешь, он великий писатель, Душа республики, политик и оратор — пусть так! Но его деятельность вредна для республики, — Цицерон не угомонится и будет нас травить...

И он протянул Октавиану список. Тот долго рассматривал его.

— Друг, ты все-таки внес Цицерона!

— Ему надоело жить, — засмеялся Антоний. — Оратор еще при жизни диктатора, часто выражал желание умереть. Он задыхался в ночи республики... Пусть же вольно дышит в ночи подземного царства. Не проси за него, Гай Октавиан, а лучше прикажи консулу казнить врагов по этому списку... Что ты так смотришь на меня? В списке нет даже двух десятков, а мы наметили тысячи.

— Ты прав, — согласился Октавиан. — Что жалеть стариков? Им пора умирать. Будем же действовать безжалостно и поражать сильной рукою.

Слова Октавиана удивили Антония. «Лицемер что-то замышляет, иначе бы не уступил так скоро. Но — клянусь Гекатой! — я разгадаю его и, если он начнет строить козни и теперь, — горе ему!»

— А если Педий откажется? — спрашивал Лепид.

— Если откажется, — задумался Октавиан, — то ведь я тоже, консул... я еще не сложил с себя магистратуры...

— Нет, он не посмеет! — вскричал Антоний. — Не посмеет, хотя закон о триумвирате еще не опубликован. А теперь, друзья, в Рим! И да сопутствует нам Меркурий!

XV

Эрос не долго раздумывал, как поступить с Халидонией, — бросить ее с ребенком на руках и без средств к существованию было опасно: как отнесется к этому Антоний? А жениться он не думал.

Убедив Халидонию сделать себе выкидыш в деревянном городе (так называли Равенну), где славилась искусством абортов местная повивальная бабка, Эрос увез ее из Бононии, решив потом скрыться.

Деревянный город был построен на болотах: множество мостов и мостиков, передвижение в лодках. Халидония удивлялась и хлопала в ладоши, когда появлялись новые и новые мосты.

Хотя гречанка и нравилась Эросу, он не представлял себе жизни в этом незнакомом городе без Антония, к которому привязался и который осыпал его милостями. «Разве мало красавиц на свете? — думал он, погоняя коня. — Стоит только пожелать, и любая вольноотпущенница не откажется жить со мною. Притом господин мало позаботился о Халидонии: он оставил ей десять тысяч сестерциев. Стоит ли из-за таких ничтожных денег обречь себя на скучное прозябание в провинции?»

Эрос прибыл в Форум Юлия после соединения Антония с Лепидом. Увидев вольноотпущенника, Антоний, нахмурившись, окликнул его:

— О-гэ, Эрос! Я не ошибся? Это, действительно, ты? Почему возвратился? Где Халидония?

Мысль, что гречанка взывает к Фуриям о мести, испугала суеверного Антония, а так как, думал он, и Венера могла прийти на помощь покинутой девушке, то нужно поскорее исправить ошибку, допущенную вольноотпущенником.

Эрос сказал, что гречанка осталась в Равенне, а покинул он ее потому, что она ему не нравится.

— Кроме того, господин мой, — дерзко прибавил Эрос, — кому нужна подержанная вещь? А вдобавок ее искалечила бабка железным стержнем...

— По чьему совету? Она ведь хотела оставить ребенка.

Эрос молчал.

— А, я так и знал! — грозно взглянул на него Антоний и ударил по щеке. — Говоришь, подержанная вещь? А кем подержана? Мной! Понял, раб? Разве это не честь для тебя? А знаешь ли, подлая скотина, что нередко дорогая, но подержанная вещь ценнее новой, да дешевой? Что? Возражать? Еще хочешь получить? Ну, не плачь! Я погорячился. Отдохни и завтра чуть свет поезжай обратно. Таких, как ты, учить нужно. Ты женишься на Халидонии или — клянусь Геркулесом! — я отниму у тебя твое состояние, а тебя велю...

— Прости, господин, за дерзость, — поспешно перебил Эрос, размазывая по лицу слезы, — завтра я поеду в Равенну, но позволь сказать тебе, что невеста бедна, деньги ею потрачены, а мое богатство — сам знаешь — не так уж велико. Как же она будет жить без меня? Ведь ты не прогонишь меня от своей особы?

— Немного денег я дам, потом получишь с лихвою — слово Антония! После брака отвези Халидонию в окрестности Габий, в мое поместье, пусть там живет на

правах госпожи. А затем возвращайся ко мне.

На другой день Эрос отправился в Равенну. Гречанка обрадовалась его приезду.

— Где ты был? — радостно говорила она. — А я уже было подумала, что ты бросил меня, как и Антоний — да поразят его стрелы Зевса!

— Не брани господина, он помнит о тебе. Вот деньги от него, он приказывает мне жениться на тебе... Ослушаться — значит навлечь на себя кару могущественного мужа.

Халидония поникла головою. Антоний ей нравился, и она мечтала после смерти Фульвии стать его женою. Эрос, не замечая горя гречанки, обнял ее и уселся рядом с нею.

— Не плачь, — говорил он, лаская ее руки и плечи, — мы заживем хорошо. У меня есть дом в Риме, лавки, дающие прибыль, небольшой виноградник. А разбогатею, еще больше будем иметь! Ты станешь госпожой, может быть, даже матроной. И мы пригласим к себе Антония и его друзей.

— Нет, нет! — сквозь слезы вымолвила Халидония, вспомнив Фульвию. — Я согласна жить в глуши, лишь бы их никогда не видеть...

— Глупенькая, — сказал Эрос, вытирая ее глаза. — Я понимаю, что ты сердишься на господина, но поверь мне, он ни в чем не повинен, — так захотели боги. А ты мне нравишься... Будь же моей женою...

Халидония не возражала. Что было лучше — любовница Антония или жена вольноотпущенника Эроса? Она знала, что Антоний непостоянен — он меняет женщин каждую неделю — и удивительно было, что она прожила с ним несколько месяцев. А Эрос? «Если господин приказал ему жениться на мне, я буду под опекой господина».

Эрос долго не мог заснуть, — мешали ночные сторожа; обвешанные колокольчиками, они ходили кругом дома, и звон назойливо застревал в ушах. Рядом лежала Халидония, и Эрос думал о превратностях судьбы. «Не помышлял жениться, а пришлось: получил подержанную вещь». Халидония тоже не спала. Ласки Эроса надоели, — господин ласкал не так: он вкладывал в каждое движение душу, его слова были сладки, как гиметский мед.

«Жизнь — это игра, — думала она, — в выигрыше тот, кто сумеет обмануть своего противника. А не сумел обмануть — иди в плен, подчиняйся другому, становись рабом».

Эта грубая философия разъедала сердце Халидонии, и Эрос, покидая гречанку в габийской вилле, поневоле сравнивал Халидонию Бононии с Халидонией Габий: вместо скромной, доверчивой и ласковой женщины перед ним стояла насмешливая, недоверчивая жена, которая говорила:

— Не успеешь прибыть в Галлию, как обзаведешься простибулами — забудешь жену, станешь пьянствовать вместе с Антонием. Но берегись: заболеешь от потаскухи — не пушу на порог дома. Даже господин не сумеет меня уговорить!

Напрасно Эрос убеждал ее, что он испытывает отвращение к продажным женщинам, — Халидония не верила. Обнимая его, она всхлипнула. А когда Эрос вскочил на коня, — не выдержала: обхватив обеими руками ногу мужа, сунутую в бронзовый башмак, она прижалась к ней щекой и повторяла, сжимая ее сильнее и сильнее:

— Обещай не забывать меня. Люби крепко... Прости, если язык мой выговорил злые слова.

Эрос с трудом освободился от жены. Покидал ее с тяжестью на сердце.
— Будь спокойна, — сказал он, — сердце мое с тобою. И ударил коня плетью.

XVI

После загадочной смерти консула Педия, умершего внезапно (он опубликовал эдикт, в котором сообщалось об осуждении только двенадцати человек), Антоний, Октавиан и Лепид прибыли один за другим в Рим, каждый с легионом и преторианской когортой.

На другой день они заставили утвердить закон, устанавливавший триумvirат сроком по тридцать первое декабря семьсот шестнадцатого года от основания Рима, и опубликовали проскрипционные списки.

Наступили страшные времена Суллы.

— Кто убьет осужденного, — кричали на площадях глашатаи, — тот получит награду! А кто спрячет проскрипта или поможет ему бежать — будет отвечать своей головой за укрывательство врага отечества.

Халидония, вызванная в Рим Эросом, насмотрелась ужасов на улицах города: здесь вели пойманного сенатора, переодетого рабом, и толпа бросала в него камнями и навозом; там гнали выловленных из подполий, сточных труб и усыпальниц гордых нобилей, награждая их пинками и оплеухами; а дальше — рабы убивали всадников, умолявших о пощаде, обнимавших их колени; многие оптиматы бросались навстречу убийцам, чтобы поскорей избавиться от мучительного ожидания смерти.

Эрос говорил, сжимая руку жены, дрожавшей всем телом:

— Слуги убивают господ, развратные матроны обвиняют ненавистных мужей, стараясь, чтобы они попали в списки проскриптов, сыновья предают отцов, указывают, куда они скрылись...

— О, боги, — шепнула Халидония, — скоро ль все это кончится? — И вдруг прижалась к мужу, когда они подходили ко дворцу Антония. — Куда ты меня ведешь?

— Господин желает тебя видеть...

— Меня?

Она рванулась, но Эрос удержал ее:

— Не бойся, ведь ты — моя жена.

Она поднималась по мраморным ступеням, устланном ковром. Рядом с ней шел Эрос в нарядной одежде, и рабы кланялись им, громко приветствуя. И Халидония думала: почему так случилось, что она входит во дворец не супругой повелителя мира, а женой его вольноотпущенника?

Вошли в триклиний. Она видела возлежавших гостей, слышала гул и смех. Антоний говорил ровным голосом, не повышая его, что служило признаком сдерживаемого раздражения:

— Они бегут к морю, бегут к Сексту Помпею, который старается притти им на помощь,

— Он подошел к Сицилии, чтобы принять верховное начальствование над морскими берегами, — поддержал его Октавиан. — Эдикты Секста, обращенные к италийским городам, вызывают волнения; он собирает беглецов на берегах...

Лепид что-то ответил. Халидония не расслышала: зазвенели сестры, запели лиры,

и свежие молодые голоса наполнили триклиний ликующими напевами.

Эрос подошел к ложу, на котором возлежали Антоний, Октавиан и Лепид, нагнулся к господину, что-то шепнул. Антоний повернулся к гречанке и несколько мгновений вглядывался в нее.

— А, это ты, — небрежно сказал он. — Как жаль, что война разлучила нас! Ты поторопилась выйти замуж, не захотела подождать...

Халидония растерялась.

— Господин мой, — пролепетала она, — ты ошибаешься. Не ты ли приказал Эросу жениться на мне?

Антоний привстал.

— Я — приказал? Когда это было, Эрос? И было ли? Что-то не помню.

Эрос испуганно замигал глазами.

— Это было, господин, в Форуме Юлия... Антоний прищурился.

— Подойди, Халидония! Я ли тебя не любил? О, молодежь, молодежь! Как ты неблагодарна!.. Поистине, Халидония, ты сменила одну любовь на другую, по греческому выражению: «Клин клином вышибать».

— Господин мой, — шептала она, — я ничего не понимаю. И Эрос не понимает — взгляни на него! Сжался над нами, господин!..

— Встань, Халидония! Я хотел испытать тебя... твою любовь... Ты вышла за Эроса... Так угодно было богам...

Он притворно вздохнул и повернулся к Эросу:

— Отвези жену в габийскую виллу и возвращайся поскорее: ты мне нужен.

Эрос не успел ответить, — донесся хриплый голос Фульвии:

— С кем ты беседуешь, Марк Антоний? С Эросом? А кто эта женщина?..

— Жена его, — ответил Антоний, сделав обоим, знак удалиться, и обратился к падчерице: — Что ты скучна и бледна, Клавдия? Приляг за нашим столом.

Эрос и Халидония вышли.

Фульвия и Клавдия заняли места легатов, которые напились до бесчувствия и были рабами отнесены в спальню.

Октавиан перешел на другое ложе и принялся ухаживать за Скрибонией, младшей дочерью Либона: он любовался ее ожерельем из сардских ясписов с фиолетовым отливом и говорил:

— Твои глаза, как эти ясписы... Скрибония, обмахиваясь веером, ответила:

— До сих пор ты мало обращал на меня внимания...

— Ошибаешься. Ты мне нравишься, но я тебе не мил... Шум у дверей отвлек его внимание. В триклиний ввалилась толпа воинов с кожаными мешками. Антоний, как старший триумвир, подошел к ним.

— Что вам, друзья?

— Получай, триумвир, головы проскриптов, — выступив на середину триклиниума, сказал центурион и потряс мешком. — Принесено шестьдесят голов. Что прикажешь сделать с ними?

— Выставить на рострах. Мы, триумвиры, благодарим доблестных коллег и друзей великого Цезаря за верную службу отечеству, — и, кликнув писца, приказал:

— Выдать завтра награды этим храбрым ветеранам. Клавдия, обиженная невниманием Октавиана, смотрела, как он подходил к Антонию. В голове ее назойливо билась мысль: «Для него политика важнее и дороже любви».

Всадники и крупные землевладельцы были казнены, а их имущество разделено

между популярями, за вычетом приданого, оставленного вдовам, и части денег — сыновьям и дочерям: первые получали одну десятую и вторые одну двадцатую отнимаемых состояний. Жадные триумвиры покупали виллы за бесценок; их примеру следовали воины, которых боялись раздражать,

— Победа бедноты! — насмешливо говорил Лепид, поглядывая на Антония и Октавиана. — Если погонщик мулов стал консулом, то не есть ли это торжество охлократии?

Это был намек на Вентидия Басса. Антоний стал с жаром защищать консула. Он говорил, что храбрость и распорядительность этого мужа затмили великие дела знаменитых полководцев и что Вентидий получил консулат по заслугам.

— Справедливость нашего дела, за которое мы стоим, и наших действий очевидна, — добавил Антоний. — Мы не грабители, потому что если бы мы были ими, то разве оставили бы вдовам, сыновьям и дочерям проскриптов часть отобранных богатств? Все отнятые сокровища находятся в эрарии Сатурна, и если вы, — обратился он к триумвирам, — желаете взглянуть, на них и получить опись ценностей, находящихся в подземельи, то идемте.

Они спустились по мраморной лестнице дворца Антония и вышли на Палатин, взявшись под руки — справа рослый тучный Антоний, рядом с ним маленький тщедушный Октавиан и, наконец, надменный широкоплечий Лепид. Впереди них шли ликторы. Народ расступался — квириды, женщины и дети кланялись.

В сокровищнице Сатурна был сумрак. Вызванный квестор снимал печати в присутствии народного трибуна, общественные рабы отодвигали железные полосы, за которыми находились двери.

Триумвиры спустились вниз по каменным ступеням. При свете смоляных факелов засверкала добыча, полученная ценой человеческих жизней. Это были сокровища проскриптов — золотые и серебряные слитки и утварь, вазы, статуи, ковры, безделушки, драгоценные камни, долговые обязательства на третьих лиц, оставленных на время в живых, чтоб они могли выплатить свои долги.

— Это далеко не все, — сказал Антоний и повелел рабу-счетоводу подать описи отнятых невольников, роскошных вилл Лациума и Камлании, всаднических имений южной Италии и Сицилии, сенатских земель Цизальпинской Галлии и Африки, итальянских поместий, обрабатываемых колонистами. Затем он читал описи лошадей, быков, коров, овец и вьючного скота, земледельческих орудий, повозок, рабов-ремесленников и рабынь-рукодельниц.

— Все это, — заключил Антоний, — даст нам возможность победить заговорщиков, наложивших руки на Цезаря.

— Да, если нам удастся обратить эти богатства в деньги, — сказал Октавиан. — В противном случае придется пожертвовать стариками и ростовщиками.

Антоний нахмурился.

— Ты намекаешь на Варрона и Аттика? Но Варрона взял под свое покровительство благородный Кален, а Аттика — я, триумвир.

Октавиан стал возражать. Антоний добродушно похлопал его по плечу:

— Будь справедлив. Я не противоречил тебе, когда ты щадил мужей по просьбе сестры твоей Октавии... Я не посмел бы сказать «нет», глядя в чистые глаза благородной Октавии, в глаза, в которых отразилась нежная Женственность и трогающее сердце Милосердие!..

— А Вер реe и Цицерон?..

— Не сегодня — завтра головы их будут у наших ног, — спокойно сказал Антоний.

Когда они пересекали форум среди безмолвствующей толпы, чей-то громкий голос нарушил тишину:

— Злодей Октавиан, ростовщик и скотоподобное чудовище, долго ль нам еще терпеть твои преступления?

Октавиан побледнел. Вспомнились слова Агриппы: «В Риме говорят, что Антоний и Лепид требуют прекратить проскрипции, а ты, пьяный, препятствуешь им и в списки вносишь мужей, которые владеют многоценными греческими вазами»... Неужели это была правда? Он не верил Агриппе, но однажды- сам убедился, проходя мимо базилик, в правоте друга. На колоннах были нацарапаны надписи, оскорбительные для его предков и для него самого: предки были названы ростовщиками и его, мать — простибулой, а сам он — наложником Цезаря.

И теперь, вспомнив об этом, он пришел в ярость, приказал ликторам оцепить место, откуда слышался голос. Однако виновник не был найден. А на другой день он получил дерзкое письмо, которое кончалось словами:

«Не ищи квирита, который справедливо назвал тебя злодеем и чудовищем. Так величает тебя весь Рим, подлый ублюдок проклятого лено и развратной простибулы». Весь день Октавиан не находил себе места, — жажда мести доводила его до исступления. Он готов был на какое угодно кровавое дело, чтобы утопить эти оскорбления в крови обидчика. Однако виновник был неуловим, несмотря на то, что множество соглядатаев рыскало по всему городу; на улицах, в тавернах и общественных местах они прислушивались к беседам людей, намекали за кружкой вина на таинственный возглас на форуме, восхваляя смелого патриота, не побоявшегося крикнуть правду, в лицо триумвиру, — люди отмалчивались, допивали свое вино и уходили.

Октавиан не спал ночей. Антоний и Лепид пожимали плечами. Антоний был воин, и оскорбления его не задевали; Лепид же презрительно относился «к лаю собак», как он называл анонимные выступления квиритов.

Не меньше этого удручало Октавиана требование ветеранов, чтобы он женился на Клавдии, дочери Клодия и Фульвии. Своенравная девушка внушала ему отвращение, он не любил ее, а жениться нужно было — требовали легионы. Опасно было озлоблять воинов, которые считали, что брак с дочерью Клодия закрепит союз плебеев с ветеранами и Октавиан станет вождем, будет заботиться о них, как делал это Клодий, боровшийся с нобилями.

Вскоре Клавдия, в глаза насмехавшаяся над Октавианом, преступила порог его спальни, но Октавиан не дотронулся до нее — лег спать отдельно.

XVII

Не так поразил Цицерона сговор Октавиана с Антонием и Лепидом, как последствия его — проскрипции. Когда весть об убийствах в Риме дошла до тускуланской виллы, оратор не сомневался, что будет осужден Антонием. Он высказал свою мысль друзьям, и они посоветовали ему бежать в Македонию к Бруту.

— Отправимся сперва в твое астуранское имение, — сказал Квинт, брат

Цицерона. — Там находятся надежные друзья, которые сообщат нам о первой биреме, выходящей в море.

— Увы! — вздохнул оратор. — Опять бежать! Дайте мне умереть на родине, которую я не раз спасал...

— Мы возвратимся с войсками Брута, — прервал Квинт, — силы его увеличиваются. Лициния говорила, что, если Секст Помпей присоединится к Бруту, войска триумвиров не осмелятся выступить против них. Через несколько дней Лициния будет возвращаться из Сицилии, и мы узнаем...

— Через несколько дней! — вскричал Тирон. — Неужели мы будем ждать, чтобы убийцы перерезали: нам глотки?

— Ты прав, — согласился Цицерон и приказал собираться в путь.

Рабы, часто сменяясь, несли господ в лектиках. Квинт плакал, причитая:

— Я не взял с собой ничего из дому. Как буду жить? Нет, я вернусь домой, чтобы взять необходимое, а вы продолжайте путь.

И он расстался с ними.

Прибыв в Астуры, Цицерон сел в бирему, отплывавшую в Цирцеи. На душе у него было тяжело. В Цирцеях ожидало печальное известие: Квинт с сыном были выданы рабами соглядатаям и убиты на месте.

Велико было горе Цицерона! Проклиная Октавиана, он говорил Тирону:

— Зачем жить, когда люди допускают такие страшные несправедливости? Октавиан Цезарь, который был ко мне расположен и клялся неоднократно в дружбе, изменил обещаниям, занес нож не только надо мной, но и над всей моей фамилией! О, боги, до чего мы дожили! Все попроно — и дружба, и честность, и гостеприимство, все это стало пустым звуком. О, куда преклонить мне голову?

Он плакал, в отчаянии рвал на себе одежды.

— Не убивайся, господин мой, — грустно сказал Тирон. — Находясь на стороне Брута, ты обретишь покой, И боги вдохнут в тебя силы для борьбы за республику! Не все еще потеряно...

— Нет, никуда я не поеду... Пусть священная земля родины примет в свое лоно мои старые кости.

— Что же ты думаешь делать?

— Отправлюсь в Рим, войду в дом Октавиана и покончу с собой на его домашнем очаге, чтобы обратить на Цезаря духов мести, чтоб они вею жизнь не давали покоя презренному сыну диктатора!..

Беспокойные мысли тревожили его. Великий оратор колебался, не знал, что делать. Каждый час он менял решение. И наконец отплыл морем в Формианум, где у него была прекрасная вилла.

— Я не в силах покинуть отечество, но и не в силах жить в нем. Рим гибнет, терзаемый тремя стервятниками, гибнут граждане, исчезают старые нравы, благочестие, доблесть, добродетель женщин и девушек, словом, отмирает поэтическая жизнь. Попраны древние законы, и новый закон навязан нам — сила кулака... Нет, жить так невозможно. Я чувствую такое отвращение к этой постыдной жизни, что готов сам наложить на себя руки.

Так говорил Тирону старый оратор, любящий родину всем сердцем. Республика Катона Цензора казалась ему недостижимым идеалом.

— О, какая была жизнь! — шептал он, прислонившись к корме старой биремы. — Тогда боги охраняли Рим, и тепло было в нем, как у очага Весты, радостно и солнечно

в поле, деревне, городе — всюду! А теперь — черная ночь, и в ней, как черви, копошатся наемные убийцы с кинжалами!.. Нет, жить Нельзя!..

Старческие слезы скупно текли из воспаленных глаз, порой вырывалось заглушённое рыдание. Он оплакивал республику, как сын — мать, дрожа, как от озноба, горбясь и кашляя, — Нет, жить нельзя!

Любовь к отечеству! Кто пламеннее его любил Рим? Кто отдал ему все свои силы? Кто защищал дело сената и римского народа, избавив республику от мятежа Катилины и посягательств Юлия Цезаря? Он все он, Марк Туллий Цицерон, консуляр, Демосфен великого Рима!

Обратившись к Тируну, не смевшему утешать его, он сказал:

— Таковы дела (дословно: дела имеют такой характер), дитя!

Тиرون молчал. Что он мог ответить? Величие оратора и его скорбь поражали вольноотпущенника.

Цицерон смотрел на морские волны, плескавшиеся за кормой, думая о страшнейшем произволе триумвиров.

— Кто спасет республику, кто? О, боги, дайте ответ, иначе я размозжу себе голову об эту корму! Спасите родину от убийц, остановите кровь! Тысячи погибли, тысячи гибнут и тысячи погибнут еще, если вы, боги, не вмешаетесь в это кровавое дело! Тиرون, почему молчит Олимп? Или боги умерли? А может быть, не бывало их новее?

— Успокойся, господин, — шептал Тиرون, целуя его руки. — Республика жива и будет жить, имея таких сынов, как Брут, Кассий и Секст Помпей!.. Они — твои друзья... Ты веришь им, господин?

— Должно верить друзьям.

Бирема мягко ударилась в песок.

Высадившись на берег, оратор пошел в храм Аполлона, находившийся неподалеку, в надежде, что сребролукий бог пошлет ему счастливую мысль.

Отдохнув в вилле, Цицерон отправился по настоянию друзей и рабов к морю. Рабы несли лектику в тени пиний, любимых оратором. Было холодно, и одинокие снежинки пролетали в воздухе. Здесь некогда он размышлял, прогуливаясь по дорожкам, о судьбах родины, которой угрожал Катилина, а затем и Клодий; здесь беседовал с любимой Туллией, жаловавшейся на измены Долабеллы; здесь резвилась веселая девочка Публилия, на которой он, шестидесятитрехлетний старик, женился; и здесь же он диктовал Тируну свои сочинения, которые тот быстро записывал, употребляя изобретенные им знаки, заменявшие слова и целые выражения.

Тяжелый вздох вырвался из его груди.

— А теперь, грязный и непричесанный, исхудалый, я должен бежать из отечества, скитаться по чужим землям! — шептал он.

Вдруг лектика дрогнула, рабы остановились. Цицерон выглянул и увидел воинов во главе с центурионом, бежавших к ним. Приказав поставить носилки на землю, оратор дожидался убийц, подперши левой рукой подбородок. Он был спокоен, и его глаза пристально смотрели на подходившего центуриона.

— Триумвиры по восстановлению республики именем полководца Антония! — крикнул центурион, выхватив меч.

Цицерон молча смотрел на него, вытянув длинную шею, как бы подставляя ее под удар. Центурион взмахнул мечом, хлынула кровь. Голова оратора покатила под дерево.

Центурион отрубил Цицерону правую руку и, указывая на нее и на голову, приказал воину: — Брось это в мешок и скачи в Рим! — И добавил, обращаясь к друзьям оратора:

— Слава богам! Больше он не будет лаять, как Гекуба, и злословить на триумвиров, спасителей отечества.

Гонец мчался в Рим, загоня лошадей. Он вез голову и руку великого оратора.

Остановившись перед дворцом Антония, он спешил и, узнав, что Фульвия находится в конклаве, зашагал, громко стуча калигами по мозаичному полу.

— Госпожа одна? — опросил он попавшуюся навстречу рабыню.

— Одна.

Невольница распахнула дверь. Он остановился на пороге. Фульвия полулежала на ложе, и две рабыни чесали, ей пятки. Воин успел заметить большую ступню и пальцы, искривленные тесной обувью.

— Что тебе? — приподнялась Фульвия.

— Привез голову Цицерона.

Матрона вскочила, седые волосы растрепались. Она была похожа зловещим лицом и дикими глазами на Фурию, изображенную на картине, висевшей напротив.

— Голова Цицерона! О боги, вы вняли моим мольбам и поразили болтуна, который, как паук, опутал нас паутиной злобных слов и мерзких речей. Вы освободили отечество от хитрого лицемера, продажного лизоблюда, презренного насмешника и корыстолюбивого старика! Вечная вам слава, боги Рима!

И, повернувшись к воину, приказала:

— Подай голову.

Несколько минут она смотрела в потускневшие глаза оратора, приговаривая:

— Что же ты молчишь? Неужели лишился языка? А ведь любил острить и болтать подолгу! Скажи хоть слово, обворожи нас своим красноречием! Эй, рабыни, раскройте ему рот и вытяните язык! Я хочу увидеть, какая разница между его языком и нашими!..

— Готово, госпожа, — сказала одна из невольниц, придерживая язык щипцами для снятия нагара со свечей.

Фульвия разглядывала язык Цицерона с любопытством.

— Язык оратора ничем не отличается от языка любого квирита, — вымолвила она с видимой досадой и, выдернув шпильку из волос, принялась колоть язык, захлебываясь от смеха:

— Вот тебе за то, что болтал без меры! Клеветал на видных магистратов, на друзей!.. Вот тебе за оскорбления! А это за насмешки! А теперь получай за «Филиппики» против Антония!.. А правую руку привез? — повернулась она к гонцу. — Эй, атриенсис! Дать ей пятьдесят ударов за то, что писала «Филиппики», грязную ложь против Марка Антония! Бить ее не обыкновенными бичами, а бичами из воловьей шкуры в назидание бессовестным клеветникам!

Исколов язык оратора, она приказала гонцу положить голову и руку в мешок и отвезти к Антонию.

— Ты найдешь господина на комициях. Напомни ему, что он обещал выставить голову и руку Цицерона на трибуне. А это возьми за верную службу.

И она подала ему золотой перстень с крупным гиацинтом.

Почти одновременно с убийством Цицерона в виллу Эрато ворвался отряд ветеранов под начальством седого центуриона.

Оппия не было в Риме (перейдя вместе с Бальбом на сторону Октавиана, он уехал в Нарбонскую Галлию под предлогом работ над сочинениями об александрийской, испанской и африканской войнах, а на самом деле потому, что боялся Октавиана), и он не мог известить Эрато об опасности. Оставленная на произвол судьбы, гречанка не очень тяготилась отсутствием покровителя.

Она охотилась и проводила время на празднествах земледельцев: скука убила гордость и презрение к простым людям. Эрато принимала участие в различных празднествах — в честь Юпитера, Марса и его двойника Квирина, а на Сатурналиях, Терминалиях и Луперкалиях появлялась в сопровождении молодежи. Услышав, что, в окрестностях начались убийства, а в городе неспокойно, она послала Оппию письмо, умоляя его возвратиться в Рим. Не страх за жизнь пугал ее, а боязнь разгрома виллы. Она держалась за собственность, которой владела впервые, жадно и упорно, и жертвовать имуществом в угоду разгульным ветеранам считала безумием.

Когда в виллу ворвались ветераны, она вышла полуодетая из конклава, приказав рабыням спросить, что им нужно. Невольницы поспешно удалились.

Не прошло и одной клепсы, как они появились в атриуме во главе нелюбимой госпожей рабыни, которую Эрато часто наказывала. Почувствовав опасность, спартанка не растерялась (носила в складках одежды кинжал) и пошла им навстречу. И вдруг позади невольниц увидела бородатых ветеранов.

— Как вы смеете врыватья толпою в атриум? — строго спросила она, больше обращаясь к нелюбимой рабыне, чем к остальным, а в голове настойчиво билась мысль: «Убьют, потому и пришли». — Неужели не знаете порядков? Плетей захотели?

— Довольно издевалась над нами ты, гадина! — закричала невольница, толкнув ее в грудь (Эрато устояла на ногах) — Довольно...

Не кончила: Эрато ударила ее кинжалом в шею и мгновенно выпачкала кровью свои руки и тунику. Рабыни окружили ее, нанося удары кулаками. Она отбивалась кинжалом.

Центурион растолкал невольниц.

— Начальник, помоги мне наказать взбунтовавшихся рабынь! — обратилась к нему Эрато. — Я, жена Оппия, друга триумвира Октавиана Цезаря, требую от тебя помощи!

— Лжешь! Жена Оппия уехала с ним в Нарбонскую Галлию, а тебя я не знаю. Ты значишься в списке проскриптов...

Лицо Эраты исказилось.

— Ты ошибся, центурион, — пролепетала она посиневшими губами.

— Нет, не ошибся. По списку ты значишься спартанкой Эрато, вольноотпущенницей Оппия. И поскольку сам Октавиан Цезарь внес тебя в список...

— Это ошибка! — простонала гречанка. — Меня знает триумвир Марк Антоний, у меня бывал диктатор Цезарь, и ты не посмеешь...

Центурион извлек меч и, отойдя от нее на два шага, ударил ее по голове с такой силой, что рассек череп. Эрато тяжело грохнулась на пол.

Оставив двух воинов присматривать за виллой и невольницами, центурион потребовал от атриенсиса ключи от погреба, где хранилось вино, и унес их с собою.

— Следить за порядком! — крикнул он, удаляясь. — А если не доглядите, расправа будет коротка!

XVIII

Посылая Лицинию к Сексту Помпею, Брут не надеялся на успешность переговоров.

Опасаясь, что Секст поддастся хитрости демагогов, он хотел разъяснить ему, что не может быть прочного мира между сыном Цезаря и сыном Помпея Великого.

«Твое место, — писал он, — в наших рядах. Разве не знаешь, что Рим залит кровью республиканцев? Неужели ты веришь монархисту Антонию и жестокому демагогу Октавию? Действуй обдуманно, не ошибись, потому что последствия будут ужасны. Если же ты хочешь один бороться с триумвирами, чтобы пожать лавры побед, то берегись, как бы эти лавры не обратились в шипы. Я знаю от перебежчиков, что триумвиры готовятся к войне против меня и Кассия. Антоний желает отомстить заодно за смерть Гая Антония, которого я принужден был казнить в возмездие за убийство Цицерона. Недавно я решил оставить Македонию и переправиться в Азию. Там, соединившись с Кассием, мы образуем большое войско, способное к длительной борьбе. Если же ты не хочешь вступить в союз с нами, то опустошай по крайней мере берега Италии, перехватывая на море хлеб, предназначенный для Рима. Сделай это во имя отца твоего, Помпея Великого».

Лициния лично вручила Сексту эпистола Брута и не спускала с него глаз, пока он читал ее. Она видела, как Помпей прослезился, и ей жаль было этого бездомного мужа, скитающегося по морям.

Напоминание об отце бередило в нем неизлечимую рану: борясь за республику, мстить за отца и, мстя за отца, бороться за республику! Это было целью, а все остальное в жизни казалось для него незначительным и ненужным. Знал, что все надежды, все свои чаяния аристократы возлагали на него.

Секст, муж суровый, мрачный, молчаливый, был убежденным республиканцем, вовсе непохожим на людей своего времени: в груди его билось сердце римлянина, и древняя добродетель-храбрость,⁸ от которой давно уже не осталось следа в обществе, украшала его больше, нежели диадема царскую голову. Мысль о Помпее Великом, предательски убитом на его глазах, не давала покоя, — он видел его, грузного, тучного, с седою гривою волос и юношески блестящими глазами, и ему казалось, что тень отца требует мести, исполнения того сыновнего долга, который он, Секст, считал целью своей жизни и без которого его существование казалось ненужным. Но оставалось служение республике, и он решил посвятить свою жизнь борьбе. Поражение при Тапсе и Мунде, смерть брата (и его тень требовала мести), диктатура Цезаря — все это были несчастья; их можно было перенести, не складывая оружия и не покоряясь, ожидая благоприятного случая к выступлению. Убийство Цезаря, по его мнению, было воздаянием за смерть отца; он не мог сблизиться с заговорщиками, потому что презирал их. "Для Секста было ясно, что мартовские, иды не изменили положения в Риме. Появился Октавиан, льстец с заискивающей улыбкой, и стал «играть в демагогию». Как было противно Сексту слушать рассказы своих приверженцев об этом муже! И все же он слушал, хмурясь и поглаживая бороду, которую отрастил в знак траура по отцу.

Борьба! Она представлялась ему продолжением дела Помпея Великого, хотя он

⁸ Virtus.

плохо уяснял цель, к которой стремился отец; он внушал себе, что Помпей Великий мечтал о восстановлении древней республики до-Пунических войн, а между тем отец никогда не говорил об этом с сыновьями.

«Как же возникла у меня эта мысль? Кто подсказал ее мне? Тесть «Дибон? Может быть, он. Или жена моя Скрибония?»

Мысли опять перенеслись на отца. «Он совершал много ошибок, оттого его постигали неудачи. Он мог объединить весь мир против Цезаря и раздавить хитрого демагога. А ведь не сделал этого! Но почему, неужели нерешительность спутала его деяния? О боги, где мерило справедливости и отчего презренный мужеложец пользовался вашей благосклонностью, а отца поражали вы тяжкими ударами?»

Республиканец, Секст поддерживал сперва сенат, надеясь на мудрость отцов государства, но вскоре в них разочаровался: трусливый и нерешительный сенат не сумел раздавить «мальчишку Октавия», победить Антония и Лепида, и в итоге три мужа создали триумvirат, чтобы устроить резню аристократов и поделить их имущество. Этот грабёж и проскрипции были страшнейшим беззаконием, перед которым бледнели кровавые деяния Суллы. Многие вожди изменили, перейдя на сторону триумvirов. Можно ли было после всего этого доверять Бруту и Кассию? И Секст не присоединился к ним. Он понимал одну республику — древнюю, с простыми суровыми нравами граждан, с доблестью-добродетелью, и не верил больше в республику Брута и Кассия, то есть в ту республику, которую терзали сословные бои и ненависть враждующих лагерей.

«Спасители отечества? Они? Один — под личиною древнего Брута, утвердившего республику, другой; — вождь, якобы ниспосланный Олимпом для блага Рима!..»

Он злобно усмехнулся и сказал Лицинии:

— Возвращайся к Бруту и скажи, что дело его безнадежно: ветераны против убийц Цезаря, а воины Брута и Кассия будут легко подкуплены Октавианом. Фатум знает, кого поразить и кто не нужен для родины.

Лициния с грустью отнеслась к его речам. Горесть слышалась в ее голосе, когда она ответила:

— Господин мой, я советую тебе поддержать дело республиканцев...

— Республиканцев? — гневно вскричал Секст.

— Господин мой, Брут и Кассий борются против триумvirов, которые стремятся к монархии...

Секст упрямо мотнул головою.

— Не говори, чего не понимаешь. Римлянам не нужна республика ни Цицерона, Брута и Кассия, ни чужеземца Аристотеля. Такие республики не могут привиться к нашей жизни. Мы нуждаемся в древнеримской республике, чтобы сохранить народ в его первобытности: природная простота и суровая честность — вот что нужно Риму! Необходимо искоренить роскошь, подлость, продажность, нечестность и сребролюбие, поднять нравы на прежнюю высоту... Трое ратовали за это дело, и мы будем следовать их заветам...

— Три мужа? — задумалась Лициния. — Двоих я знаю, это Сципион Эмилиан и Люций Кальпурний Фруга... Кто же третий?

— Квинт Цецилий Метелл Нумидийский...

— Враг Мария, — шепнула Лициния.

— Враг нечестных мужей, — поправил ее Секст и кликнул раба. — Скажи, отправился ли гонец в Италию?

— Да, господин мой, гонец отправился к вдове Помпея Великого с твоим письмом.

Губы Секста дрогнули, нора овладел собою. Слегка приподняв голову, он взглянул на статую отца. Помпей Великий смотрел на него незрячими глазами, и сыну показалось, что отец слегка улыбнулся. Взволнованный, он сделал Лицинии знак удалиться и, когда она вышла, опустился перед статуей на колени.

Ему вспомнились детские годы в вилле, мать Муция, с золотым венком, обхватывавшим локоны, падавшие на лоб, ив плаще, из-под которого виднелись дорический и ионический хитоны... виноградник и рабыня, подававшая им спелые душистые гроздья, когда они приходили во время сбора винограда... пасеку, где древний дед-невольник встречал их у входа, падал на колени и, кланяясь до земли, приветствовал по-гречески... Как это было давно! Они ели солнечно-прозрачный мед, запивая ключевой водой из медной чаши, а кругом жужжали пчелы, и дед медленно вел скрипучим говорком дорическую речь... Однажды он рассказывал об Архелае, защитнике Афин, и о Сулле, въехавшем на коне в пылавший город. «Я видел, госпожа моя, императора так же близко, как вижу тебя. Рыжий, безобразный, он держал в руке меч, с которого капала кровь, и кричал: «Вперед, коллеги! Разбейте варваров, и все будет ваше — женщины, дети, сокровища!» Он сам взял меня в плен с женой и дочерью и подарил нашему господину — да хранит его Зевс! — Помпею Великому. Жена моя недавно умерла, а дочь...» — «Знаю, — прервала его Муция, — твоей дочери, старик, живется неплохо: она — любимица Красса Богатого...» — «Увы! — вздохнул раб. — Красс не отпускает ее на волю, и я хотел бы ее выкупить»...

Секст вспоминал... Мать выкупила девушку, и та вышла замуж за вольноотпущенника, имевшего лавку на Via Appia.⁹ «Жива ли она?» — подумал он, но тут нахлынули новые мысли, и девушка исчезла, как тень. Видел мать, покидавшую отцовский дом, ее слезы и недоумевал, почему она уезжает. А потом узнал, что мать изменяла отцу и тот ее выгнал... «Прав ли был отец?» — спросил он себя и тут же ответил: «Да, прав. Блудливая жена недостойна ложа высшего магистрата».

Сколько событий произошло у него на глазах, сколько потрясений вынесла его душа.

«Тяжелые удары Фортуны не сразили меня, — подумал он, — вероломное убийство отца, разгром при Тапсе, — все это было следствием ошибок отца (оставил Италию), а битва при Мунде почти завершила круг несчастий. Если и мне суждено погибнуть — умру с честью, отец мой, владыка и император!»

Взглянув на статую, он не нашел улыбки на лице Помпея Великого. «Отец гневается, — мелькнула мысль, — но за что? Неужели я недостойн называться Секстом Помпеем Великим?»

Встав, он громко сказал:

— Помоги мне, отец, советом. Я остался один. Что мне делать, как жить? Должен ли я восстановить древнюю республику и утвердить вечный мир в римском государстве, чтоб никогда больше не было сословных боев, или уйти к частной жизни? Вразуми меня, стоит ли бороться? Не напрасно ли будет литься кровь? И не ждет ли меня неудача в неравной борьбе?

Прожив несколько недель в Сицилии, захваченной Секстом Помпеем, Лициния уезжала с тоской на сердце. К Сексту она испытывала чувство обожания как к вождю,

⁹ Аппиевой дороге

но — странное дело! — это чувство было отлично от того, которое внушал ей Брут. Секст любил родину, готов был на всевозможные для нее жертвы; он презрительно смотрел на людей, шедших к власти путем обмана, и свысока на тех, кто поддерживал их.

Аристократ, Секст был человеком своего времени. Его вспыльчивость кончалась нередко жестокостями. И когда его упрекали в них, Секст говорил: «Я не злодей, а муж, стоящий у власти. У таких магистратов руки всегда в крови. Как поступил бы в таком случае Сулла?» Он был обаятелен, как мужчина, и жена его Скрибония, дочь Либона, казалось, была ему не пара: красивая, с неприятным выражением лица, с глазами, лишенными теплоты, она производила впечатление женщины черствой, бессердечной. Секст знал, что это не так: она горячо любила его, была предана, и он отвечал ей добротой и полным расположением.

Лициния, которой было уже за тридцать лет, впервые испытывала при виде его чувство радости, обожания и неизвестной тревоги. Была ли это любовь? Она не знала. Любовь к Сальвию была иная — это была дружба, нежность, разрешавшаяся слиянием двух существ. А чувство к Сексту пугало ее: она хотела прижаться к этому суровому мужу, обхватить его шею, отдаться ему, ни о чем не думая, ничего не сознавая. Это была безрассудная страсть, и Лициния теряла голову.

Прощаясь с Секстом, она хотела, по обычаю, поцеловать у него руку, но он не позволил и поцеловал Лицинию в лоб. Сердце ее забилось, она опустила голову.

— Прощай, господин мой, — сказала Лициния, — пусть добрые боги помогают тебе в боях и на жизненном пути, пусть слава сопутствует твоим деяниям и Фортуна поведет тебя в благословенный богами Рим!

Секст Помпей удивился ее словам. Он не привык к таким доброжелательным речам, а ведь их произносила сторонница Брута, которая не могла быть другом. Он подумал о причине добрых пожеланий, вспомнил, что она — красивая женщина, и пожал плечами: «Не может быть. Что общего между нами?» И старался не думать. Но чем больше он отгонял от себя мысли, тем назойливее они лезли: ближе и ближе была ему Лициния. Он пытался перенести мысли на Скрибонию, даже чаще прежнего ложился с нею, однако жена была холодна, как лед, поцелуи и объятия утомляли ее. Она говорила, вздыхая: «Не пора ли спать, Секст? Завтра раб разбудит нас чуть свет»

Давно уехала Лициния, а образ ее продолжал жить в душе Секса.

Письмо, посланное Марку Бруту, содержало краткий ответ:

«Просьбу твою о нападениях на берега Италии исполню. Буду также перехватывать на море хлеб и продовольствие, предназначенные для Рима. Пусть в Риме думают, что мы в союзе. На самом же деле союз между нами невозможен. Ты стоишь за отжившую форму правления, а я за республику древних времен. Только в ней спасение отечества и могущество его. Твоя же республика подгнила и должна развалиться».

Вскоре Секст получил ряд известий: об оставлении Брутом Македонии и отступлении в Азию, о встрече его с Кассием в Сардах и об отправлении в Македонию восьми легионов Антония из Брундизия. Известия приходили с промежутками времени, каждый раз волнуя Секста.

«Он отошел в Азию, чтобы получить деньги, необходимые для ведения войны, и легионы — для победы. А затем он вернется в Македонию, чтобы поразить триумвиров. Может быть, он и прав. О, жестокое трехглавое чудовище! В первый раз ты погибло, а во второй — не должно существовать вовсе. Медлить нельзя».

И он приказал опустошать берега Италии и топить корабли с грузами хлеба и провианта для Рима.

XIX

Желая обезопасить тыл своих легионов от предательского удара враждебных азиатских республик, Кассий и Брут решили покорить родосцев и ликийцев.

Кассий двинулся к Родосу, объявив неприятельским послам, прибывшим в его лагерь, что, поскольку родосцы были в союзе с Долабеллой, он считает их врагами, тем более, что они подняли оружие против Кассия, Просьбы старого Архелая, некогда учившего Кассия греческой философии, не разрушать города только раздражали полководца...

— О свободолюбивый муж, — со слезами говорил философ, сжимая его руку, — не забывай о борьбе родосцев за свободу. Ведь ты сам борешься за нее. Почему же ты хочешь поработить свободных? Мы никогда не знали рабства. Чего же ты хочешь, Кассий? В этом городе ты получил образование, посещая мою школу, имел домашний очаг. О, неужели ты, мой ученик, поднимешь руку на свое второе отечество? Ведь исход борьбы всем известен: или все мы погибнем, или ты будешь побежден. Не забывай, что, заключая, по предложению Юлия Цезаря, с нами договор, вы клялись богами, совершая возлияния и подав нам правые руки, уважать наши права. Неужели ты, ученик мой, хочешь стать врагом свободы, тираном и клятвопреступником?

Вспыхнув, Кассий вырвал у него свою руку.

— О Архелай! Почему ты молчишь об оскорблениях, нанесенных мне высокомерными родосцами? Я просил у них помощи, и они отвергли мою просьбу, предпочтя мне Долабеллу, который стремился поработить мою родину, поддерживая тиранов в Риме. Вы, родосцы, называете себя свободолюбивыми, а поддерживали автократию в ее борьбе с демократией. И потому, Архелай, твои речи лицемерны. Вы, дворяне, должны были, даже не ожидая от нас просьб, помочь нам в борьбе за римскую республику. Твоя же ссылка, Архелай, на Юлия Цезаря неосновательна, так как Цезарь был главой единовластия, борьба против которого ведется теперь всюду. Поэтому я призываю вас защищать свободу римлян и заключить с нами союз. Если же вы считаете нас беглыми проскриптами, то нам остается одно — воевать с вами.

Архелай молча удалился. Кассий понял, что соглашения с родосцами быть не может. И действительно, вскоре начались военные действия. В морском сражении Кассий разбил вражеские корабли, напавшие на него, а затем, подступив к Родосу, окружил его.

Не подготовленный к осаде и не имея достаточно провианта, город не мог долго держаться. Кассий хотел взять его измором. Однако горожане, расположенные к римлянину, тайно открыли ворота, и полководец вступил в город без боя.

Ни грабежа, ни насилий не было — Кассий пригрозил смертью воинам за нарушение порядка и спокойствия. Но он казнил пятьдесят родосцев, а двадцать пять человек осудил на изгнание. Захватив деньги в храмах и государственной сокровищнице, Кассий приказал гражданам вносить ему золото и серебро, а укрывателям драгоценностей пригрозил смертной казнью. Объявив, что доносчики получают десятую часть укрытых денег, а рабы, кроме того, и свободу, он озлобил

против себя население. И все же, боясь наказания, люди с бешенством выкапывали сокровища из земли, доставали их из колодцев и гробниц.

Архелай пристально следил за действиями Кассия.

— Разве это не грабеж? — говорил он друзьям и ученикам, указывая на мулов, нагруженных золотом и серебром. — Римлянин захватил в частных и государственных сокровищницах восемь с половиной тысяч талантов и сегодня увезет их на кораблях, а завтра потребует еще...

Предсказание его сбылось. Кассий обнародовал декрет, повелевавший всем азиатским городам выплатить ему подати за десять лет вперед.

— Не говорил ли я? — злорадно сказал Архелай, глядя вслед Кассию, покидавшему Родос. — Сейчас он уезжает в другие города вымогать деньги, не желая слышать ропота и проклятий разоренного населения. О боги, какого жадного ученика я воспитывал и обучал!

Но Архелай ошибался, утверждая, что Кассий отправился за добычей. Полководец выступил из города, чтобы помешать Клеопатре, плывшей со многими кораблями, соединиться с Октавианом и Антонием.

Быстрота действий, решительность и вера в дело республиканцев выгодно отличали Кассия от других борцов за республику. Будучи деятельнее и предприимчивее Брута, он беззаветно стремился к той цели, которая казалась ему святым делом. И он ревностно отстаивал это дело, отрешившись от личной жизни. Ради торжества идеи и укрепления власти, которую возглавлял Брут, он готов был на несправедливости и беззакония: разбить триумвиров, казнить их и восстановить республику дедовских времен! Он спал и видел торжественный въезд в столицу освободителей, республику, вознесенную на небывалую высоту, мирную жизнь народов, населявших Рим и провинции. Это была пленительная картина. Он жил этой мечтой, стремясь, чтоб она стала явью. В этом была жизнь. Все остальное казалось ничтожным атрибутом этой идеи.

Брут был мягче сурового Кассия. Но он так же, как тот, страстно любил родину и готов был для нее на всякие жертвы. Ради этой любви поднял он руку на мужа, которого знал с детства и который отечески любил его. Страшная тоска снедала его, когда он думал о Юлии Цезаре. Но иначе нельзя было поступить — так решил Фатум. А теперь нужно было продолжать борьбу с цезарьянцами, готовить войска, копить средства.

Брут полулежал в шатре, читая Полибия, прислушиваясь к крикам легионариев, осаждавших Ксанф.

Тараны громили стены и башни, войска двигались по разрушенным жителями пригородам. Глубокий ров, окружавший Ксанф, давно был засыпан римлянами; за ним стояли прикрытия для рабочих, и стрелы и дротики продолжали сыпаться со стен. Полководец знал об этом — каждый шаг легионариев был ему известен.

Крики усиливались, и Брут, свернув пергамент, вышел на преторию.

— Укрепления уничтожены, башни разрушены, — доложил контуберналий. — Прикажешь, вождь, ломать ворота?

— Нет, отступить.

— Отступить? — с изумлением пролепетал контуберналий. — Не ослышался ли я?

— Делай, что приказано, — сурово сказал Брут.

Как предполагал он, так и случилось — ксанфийцы сами наткнулись на римлян;

ночью осажденные сделали вылазку и, попав на осадные орудия, пытались их уничтожить. Подоспевшие римляне, отбив врага, погнали его к воротам. И там, у запертых ворот, произошла страшная бойня — ни один ксанфиец не спасся.

Второй приступ помог лишь части римлян ворваться в город, потому что ворота рухнули, преградив путь остальным. Теснимые ксанфийцами и опасаясь быть окруженными, римляне пробивались к площади, где находились храмы.

Опасаясь за участь воинов, проникших в город, Брут повелел придвинуть тараны к стенам и лезть по ним, как по лестницам, бросать на стены канаты с железными крючьями, которые должны были вонзаться в стены, и взбираться, взбираться вверх. Ободряя воинов, он кричал тем, кто находился на стенах, открыть маленькие ворота (перед ними торчали остроконечные колья). Потом, побежав к железным воротам, преграждавшим доступ в Ксанф, он приказал кузнецам разбивать их молотами.

На закате солнца легионы ворвались в город. Улицы были пустынные. Из домов доносились рыдания: убивая своих близких, ксанфийцы кончали самоубийством.

Сжалившись над свободолюбивыми горожанами, Брут послал к ним вестников с предложением мира. Однако ксанфийцы, прогоняя их, пускали в них стрелы.

— Не верим тирану Бруту! — кричали они. — Его имя ясно говорит, кто он. Брут не демократ, а палач!

В домах горели костры, на которых лежали трупы близких, пораженных мечами свободолюбивых граждан. Дым выбивался наружу, огонь охватывал здания. А у пылавших костров люди закалывали себя.

Узнав, что его называют тираном и палачом, Брут содрогнулся. Нет, он не тиран! И не палач! Пусть погибли все женщины, кроме нескольких, не пожелавшие лишиться свободы, пусть погибла большая часть мужчин. Он действовал во имя величия и блага римского народа. Он должен был добыть средства для ведения войны, уплаты жалованья легионариям и выдачи им подарков.

Патары, гавань Ксанфа, была ограблена Брутом. Он получил много золота и серебра. Так же поступали, занимая города, и военачальники Брута.

XX

Покоряя ликийские республики, Брут, следуя примеру Кассия, взыскивал деньги. Такая политика вызывала всеобщее недовольство. На азиатские народы нельзя было надеяться, — враждебно настроенные, они могли ударить в тыл Кассию и Бруту, если бы республиканцам пришлось воевать с триумвирами в Азии. Сознывая это, Брут и Кассий, встретившись в Сардах, решили вторгнуться в Македонию.

Лициния ни на шаг не оставляла Брута: одетая воином, она была похожа скорее на юношу, чем на женщину, несмотря на свои годы, — щеки ее горели, она быстро исполняла приказание Брута, мчалась верхом от одного легиона к другому, передавала таблички полководца легатам и военным трибунам.

Брут, занятый своими внутренними переживаниями и не замечавший мелочей обыденной жизни, не мог не обратить внимания на ее горячую работу и сказал:

— Зачем мечешься? Излишней суетливостью ты, ни на шаг не приблизишь того, что должно совершиться.

— Вождь, я хочу всюду видеть порядок: начальники должны точно исполнять

твои приказания.

— Это хорошо, — кивнул Брут и подумал: «Скорее бы все это кончалось».

Чем разрешится битва с триумвирами? Если победой, то республика спасена; и враги отечества Антоний, Октавиан и Лепид будут уничтожены; если же поражением, то он, Брут, ничуть не жалея жизни, распростится с ней при помощи железа. Это было так ясно, что он перестал думать о победе и поражении, только беспокоили часто являвшиеся призраки. Ему казалось, что он беседовал; с ними — действительность и фантазия переплетались так сложно, что нельзя было разделить их, — и однажды ему привиделось, что в шатер кто-то вошел. Одинокая лампада мигала на походном столике, освещая папирусы, а в стороне стояло что-то темное, огромное: тень или призрак.

Брут привстал.

— Кто ты — бог или человек? — спросил он, вглядываясь в темноту.

И ему показалось, что призрак ответил:

— Я твоя нечистая совесть, Брут! Мы встретимся при Филиппах.

— Что ж, встретимся, — спокойно ответил Брут и кликнул Лицинию. — Кто сюда входил?

— Никого не было. Я стояла у входа в твой шатер. Брут был озабочен.

— Знаешь, мне явился призрак...

И Брут рассказал беседу с привидением.

Лициния стала уверять его, что призраков не бывает.

— Это показалось тебе. Ты вздремнул или, обуреваемый мыслями, вообразил себе сверхъестественное... Ты много размышляешь и беседуешь с самим собою. Таким образом, ты высказал сокровенную мысль идти к Филиппам.

— Чью мысль? Я никогда не думал о Филиппах и впервые слышу название этого городка.

— Ты ошибаешься. Вспомни, сам Кассий советовал тебе идти к Филиппам; он утверждал, что равнина как будто создана самим Марсом для битвы,

— Не помню, — задумался Брут и отпустил Лицинию.

Работать больше не было сил, и он прилег на ложе. Однако сон не слипал глаз, — терзали мысли. В расстроенном воображении возникали образы — видел Цезаря, слышал его голос: «И ты, дитя!» Это становилось невыносимым. Несколько раз приподымался, чтобы взять меч и кликнуть Лицинию.

«Она поддержит меч, поможет мне умереть, — неслись мысли, — она предана и не откажет». Но каждый раз, как рука протягивалась к мечу, что-то удерживало ее: страх смерти? Нет, он не боялся смерти: она была благом, вечным успокоением. Так что же удерживало его руку?

И понял — умирать рано. Возмездие придет в час несчастья и поразит за кровь мужа, предательски умерщвленного в сенате. Мысль об этом разметала все другие мысли, расширилась, — охватила мозг. Она давила на него — чувствовал: еще час-другой — и он не выдержит.

Чуть свет он отправился к Кассию, разбудил его и рассказал о видении. Кассий был эпикуреец и не верил в сверхъестественное, по крайней мере старался не верить. Выслушав Брута, он сказал:

— В нашей душе внешние впечатления отпечатываются, как на волне. Прошлое не изгладилось еще из твоей души и влияет на нее, — возникает фантазия или мысль. Ты утомлен, и потому воображение твое принимает широкие и фантастические

формы. Подумай сам, можно ли верить в демонов?.. Но если бы они и существовали, то ведь это духи, не имеющие человеческого образа.

Слова Кассия успокоили Брута ненадолго. Призраки опять тревожили. Брут больше не говорил о них с Кассием. А друг не спрашивал, занятый предстоящей битвой.

В эти дни соединенные войска республиканцев вынудили отступить восемь легионов противника к Сапеик-скому ущелью, а Тулий Кимбр угрожал врагу кораблями с тыла.

Лишь только Антоний и Октавиан высадились в Диррахии с двенадцатью легионами, Брут и Кассий спустились с гор и, зайдя им в тыл, вышли на филиппскую равнину.

Брут находился к северу, у подошвы холмов, Кассий южнее, на берегу моря, у болота, мешавшего подойти к морю. Палисад соединял оба лагеря, а за ним протекала речка Гангас.

Однажды вечером Брут ехал верхом в сопровождении нескольких друзей. Перед ним был лагерь, обнесенный валом, и легионарии кончали работу, устанавливая баллисты и катапульты. Было холодно, и Брут кутался в плащ.

— Мы решили, Марк Валерий, затягивать войну, чтобы взять врага измором, — сказал он Мессале Корвину, — и если триумвиры...

— Говори о дуумвирах, — прервал его Мессала, — Лепид отсутствует.

— Ты прав и неправ: прав в том отношении, что против нас выступили двое — Антоний и Октавиан, и неправ потому, что трусливый Октавиан едва ли будет сражаться. Мессала засмеялся.

— Если против нас выступит один Антоний, то наша победа обеспечена!

Брут покачал головою.

— Не мы решаем исход битвы, а Фатум и боги,- — сказал он. — Я уверен, что давным-давно уже предрешено, кто победит, и только одни мы, смертные, не знаем.

Мессала Корвин опустил голову: слова Брута опечалили его. Он подумал, что полководец не надеется на успех и борется потому только, что не бороться нельзя.

«Если Брут уверен в неудаче, — думал Мессала, — а Кассий в успехе, то не лучше ли было бы соединить оба войска и общее начальствование возложить на Кассия?»

Его мысли были прерваны восклицанием Брута:

— А вот и Лукулл!

Брут ошибся, — это был не Лукулл, а Лициния. В сгущавшихся сумерках он не узнал ее. А когда она заговорила, лицо его оживилось, — повернул к ней коня, и лошади их, заржав, столкнулись головами.

— Что нового?

— Антоний оставил один легион в Амфиполе и движется к Филиппам. Очевидно, он решил расположиться лагерем против Кассия и дожидаться Октавиана, который, выздоровевши, выступит против тебя. В разведке я потеряла двух человек — один попался, не успев зарубить врага, другой был заколот, когда полз к неприятельскому дозору.

— Жаль. Скажи, ты не очень устала? Нет? Поезжай к Кассию, сообщи ему, что ты узнала.

Выступая против республиканцев, Антоний знал, что всю тяжесть борьбы против Брута и Кассия ему придется вынести на своих плечах. Он считал себя единственным способным полководцем, а на Октавиана смотрел как на трусливого, бездарного и нерешительного воина.

«Октавиана нельзя назвать даже полководцем, — думал Антоний. — Если бы не способности его друга Агриппы и не блеск имени Юлия Цезаря, переходящий на него как на сына, никто в Риме не дал бы за него и потертого асса. Октавиан злобен, коварен, жесток. Это нравственный урод».

Двигаясь стремительно к Филиппам, Антоний обдумал, как действовать. Единственным опасным противником, с которым приходилось считаться, был Кассий; смелый, умный, решительный и хитрый, он стоил нескольких Октавианов; легионы Кассия, по сведениям, полученным от разведок, были так же недисциплинированы, как войска Брута и Антония, но могли устоять против натиска и верили своему вождю. Кассий пользовался большим авторитетом, он был надеждой легионов, как будто победа над врагом всецело зависела от него.

«Если Кассия устранить, — думал Антоний, — его легионы не устоят. Воля и власть вождя держат души людей как бы в кулаке, руководят ими, и стоит только разжаться кулаку, как души, лишённые руководства, рассыплются, точно осенние листья. А тогда останется только вымести листья и сжечь их».

Думал.

«Кассий мертв — победа обеспечена, Кассий жив — темная неизвестность, может быть — поражение. Кому готовит Фатум победу? Как бы там ни было — перехитрю Фатум».

Кликнул Эроса. Вольноотпущенник подъехал к нему на низенькой лошадке и хотел спешиться, но Антоний удержал его.

— Поедем вперед, — шепнул он. — Важное дело. Если ты выполнишь его, клянусь земным и подземным Олимпом, ты получишь такую награду, о какой не мечтал ни один вольноотпущенник во всем мире. Ты станешь, Эрос, квиритом, а Халидония — римской гражданкой; богатство, почет и всеобщее уважение...

Долго говорил Антоний. Эрос с бьющимся сердцем и пылающими щеками слушал его, затаив дыхание.

— Господин мой, — вымолвил он, когда поток обещаний иссяк, — приказывай, все будет сделано.

— Знаешь Пиндара?

— Ты говоришь о вольноотпущеннике Кассия? Это псрный человек...

— Как долго он служит своему господину?

— Он начал служить ему во время неудачного похода Красса против парфов.

— Ты не ошибаешься, Эрос?

— Нет, господин мой! Пиндар мне рассказывал о тяжелых временах в Парфии и плакал, вспоминая смерть Красса...

Антоний молчал, обдумывая, чем соблазнить Пиндара.

— Ты должен знать его слабости* — говорил он. — Найди его Ахиллесову пяту, чтобы можно было попасть в нее без промаха. Мне нужно, Эрос, иметь Пиндара; он должен стать исполнителем моей воли.

— Пиндар, господин мой, корыстолюбив; он любит золото...

— Можно его подкупить?

— Попытаюсь.

— Обещай ему сколько нужно, постарайся сделать его послушным орудием в наших руках. Вы, греки, хитры, знаете слабые стороны друг друга и умеете играть на них.

Эрос молчал, не решаясь обратиться к Антонию с вопросом. Он обдумывал, зачем полководцу, понадобился Пиндар; мелькнула даже мысль, что Антоний желает тайно договориться с Кассием против Октавиана, но он тотчас же отверг ее, решив, что Кассий не предаст Брута, своего друга. Его недоумение усиливалось, по мере того как противоречивые чувства овладевали им,

— Скажи, господин мой, — осмелился он спросить, — зачем тебе нужен Пиндар? Что он должен делать?

Антоний сдержал лошадь, перешедшую в рысь.

— Заклинаю тебя, Эрос, богиней Манией и приказываю молчать, если бы даже ты попал в плен, а враг стал тебя пытаться. Поклянись подземными божествами отдать себя во власть ларвов и на растерзание Эринний, если ты предашь меня.

Эрос поклялся, и Антоний, оглядевшись по сторонам, вымолвил:

— Заплати Пиндару сто или двести тысяч сестерциев, а то и больше. Он должен умертвить Кассия во время битвы. А потом пусть бежит в Афины, где получит деньги у моего менялы Горгия; оттуда он поедет в Египет или Эфиопию... Помни — во время битвы, без свидетелей, в шатре, например...

— Будет сделано. Пиндар, наверно, потребует часть денег вперед...

— После убийства я заплачу...

— Я, твой верный раб и слуга, верю, а Пиндар может не поверить... Выдай часть наличными, и остальные деньги выплатит Горгий, — напиши ему письмо.

Вечером Эрос получил пятьдесят тысяч сестерциев и письмо-приказ на имя Горгия,

— Торгуйся с ним, — предупредил его Антоний, — предложи сто тысяч, а если он не согласится, прибавляй понемногу, да не сразу. Человек, идущий на такое преступление, отвратителен. Но что делать, если приходится иметь дело с такими злодеями? Причитающийся остаток впишешь в мое письмо — числом и прописью.

— Будет сделано.

— Предупреди его, что если обманет, гнев мой найдет его даже под землей.

Отпустив Эроса, Антоний долго ходил взад и вперед по шатру. Спать не мог — задуманное убийство не давало покоя: казалось, что Эросу не удастся проникнуть в неприятельский лагерь, — его схватят, отнимут эпистолу с подписью Антония и будут пытаться, а он не вынесет мук и все расскажет. Становилось страшно. Антоний вышел из шатра.

«Прогуляюсь, проверю заодно караулы», — решил он.

Моросил холодный дождь, дул ветер. Кругом было тихо. Кое-где догорали костры, и одинокие тени двигались в полосе слабого света. Антоний шагал мимо палаток воинов, и его ноги скользили по влажной земле.

Он думал, что победа для него так же необходима, как хлеб для человека, умирающего с голоду.

Десять дней строил Антоний дорогу, покрывая фашиником, землей и плетнем болота, отделявшие лагерь Кассия от моря. Он намеревался достигнуть Эгнатиевой дороги и оттуда зайти в тыл неприятелю. Однако Фатум спутал его расчеты: на одиннадцатый день войска Брута и Кассия, соединившись, сделали внезапно вылазку. Правое крыло под начальством Брута напало на войска Октавиана, а легион Мессалы обошел левое крыло неприятельских войск и ворвался в лагерь. Здесь началась страшная резня — все, кто находился в лагере, были убиты, а две тысячи спартанцев-союзников, пытавшихся отбросить противника, изрублены.

Октавиан не участвовал в бою, хотя и находился перед битвой в лагере. Незадолго до нападения Мессалы он приказал перенести себя в более безопасное место, — боясь, как бы Брут не прорвался.

Под ногами хрустел иней, было холодно. Выйдя из лагеря, рабы понесли лектику к пригорку, за которым находилась болотистая котловина со стоячей водой, а слева — огромная впадина с нависшей над ней глыбой земли. Здесь решили укрыться.

— В этой норе, — сказал Октавиан, — мы переждем сражение, А ты, — обратился он к одному из невольников, — беги в лагерь, узнай, что там делается.

Раб долго не возвращался. Наконец он явился с известием, что три легиона истреблены, Брут ворвался в лагерь, и воины заняты грабежом.

— Но радуйся, вождь! Войска твои зашли пехоте в тыл, завязали с ней бой и разбили левое крыло неприятеля: враг бежит...

Беспокойство не покидало Октавиана.

— Где Антоний? Никто не видел его? — спрашивал он и послал рабов на розыски триумвира.

Оказалось, что Антоний в начале битвы отступил в болота, «в засаду», как говорил он, чтобы неожиданно броситься в бой, если легионы начнут поддаваться под напором войск Кассия. Он следил за битвой, не заботясь о больном Октавиане, который остался в лагере. «Пусть его убьют или возьмут в плен», — думал Антоний. Узнав, что Брут отступил из лагеря, Антоний поостерегся вступать в бой: поражение грозило бы страшными бедами.

Кассий смотрел на большие отряды конницы, скакавшие по направлению к его легионам. Щуря близорукие глаза и стараясь угадать, какие это войска — республиканские или неприятельские, он спрашивал друзей, не могут ли они различить знакомых префектов.

— Конница еще далеко, — ответил друг его Тициний. — Готовься к бою. А мне разреши поехать ей навстречу. Ты увидишь издали, как я буду принят, и сообразно этому будешь действовать...

— Мысль хорошая, — согласился Кассий, — но я не желаю, чтобы ты жертвовал...

— Никакой жертвы, клянусь богами! Видишь эту лошадь? Она унесет меня от врагов, как уносила не раз... Вспомни битвы в Сирии...

Кассий не стал возражать, и Тициний уехал. Косоглазый Пиндар, стоявший рядом с полководцем, следил за Тицинием, приближавшимся к коннице. Расстояние между ними уменьшалось. Издали донеслись крики. Пиндар различил зоркими глазами, как воины спрыгивали с лошадей, окружали Тициния, жали ему руки.

«Конница Брута», — подумал Пиндар и обратился к Кассию:

— Увы, господин мой! Бедный Тициний попался в плен. Он окружен. Нужно помочь ему.

— О горе мне! — с отчаянием простонал Кассий. — Зачем я позволил лучшему другу ехать навстречу неизвестной коннице? Он попался в плен, и кровь его будет на мне!

... Кассий бросился в палатку — он был невменяем. Пиндар последовал за ним.

— Мы не устоим против конницы, — говорил Кассий, не замечая, что Пиндар подвигается к нему с кинжалом в руке — Тебе что? — остановился он.

Вольноотпущенник неожиданно бросился на него и ударил кинжалом в шею. Кассий схватил его за горло, но Пиндар, освободившись, быстрым движением нанес второй и третий удар. И, когда полководец упал, вольноотпущенник схватил заранее приготовленный мешок с динариями и ларец с драгоценностями, которые Кассий возил с собой в походах как выкупные деньги на случай, если бы попал в плен, и выбежал из палатки.¹⁰

У подножия холма он увидел Эроса, удерживавшего двух лошадей за поводья, и, подбежав к нему, сказал:

— Все сделано.

— Хорошо. Можешь ехать. Вот письмо.

— А динарии?

Эрос презрительно взглянул на него.

— Хватит с тебя и краденых, — указал он на кожаный мешок, — а будешь приставать — берегись. Подъезжает конница, и я укажу на тебя, как на убийцу.

— Будь ты проклят, презренный вор!

— Не я, а ты будь проклят, презренный вор и вероломный убийца! — ответил Эрос и, вскочив на коня, поскакал к болотам, где должны были находиться войска Антония.

Отъехав, он оглянулся. Пиндар стоял у коня, угрожая кулаками; потом он сел на него и медленно поехал в противоположную сторону, тщательно скрываясь за холмами.

Битва кипела. Центурионы и военные трибуны доносили Антонию о передвижениях войск, о победе Брута и отступлении Кассия.

Антоний беспокоился.

Прискакавший легат доложил, что войска Кассия отступают, конница бросилась к морю, пехота побежала, лагерь оставлен.

— Брут послал ему на помощь всадников, — говорил легат, — я слышал горестные крики... Не знаю, что там произошло, но одно для меня ясно: если бы Брут помог Кассию вовремя, победа республиканцев была бы полная.

— Ошибаешься, друг! — возразил Антоний, указывая на триариев, отведенных в болота. — Исход битвы решило бы железо этих людей.

— М Хвала тебе! Ты мудр и предусмотрителен, — сказал легат. — Но прости меня — мое место на поле битвы.

И, вскочив на коня, он поскакал, предшествуемый проводником.

¹⁰ По исторической традиции — Кассий кончил жизнь самоубийством. Однако Плутарх (см. «Брут») а за ним Аппиан (см. «Гражданские войны», кн. IV, 113) приводят и другую версию, т. е. убийство Кассия Пиндаром, которая не менее правдоподобна. Автор воспользовался второй версией, как более подходящей к характеру Кассия и Антония.

Через несколько часов перед Антонием стоял Эрос.

— Господин, все сделано.

— Кассий?

— Убит.

— Пиндар?

— Бежал.

Антоний поднял глаза к небу.

— Боги, — шепнул он, — власть и воля Цезаря должны торжествовать, если бы даже против нас пошли миллионы миллионов войск всего мира! Смерть Кассия — только маленькая жертва духу Цезаря.

И, обняв Эроса, спросил:

— Никому не говорил об этом деле? Нет? Смотри: проболтаешься — душа твоя не найдет твоего тела, хотя бы она стала Изидой.

— Я поклялся, — испуганно пролепетал Эрос и поспешил удалиться.

А вечером один из вольноотпущенников Кассия, перебежавший на сторону Антония, принес меч и военный плащ, снятые с трупа господина. Антоний приказал вывесить их на видном месте. Меч и плащ должны были ободрить приунывшие войска, потери которых были вдвое больше потерь противника.

Конница заняла холм. Тициний, с венком, надетым всадниками ему на голову, радостно побежал к шатру Кассия. И вдруг остановился, услышав крики и причитания.

— Горе нам! — рыдали легаты и военные трибуны. — Он ошибся, приняв конницу Брута за конницу Антония! Он упрекал себя, что погубил Тициния, послав его навстречу коннице! И потому он покончил с собою...

Отовсюду доносились вопли.

Тициний проник в шатер. Лицо вождя было искажено, на нем застыло выражение гнева и ужаса. Неподвижные глаза были устремлены вверх, точно разглядывали внимательно предмет, достойный созерцания.

Тициний, угнетенный смертью друга и военачальника, не замечал его искаженного лица.

— Горе мне, горе! — кричал он, сорвав с головы венок. — Это я виноват в его смерти, только я! Моя медлительность послужила причиной страшного для нас несчастья! О боги, примите мою душу.

Выхватив меч, Тициний нанес себе смертельный удар.

Вблизи заиграли трубы, загрели крики легионов, приветствовавших императора, — подъезжал Брут.

Узнав о смерти Кассия, он упал на колени перед трупом и, рыдая, сказал:

— Увы, друг мой и брат! Никто не знает, где ждет нас смерть — в бою или в мирной обстановке, от собственной руки или от руки злодея. Теперь я один... но дух твой со мною. Помогите же мне, последний римлянин, в этой борьбе! В часы кровавой смерти твой образ будет воодушевлять нас на подвиги, твоя вера в торжество свободы даст нам силы победить или умереть со славою! Ты — последний римлянин, — повторил он, — ибо республика не может произвести еще такого благородного мужа!

Повелев приготовить тело Кассия к похоронам и отправить его на Фасос, Брут собрал на другой день военачальников, приказав сделать подсчет погибших. Оказалось — потери его составляли восемь тысяч человек.

— По точным сведениям, полученным от перебежчиков, противник потерял вдвое больше, — сказал Мессала Корвин.

— Это не дает нам права пренебрегать осторожностью, — заметил Марк Лукулл, сын великого, отца.

— Тем более, — подхватил Марк Фавоний, — что у нас множество пленных...

— И в числе их много рабов, — почему не договариваешь? — перебил Каска. — Невольники — народ опасный, — тень Спартака бродит среди них, — и следовало бы от них освободиться.

— Как? Отпустить на волю?

— Не насмешничай, Квинт Антистий, — обратился Каска к Лабеоу. — Рабы находятся среди воинов, они могут посеять рознь, а так как разбитые легионы Кассия завидуют нам, что мы победили, то я советую перебить невольников...

— Всех? — с возмущением вскричал Квинт Гортензий, сын оратора.

Поднялся Брут, и спор прекратился.

— Рабов перебить, — сказал он, — свободнорожденных отпустить, объявив, что цезарьянцы обратили их в рабство, а я, Марк Юний Брут, делаю их свободными гражданами.

Опасаясь убийства освобожденных вместе с невольниками, Брут подозвал раба и шепнул: «Иди и распорядись, чтобы свободнорожденные были высланы из лагеря сегодня же ночью».

— Друзья, — продолжал он, — я еще не кончил. Мы должны вооружить войска, но от сражения будем уклоняться. Завтра я раздам воинам подарки и пообещаю Спарту и Фессалонику в награду за храбрость и соблюдение дисциплины. Пусть они разграбят эти города. Я думаю так: лучше иметь хороших воинов и прекратить бесчинства в лагере, чем зависеть от непослушной толпы, готовой на насилия.

XXIII

Тяжело и тоскливо было Бруту жить после смерти Кассия. Они привыкли делить вместе радость и горе, успехи и неудачи, оба болели душой за родину, и если один умер, то как было оставаться другому, страдать, бороться и одиноко умирать? Борьба за республику была возвышеннейшей целью существования обоих, и Брут думал: «Почему пал более одаренный полководец, более смелый воин и более хладнокровный и решительный муж? Таинственная воля Фатума? Может быть. Пифагорейцы говорят: «Что предначертано и подвластно Круговороту и совершается на основании таких же законов, согласно которым движутся планеты и созвездия, повторяются времена года и жизнь сменяется смертью, а смерть — жизнью, — непреложно. Но откуда они знают, что это так? Какие боги открыли им тайны потусторонней жизни? Нет, сильный ушел, оставив слабого по воле Фатума, чтоб страшнее был удар, намеченный слабому. А слабый ведь — я». Так думал Брут, сидя в задумчивости над сочинениями Цицерона,

— Жил некогда Кассий, убил Цезаря и погиб при Филиппах, — сказал он, — то же случилось и теперь. И сотни раз придет Кассий в мир, чтоб убить вместе со мной Цезаря, тирана, стремящегося к монархии, и сотни раз будет гибнуть при Филиппах. Таинственная загадка жизни и смерти! Как перешагнуть через волю Фатума, сделать так, чтобы То, что было в прошлых существованиях, не повторялось в будущих? Боги бессильны. Кто же сильнее их? Фатум? Но Фатум — не бог, это Закон, не подлежащий

нарушению. Разве можно изменить времена года? Сделать так, чтобы в Африке была вечная зима или вечная ночь? То же с волей Фатума: ничем, никакими силами божескими и человеческими не изменить вековечного порядка.

— В шатёр вошла Лициния.

— Ты опять, господин мой, беседуешь с собой, — упрекнула она Брута, — а потом будешь говорить, что тебе являются призраки. Ляг, отдохни от дневных забот...

— Кассий посмеивался, когда я рассказывал ему о привидениях. А, между тем, говорят, он бежал при Филиппах с поля битвы, увидев гневного Цезаря в пурпуровом плаще с занесенным мечом, гнавшего на него своего коня!..

— Не верь, вождь, болтовне вольноотпущенников!.. Брут помолчал.

— Что нового в легионах? — спросил он. — Довольны ли воины? Нет ли среди них неустойчивых, готовых изменить?

— Вождь, легионарии Кассия заражают своим унынием твоих воинов. Марк, сын Катона, воодушевлял их к борьбе за республику, упомянул своего отца, сражавшегося против Цезаря и погибшего в Утике, и мужей, погибших за свободу. Я сама слышала, как он говорил о проскрипциях триумвиров, возвратившихся к кровавым временам Суллы. Воины слушали неохотно, а многие самовольно отлучились в Филиппы.

Вошел контуберналий и доложил о прибытии разведчиков.

— Пусть войдет начальник, — приказал Брут, сделав знак Лицинии остаться.

Это был Камулат, бородатый муж, уважаемый Брутом за боевую опытность и безумную храбрость. О подвигах его рассказывали в легионах чудеса: говорили, что одна сирийская жрица богини Атаргатис подарила ему амулет, предохраняющий от смерти, и потому от тела Камулата богиня отводит стрелы, камни и удары мечей.

— Что нового, дорогой Камулат? — приветливо спросил Брут.

Камулат сообщил, что легионы Антония и Октавиана недовольны расположением лагеря в болотах; идут дожди, и в палатках много грязи и воды, замерзающих по ночам.

— Еще что?

— Некий перебежчик утверждает, что наши корабли потопили суда цезарьянцев, перевозивших подкрепления из Италии. Он рассказывал об этом легатам и военным трибунам, но никто не верит, — все смеются. Возможно, что перебежчик лжет, чтобы сказать нам приятное.

— Если бы это было так, — задумался Брут, — начальник кораблей сообщил бы нам об этом. Еще что?

Камулат придвинулся к Бруту.

— Плохие предзнаменования...

— Глупости! — крикнул Брут и встал. — Враги распускают слухи, чтобы сломить стойкость легионов.

Когда Камулат вышел, Лициния сказала:

— Вождь, твоей медлительностью возмущаются восточные цари, военные трибуны, легионарии, — все они требуют битвы. Проходя мимо палаток, я слышала, как они величали тебя трусом...

— Трусом? О боги, неужели я боюсь за свою жизнь? Разве я дорожу ею?

— Успокойся, вождь! Злословие — мать зависти и дурного нрава. Ни один честный муж не посмеет обвинить тебя в трусости.

Оставшись один, Брут лег на ложе, покрылся плащом. В палатке было холодно, — глиняный горшок с раскаленными угольями давал мало тепла. Брут думал

о Кассии. Жизнь друга погасла, как светильня, лишенная масла. И что такое жизнь вообще? И ради чего на свете копошится человечество как клубок слепых червей? Слепое человечество, бессильное заглянуть по ту сторону существования, страдает, мучается, грызется, точно суждено ему жить вечно... Кассий вовлек его, Брута, в заговор против Цезаря, и Кассий погиб... Возмездие ли это или случайность?

Вдруг он приподнялся — ему показалось, что тот же призрак, который обещал встретиться с ним при Филиппах, стоит у входа в шатер — черная бесформенная тень. Брут отбросил плащ и сел на ложе. Привидение безмолвно исчезло.

В шатер заглянула Лициния.

— Не нужно ли тебе, вождь, чего-либо? Ты стонал и разговаривал...

— Тот же призрак явился мне опять... Повесь на рассвете красный плащ у шатра.

Лициния подошла к нему.

— Ты решил?

— Бесповоротно.

Приказав созвать легатов, военных трибунов, центурионов и восточных царьков, Брут ждал их, сидя на ложе.

«О, если бы я разбил триумвиров! Это было бы искуплением убийства Цезаря! Благо народа взамен жизни тирана!»

Смотрел на входивших сыновей великих отцов — Катона, Лукулла, Гортензия, Цицерона, на Фавония, Друза, Вара, Лабеона, а когда увидел румяное лицо Квинта Горация Флакка, — подумал: «Не он ли воспевает эту битву, если уцелеет?»

В шатре стало так тесно, что невозможно было повернуться; холод сменился духотой.

Брут встал.

— Воины, коллеги и друзья, — сказал он, — я буду краток. Я приказал повесить красный плащ у своего шатра... Позаботьтесь, чтоб войска к утру были готовы.

Радостные крики оглушили Брута. Заткнув пальцами уши, он старался не слушать приветствий, не видеть счастливых лиц.

«Они надеются победить, — думал он, — и я надеюсь. А ведь надежда — не есть еще уверенность. Лучше было бы взять триумвиров измором. Нетерпение одних и жажда победы других заставляют меня идти в бой, вопреки здравому смыслу. Не так ли Помпей Великий был принужден дать бои под Фарсалой?»

Движением руки он отпустил военачальников.

— Теперь я один, — сказал он, — нет у меня никого после смерти Кассия...

— Нет, вождь, ты не один. Все мы с тобою: и я, и воины, и молодежь, любящая отечество... Все мы пойдем, куда прикажешь, сделаем, что нужно, если бы даже пришлось положить свои головы на алтарь Беллоны.

Так говорила Лициния, обнимая его колени.

Растроганный и благодарный, Брут поднял ее, усадил рядом с собою.

— Лициния, — сказал он, сжимая ее руку, — твоя работа в легионах не менее важна, чем дело, за которое мы боремся.

Выстроив легионы против неприятеля, Брут медлил наступать; конница не желала первая начинать боя, выжидая, что предпримет пехота, а легионарии оглядывались в нерешительности на конников. Но когда Камулат проехал мимо полководца и на глазах легионов перешел на сторону врага, Брут, опасаясь измены, приказал трубить приступ.

Легионы двинулись вперед. Расстроив первые ряды противника, Брут,

подкрепленный конницей, обрушился на его левое крыло и стал теснить когорты. В грохоте сечи, в звоне оружия Брут чувствовал, что победит, если устоит центр и левое крыло его легионов. Он послал своего легата Лабеона с приказанием не растягивать этого крыла, но уже было поздно. Неприятель напал на легионариев Кассия и обратил их в бегство.

Крики поднялись над полем. Воины бросали щиты, мчались, сбивая друг друга с ног, мешая сражающимся, увеличивая смятение.

Крики усиливались:

— Мы окружены!

— Спасайтесь!

— Вождь погиб!

Брут с обнаженным мечом бросился им навстречу. Он скакал на горячем жеребце, и красный плащ его развевался по ветру.

— Император жив! — слышались разрозненные голоса, но люди продолжали бежать.

— Воины, вперед! — кричал Брут, стегая бичом жеребца.

Смятение увеличилось. Неприятельская конница начала разгром легионов. Антоний рубился в первом ряду, — его конь, напоенный вином, взвивался на дыбы, топтал пехотинцев. Антоний стегал его бичом, усиливая яростное ржание, и работал мечом с той невозмутимой отвагой, которая неоднократно удивляла Цезаря во время боев с галлами. Антоний пробивался вперед, не спуская глаз с Марка Катона, который доблестно сражался, не отступая ни на шаг, пока не пал среди груды убитых врагов; рядом с Катонам бросалась на мечи молодежь, не желавшая попасть в руки цезарьянцев, — Друз, Вар и Лабеон... В плен были взяты Лукулл, Фавоний, Гортензий и Каска.

«Они будут казнены», — решил Антоний и приказал найти Брута.

Полководца нигде не было. Уже смеркалось, и филиппская равнина лежала в темноте, крича и стеная, как огромное израненное животное.

С несколькими друзьями и философами Брут перешел в темноте через ручей. Берега, поросшие кустарником, мешали идти. Брут сел на камень, белевший у ручья, и послал одного из друзей узнать, в порядке ли лагерь. Он надеялся, что потери его невелики и борьбу можно еще продолжать.

Друг не вернулся.

Брут тихо беседовал со своим рабом и щитоносцем, затем, подозвав любимого философа,¹¹ стал просить его поддержать с ним меч, чтобы придать ему силу, когда он бросится грудью на меч, но философ отказался. Отказывались и другие.

— Неужели никто не поможет мне в последнюю минуту? — горестно вздохнул Брут.

— Нужно бежать, — сказал ритор Стратон, — опасно оставаться на месте и ждать врагов.

— Да, бежать, но только при помощи рук, а не ног, — возразил Брут и, прощаясь с друзьями, пожимал им руки. — Я счастлив, друзья, что не ошибся в вас, а себя считаю счастливее победителей, ибо я пользуюсь славой за нравственные качества, а они свою славу получили путем проскрипций и разбоев. Одну только жалобу уношу я

¹¹ В семьях знатных римлян жили нередко попавшие в рабство философы и ученые из числа военнопленных. С ними римляне любили беседовать и советоваться о своих делах.

с собой — жалобу на Фатум, погубивший отечество: во главе Рима будут стоять чудовища, республика исчезнет, и произвол трех, двух или одного мужа повергнет родину и народ в несчастья.

Помолчав, он воскликнул:

— Спасайтесь, друзья, пока не поздно!..

Спокойно смотрел, как друзья пропадали в тем ноте. Взяв Стратона под руку, Брут сказал:

— Остались со мной только двое — ты да Мессала. Помнишь, как мы предавались риторическим занятиям и ты советовал мне, какую употребить фигуру, какое выражение. И я надеюсь, дорогой друг, что ты поможешь мне во имя дружбы и любви нашей.

Стратон вздохнул, Мессала отвернулся.

— Друг Стратон, — продолжал Брут, — взгляни на эти звезды, усеявшие небесный свод: они вечны. Взгляни на меня: разве душа моя не вечна? Телесная оболочка, как все земные предметы, изнашивается, и что ее жалеть? А душу нельзя убить. Я верил в правду, но и она, подобно добродетели, ничто. — И, помолчав, произнес стихи трагика: — О добродетель, ты пустое слово...

Обнажив меч, Брут протянул его ритору. Стратон, отвернувшись, подставил меч, Мессала поддержал, и Брут с силой упал на него грудью.

Друзья печально стояли над телом великого республиканца.

XXIV

Лициния участвовала в битве при Филиппах. Верхом на коне, она скакала рядом с Брутом, когда его легионы гнали войска триумвиров, но лишь только произошло смятение и легионы Кассия побежали, она потеряла Брута: неприятельская конница топтала беглецов, в стороне гибла доблестная молодежь, а Лициния озиралась, ища глазами Брута, и не находила.

Погиб или взят в плен?

Эта мысль не давала покоя.

Лициния повернула лошадь, стараясь пробиться к центру, за которым находился лагерь; животное внезапно заупрямилось, взвилось на дыбы. Она ударила его — напрасно. Лошадь шарахалась, и ее ржание возбуждало коней неприятельских всадников. И вдруг на Лицинию налетели конники. Она стегнула лошадь бичом между глаз и помчалась. Что-то ударило ее по голове: смутно помнила, что летит куда-то среди криков, среди звона и грохота.

Холодная ночь висела над равниной, когда Лициния открыла глаза — высоко мерцали звезды, над горами подымалась луна. Лициния не сознавала, где находится, лежала без мыслей, чувствовала слабость, безволие. Голова болела, она ощупала ее: темя было рассечено, а на лбу вздымалась большая шишка — дотронуться больно.

«Камнем из пращи», — подумала Лициния, пытаясь привстать, но левая нога нестерпимо заныла и не повиновалась: падая, Лициния, очевидно, вывихнула ее.

Лициния поползла по направлению к городку. Филиппы казались совсем недалеко. Она ползла, а расстояние между ней и городком не уменьшалось. Устав, она легла на землю. Кругом лежали трупы. Руки ее были в крови. Она старалась об этом не

думать. Взяла кинжал у убитого легата, сунула за пояс и поползла дальше.

Вдруг луна, скрывавшаяся за облаком, осветила поле и груды трупов. Лициния не отрывала глаз от молодых лиц героев, узнавала павших: вот Марк Катон, а там в стороне лежит юноша, похожий на заснувшую девушку: губы его полуоткрыты, руки раскинуты.

— Люций, племянник Кассия! — шепнула Лициния. — Погиб... А вот Друз, Вар и Лабен... О боги, спасите нас... Неужели республика умерла? Нет, пока живы Брут и Секст Помпей...

Мысль о Сексте придала ей силы. Ползти, ползти, хотя бы всю ночь, чтобы отыскать Брута, просить помощи у Помпея. Нельзя умирать, когда тлеет еще надежда в сердце. Нужно жить, всеми силами отстаивать свободу.

Всю ночь ползла Лициния, всю ночь слышала звуки труб и крики: «Да здравствуют триумвиры! Да здравствует Антоний!» И поняла — победили они... Где же Брут? Может быть, ранен? Или в плену? Она устала — кружилась голова, а добраться до Филипп было так же необходимо, как и найти пристанище, отдохнуть и лечить рану. А потом — искать вождя!

На рассвете она добралась до крайнего домика и постучала в дверь.

Голос изнутри спросил по-гречески:

— Кого шлет Гермес?

— Гермес шлет воина, который просит приюта, — медленно ответила Лициния, подбирая греческие слова.

— Кто ты? Республиканец или цезарьянец?

Лициния растерялась — не знала, что сказать. Опасность быть выданной Антонию заставила ее прибегнуть к хитрости. И она осторожно ответила:

— Воины кричат на равнине: «Да здравствует Антоний!»

Дверь приоткрылась — выглянуло бородатое лицо ремесленника.

— Итак, победил Антоний? О боги!

Лициния поняла, что он против триумвиров, и ободрилась:

— Приюти меня, и Зевс Ксений воздаст тебе за твою доброту... Ты спрашиваешь, кто я? Вместе с Брутом боролся я за республику, а где наш вождь и господин — не знаю.

Она говорила на дурном греческом языке, и ремесленник с трудом понимал ее. Услышав же, что этот легионарий бился рядом с Брутом, он распахнул дверь:

— Войди. Если бы он победил, нам, эллинам, стало бы лучше.

— Помоги мне, — попросила Лициния, — у меня разбита голова и вывихнута нога.

Ремесленник, обхватив ее, понял, что она женщина, однако не сказал ни слова и помог ей войти в домик.

И только днем, после обеда, когда она лежала на ложе, вымолвил, избегая смотреть ей в глаза:

— Почему ты скрыла, что ты — женщина? Лициния смутилась.

— Я знала, что ты догадаешься. Воином я сражалась, воином пришла к тебе, воином и уйду от тебя.

Ремесленник задумался.

— Как велико должно быть дело, за которое боролся Брут, если женщины сражались вместе с ним!

— Кому, друг мой, не дорога свобода? Свободно жить, свободно дышать,

свободно говорить и не зависеть от чьего-либо произвола — не есть ли это высшее счастье на земле?

— Ты права, — кивнул ремесленник. — Кто бы пошел за Брутом, если бы он был против свободы?

XXV

Антоний говорил Октавиану, стоявшему рядом с ним на претории:

— Победой при Филиппах я утвердил победу божественного Цезаря при Фарсале. Я победил Брута и Кассия. Никогда больше аристократы не посмеют злоумышлять против дела Цезаря!

— Да, триумвиры победили, — сказал Октавиан, — но пока жив Секст Помпей...

— Прости меня, Гай Октавиан, но ты в бою не участвовал, а твои легионы бежали. Я один противостоял Бруту и Кассию, я один сломил напор их легионов! Что же касается Секста Помпея, то он не так опасен...

— Неужели ты думаешь, что я трушу? — свысока взглянул на него Октавиан.

— Да, ты трусишь, Гай Октавиан! Если бы ты один выступил против республиканцев, сегодняшняя битва стоила бы жизни тебе и твоим легионам. Ты знаешь, что это так...

«Антоний стал верховным повелителем, — думал Октавиан, — победил, конечно, он, и его власть неизмеримо выше, чем власть Цезаря после Тапса. Но славословить его — это затягивать себе петлю на шею».

— Гонец из Италии! — закричал караульный легат. — Прикажешь, император, впустить его в шатер?

— Пусть войдет, — сказал Антоний, искоса поглядывая на Октавиана: «Он зол, что все обращаются ко мне, а на него не обращают внимания. Его считают самозванцем и коварным честолюбцем. А разве это не так? Пусть мерзкий мальчишка не заносится, а то получит по носу!»

Он вскрыл письмо и громко прочитал:

«Фульвия, супруга Марка Антония — полководцам Марку Антонию и Гаю Октавиану Цезарю, триумвирам — привет и добрые пожелания.

Радея о вашей власти, я управляю Италией и руковожу деяниями сената и магистратов, потому что консул и триумвир Марк Эмилий Лепид плохо справлялся с возложенными на него обязанностями. Жду вашего скорейшего возвращения в Рим. Прощайте». Антоний взглянул на Октавиана:

— Что скажешь?

— Лепида устранить! Мы отнимем у него Испанию и Нарбонскую Галлию...

— А взамен?

— Дадим Африку.

— Еще?

— Мы хотели дать земли ветеранам.

— Восемь тысяч легионариев получат земли в окрестностях восемнадцати самых богатых городов Италии и часть имущества собственников, за которое выдадим владельцам небольшое вознаграждение. Эти колонии, Гай Октавиан, ты назовешь юлианскими, согласно обещанию Цезаря.

— Хорошо. А закон Цезаря о даровании прав гражданства жителям Цизальпинской Галлии?

— Будет проведен. Все это мы сделаем без одобрения сената и народа. Согласен, Гай Октавиан?

Октавиан молчал. Его беспокоило разделение провинций: какие захочет взять Антоний, какие достанутся ему,

Октавиану?

— Согласен? — повторил Антоний. Октавиан кивнул и тотчас же спросил о провинциях.

Антоний небрежно ответил:

— Что ж, я возьму Восток, а ты бери Запад. Думаю, что Восток не может соблазнять тебя — сам знаешь: интриги династов, борьба царьков, заговоры... Но если хочешь, — добавил он, — я уступлю тебе Восток, тем более, что Цезарь считал его богатейшей добычей Италии.

— Нет, пусть верный ученик божественного диктатора установит мир в самых богатых странах, а если понадобится обнажить меч, то пусть долго не раздумывает, тем более, что парфянская добыча заманчива, — любезно сказал Октавиан и вызвал Агриппу. — Скажи, что Фавоний, Лукулл, Каска и другие?

— Казнены.

— Слава богам! — вскричал Октавиан и, сев за столик, принялся диктовать письмо к матери.

Агриппа подал ему в это время письма, указав глазами на Антония, собиравшегося уйти. Октавиан понял, от кого письма, и обратился к триумвиру:

— Как думаешь, благородный Марк Антоний, не слишком ли много взяла на себя Фульвия, захватив власть в Риме?

— Разве она захватила власть? — притворно удивился Антоний. — Она вынуждена была из любви к отечеству заменить Лепида.

— Понимаю, одна она управляет и, может быть, даже не одна...

— Ты хочешь сказать, что брат мой Люций помогает ей... И хорошо! Иначе она бы запуталась в государственных делах.

Октавиан не стал возражать. Лишь только Антоний вышел, он взглянул на письма:

— Ты ошибся, Марк Випсаний, послания от разных лиц: одно от супруги моей, другое — от тещи.

Сначала он прочитал письмо от Клавдии. Жена жаловалась на его долгое отсутствие, уверяла, что соскучилась по нем, описывала неприглядную римскую жизнь:

«У нас полная анархия, хотя мать старается восстановить порядок. Все мы без денег, сенат состоит из мошенников и проходимцев. Нет ни сословий, ни учреждений, ни веры в величие Рима — все попорно, затоптано в грязь. Даже магистраты потеряли влияние на народ, а законы утратили свою силу. Подумай только, дорогой супруг, всадники сражаются в цирке с дикими зверями! Зато молодежь стремится к науке, литературе. Быть учителем стало выгодно, и учителей развелось больше, чем нужно. Кто они? Конечно, вольноотпущенники. Однако этим ремеслом не брезгают и нобили, ставшие нищими. Я очень скучаю по тебе...»

Не дочитав эпистолы, Октавиан отбросил ее: «Лжет, притворяется, своеенравничает, блюдет девственность... О женщины! В ваших легкомысленных

головах только наряды, притирания и глупость!»

Фульвия писала о трудностях управления государством, о безмозглых сенаторах, о мудром соправителе Люции Антонии («Конечно, любовница хвалит своего любовника») и намекала на любовь свою к Октавиану.

«Ты не поверишь, дорогой зять, как я соскучилась по тебе! Твой образ стоит перед моими глазами, я не сплю ночей и совсем больна. О, приезжай поскорее, чтобы я могла видеть тебя и — боги одни знают, возможно ли это? — получить от тебя то, в чем ты отказываешь своей жене, а моей дочери. Реши сам, что делать. Я уверена, что сердце твое не лед, а пылающий факел, и одно это наполняет мою душу счастьем и преданностью к тебе. Если захочешь, я помирю тебя с Клавдией. Где ты это слышал, чтобы девушка, вышедшая замуж, оставалась нетронутой? За что ты сердишься на нее? Но она ни в чем не виновата, и если злые люди клеветают на нее, распространяя грязные слухи, то причиной этому ее гордость и высокая нравственность: она отвергала дерзкие ухаживания многих знатных людей. Приезжай же, иначе...»

Плюнул и швырнул таблички под стол.

— Старая сводня и простибула, — проворчал он, — кому ты нужна? Кто польстится на твое дряблое тело и отвисшие груди?

И, повернувшись к Агриппе, приказал:

— Сжечь эпистола, чтобы никому не попала в руки!

XXVI

Лициния выздоравливала. Врач-грек лечил кровоточившую рану на голове багряным кимолийским мелом, изредка употребляя тимфайский гипс; когда рана стала заживать, он мазал ее жирными составами и прикладывал травы, а вывихнутую ногу — частыми растираниями. Это был пожилой муж, с веселыми глазами и обросшим подбородком. Любитель поболтать, он задерживался, когда ремесленник был дома, и оживленная беседа затягивалась нередко на несколько часов. Большею частью они беседовали о политике, о состоянии римского и греческого общества, о войнах Цезаря и Помпея. Однажды врач заговорил о битве при Филиппах и разгроме легионов Кассия и Брута. Лициния встрепенулась.

— Брут кончил самоубийством, — сказал он, — борец за свободу погиб, но печалиться о нем не одно ли и то же, что грустить о погибшей идее? Как не может исчезнуть идея, во имя которой шли умирать десятки тысяч, так же не может исчезнуть имя Брута, противника тирании: оно на многие тысячелетия будет гореть факелом, призывающим народы к боям за свободу.

— Ты красноречив, друг мой, — вздохнул ремесленник. — Не лучше ли было бы, если бы Брут остался жить и продолжал борьбу?

— Если бы он заключил союз с Секстом Помпеем, — продолжал врач, — боги одни знают, кто победил бы.

Ремесленник, слышавший о Сексте только дурное, стукнул кулаком по столу:

— Нехватало еще, чтобы Брут связался с пиратом! Тут Лициния не выдержала: горячо защищая Секста, она говорила о его любви к отечеству, справедливом отношении к подвластным ему людям.

— Это муж, с которым можно играть в морру в темноте, — добавила она.

— *Micare digitis*,¹² — сказал врач и засмеялся. — Когда я бывал в Риме, я всегда удивлялся быстроте и сообразительности юношей, которые играли в морру. Разжимая кулаки, они быстро показывали пальцы, стараясь сосчитать их, пока рука противника не сжалась опять в кулак. Верный счет считался выигрышем, и игрок подымал палец левой руки. Мы, греки, играем так же, но медленнее. Борьба же требует быстроты. А борьба за власть — это кровавая игра, а не *micare digitis*: в ней решают все быстрота и сообразительность. Кто же, по-твоему, лучший игрок — Брут ли, истинный республиканец, бескорыстно боровшийся против тирании Цезаря и триумвиров, или Секст Помпей, опирающийся на аристократов-помпеянцев?

Лициния возразила, что иметь друзей-помпеянцев не значит еще опираться на них, что Секст Помпей не таков, каким рисуют его враги, — она убедилась в этом, будучи послана к нему Брутом.

Эти беседы укрепили ее решение отправиться к Сексту Помпею. В глубине души она отдавала предпочтение Сексту, как ей казалось, не потому, что она его любила, а оттого, что Секст мечтал о полном освобождении сицилийских рабов и даровании им человеческих прав. Иногда она думала, что Секст решил пополнить легионы невольниками для того, чтобы иметь больше войск, и освобождение рабов задумано им не ради человеколюбия.

Эта мысль была невыносима.

«Не может быть, — шептала она, ворочаясь на ложе, — Секст не таков. Как и Брут, он борется за идею. Только разными путями пошли они: Брут убил диктатора и собрал войска для борьбы с триумвирами, чтобы восстановить республику времен Катона Цензора, а Секст мечтает о республике до Пунических войн. Один находился под влиянием Цицерона, другой — последователь Сципиона Старшего».

Она задумалась. И казалось ей, что цель Брута и цель Секста составляют единое целое, без которого немислимы спокойствие в республике и благо народа. Жизнь, называемая кучкой олигархов свободной лишь затем, чтобы обмануть народ, казалась ей большим угнетением, чем деспотия Суллы, Митридата или Тиграна, а зависимость римлян от кучки «избранных» богами, а на самом деле от людей, захвативших незаконно власть — худшим рабством, нежели проституция. И если бы Брут повернул республику к эпохе Катона, удовлетворился ли бы народ властью сената и гнетом нобилей? А если Секст Помпей восстановит республику времен консула Дуилия или нашествия Ганнибала, то что выиграет народ от такого правительства? Не одно ли и то же республика Брута и республика Секста Помпея? А освобождение рабов?.. Было ли оно целью или средством? Лициния становилась в тупик, не зная, что думать. И только в одном она была уверена: Секст Помпей честен и велик.

Ей пришло в голову, что она рассуждает о Сексте, как влюбленная женщина; она проверила свои мысли: они казались ей логически безупречными.

— Поеду к Сексту, разделю с ним его судьбу, — шепнула она, садясь на ложе. — Победа должна быть за тем, кто одинаково любит свое отечество и заботится о нуждах и счастье народа.

Книга вторая

¹² Сверкать пальцами.

I

Едучи в Рим, Октавиан думал об Антонии, отправившемся в Грецию, и о Фульвии, захватившей власть в свои руки. Он представлял себе встречу с ней, Люцием Антонием, Лепидом и женой-девственницей, заранее решая, как держать себя с ними.

«С Фульвией и Клавдией буду холоден и неприступен; мать и дочь захотят непременно употребить женские чары, чтобы заставить меня повиноваться их воле. Они не знают, что покорность несвойственна моей натуре. Люций Антоний принужден будет повиноваться мне, хотя он и консул, а если станет сопротивляться... — Октавиан сжал кулаки, сдвинул брови, — я найду средство... А Лепид... я ему вручу письмо Антония и свалю всю ответственность за наше решение на Марка...»

И вдруг, повернувшись к Агриппе, подмигнул ему:

— Соскучился по римлянкам?

— Соскучился, — ответил правдивый Агриппа. — А ты... неужели ты, скажи, не скрывая, не желаешь увидеться с Клавдией?

— Ты очень смел, Марк! Клавдию я не люблю. Она оскорбила меня при жизни Юлия Цезаря, отца моего, и я поклялся, что никогда она не разделит со мной ложе. Я хочу унижить ее, заставить, чтобы она, гордая, умоляла меня на коленях о снисхождении или прощении...

— А тогда ты бы простил?

— Нет. Я посмеялся бы над ней, а затем прогнал бы ее.

Нахмурившись, Агриппа молча ехал рядом с Октавианом.

— Знаю, ты поступил бы иначе, — продолжал триумвир, — но — клянусь богами! — доброта и снисходительность постыдны по отношению к женщине, осмеивавшей мужа. Скажи, что ты думаешь о Фульвии? Хоть она и сводня, и развратница, и старуха, а, должно быть, привлекательней всякой молодой глупой Девушки; Фульвия умна, умеет жить и не оскорбляет мужей...

— Ты неправ. Во-первых, Фульвия не так уж стара, — ей только сорок лет, во-вторых, она влюблена в тебя и, в-третьих, Клавдия менее глупа, чем тебе кажется. Если оскорбление задело тебя, то острота оказалась меткой, а потому и умной. Ведь неметкая острота не оставила бы следа в твоей душе, ибо глупость вообще не задевает: она пролетает, подобно тени.

— Ты философ, Марк, клянусь Юпитером! Агриппа сдержал рвавшегося вперед коня. Он хотел спросить Октавиана, как оскорбила его Клавдия, но не решился.

Подъезжали к Риму. Оправив на себе белую всадническую одежду, с узкой красной полоской спереди, Октавиан, щуря глаза, говорил Агриппе, что ничего не видит, и друг принужден был называть здания, мимо которых они проезжали, улицы и площади.

— Подумать только, — жаловался триумвир, — до чего мы дожили! Отцы государства и сам Лепид допустили в стенах державного Рима восторжествовать

гинекократии! Что бы сказали Сулла и Юлий Цезарь, если бы узнали об этом? О боги! Я уверен, что Секст Помпей насмехается над двумя триумвирами, которых третий триумвир стремится подчинить своей жене!

Агриппа стал уверять Октавиана, что подозрительность его лишена оснований, однако триумвир не слушал возражений друга.

Встреча с Фульвией, состоявшаяся на другой день, расстроила Октавиана. Узнав о его прибытии еще накануне, Фульвия приделась: она была в легкой хламиде, поверх которой накинула персидскую ткань с мозаичными вышивками, сверкавшими драгоценными камнями; коса, искусно завязанная в Аполлонов узел, казалась диадемой. Сидя на катедре, Фульвия держала в руках тетрахорд и рассеянно перебирала струны.

Октавиан потребовал передать ему власть.

— Я, женщина, управляю государством именем триумвира Антония, — возразила Фульвия.

Октавиан, едва сдерживаясь от негодования, протянул ей папирус:

— Взгляни, благородная Фульвия, на подписи триумвиров, поделивших между собой мир: Антоний получил Восток, а я — Запад. Следовательно, Италия подвластна — мне, только мне! Что же ты еще споришь?

— Гай, я не уступлю, — тихо сказала Фульвия, садясь рядом с ним на биселлу. — Я уступила бы, если бы ты... Ты получил мое письмо?

— Нет. О каком письме ты говоришь? — холодно спросил Октавиан.

— А от Клавдии получил?

— Тоже нет. Да ты нарочно выдумала эти письма, чтобы отвлечь меня от беседы о власти.

Фульвия не спускала с него глаз.

— Я писала, — медленно заговорила она, — о себе и о Клавдии... Я хотела...

— Зачем мне знать, что ты хотела или чего не хотела? — прервал ее Октавиан. — Писем я не получил, значит сами боги пожелали, чтобы я не знал содержания их...

Фульвия привстала.

— А если ты получил их и лжешь? — вскрикнула она, схватив Октавиана за руку. — Я писала, что люблю...

— Зачем мне знать, любишь ли ты Антония или Люция? Или обоих вместе?

Фульвия побледнела.

— Гай Октавий, я не привыкла слушать оскорблений от мужей. А так как ты породнился с нами...

— Нет, я не породнился, — резко сказал Октавиан и встал. — Спроси об этом Клавдию. Что же касается власти, то завтра же ты откажешься от нее.

Фульвия не успела ответить. В конклав входил Люций Антоний, нарядный, в тоге с пурпурной каймой и новых башмаках.

— Привет триумвиру! — воскликнул он, взмахнув рукой.

— Привет и тебе, консул!

— Я слышал, что ты болел после Филипп?

— Воля богов! Асклепий наградил меня слабым здоровьем.

— Тебе нужен отдых...

Октавиан насторожился;

— Поезжай в одну из камцанских вилл и наслаждайся жизнью, дыши целебным воздухом, прогуливайся на взморье, живи, как некогда жил великий Сулла,

отказавшийся от власти.

— Уж не хочешь ли ты, чтоб и я отказался от власти? Люций смутился.

— Ты меня не понял, Цезарь! Заботясь о твоём здоровье, я хотел дать тебе добрый совет...

— Совет, действительно, хорош, — засмеялся Октавиан, — благородная Фульвия, без сомнения, одобрит его.

Фульвия притворно кивнула, вымолвив:

— Гай Октавий, я советую тебе отправиться в Байи. Поезжай заранее, пока не начало съезжаться общество. Там ты будешь любоваться живописными утесами, тенистыми гротами, роскошнейшими виллами; отдыхать под развесистыми платанами и кипарисами, дышать запахом душистых лавров и миртов; там в знойный день, сидя у водопада, будешь радостно подставлять голову и грудь под брызги, а утром и вечером лечиться от недугов целебной водой серного источника. Там ты помолодеешь, приобретешь силу мышц, мысли твои прояснятся...

Октавиан встал.

— Довольно! — возгласил он. — Благодарю вас, друзья, за советы. Но молодеть, приобретать силу мышц и заботиться о прояснении мыслей советую тебе, Фульвия, когда освободишься, передав мне власть...

Фульвия вскочила.

— Что? Тебе... тебе — власть? Никогда!

— Я не шучу, Фульвия! Завтра как триумвир и владыка Запада я начинаю свою государственную деятельность...

И, кивнув им, вышел на улицу.

II

Октавиан приступил к распределению земель среди ветеранов. Разослав магистратов и землемеров во все концы Италии, он выступил в сенате, и отцы государства, признав его притязания на власть более законными, чем притязания Фульвии, не мешали его деятельности. Люций Антоний, недовольный действиями триумвира, предостерегал его, что заискивать перед народом и вмешиваться в дела консула равносильно нарушению закона и оскорблению высшего магистрата, но Октавиан возражал, что вообще заискивают люди нечестные, а оскорбляют консула только те, чьи притязания незаконны, а действия преступны.

Получая известия от магистратов по распределению земель, триумвир отмечал наделы на табличках, а на жалобы зажиточных земледельцев, которых считал сторонниками республиканцев, отвечал обещанием, что за отнятые земли, скот и земледельческие орудия будет выдано вознаграждение. Так же отвечал он и мелким земледельцам, лишившимся полностью своих полей. А сам думал: «Пусть ждут — ничего не получают». Он разослал магистратам тайное предписание не давать никому на руки расписок с обозначением стоимости отнятого, а вносить отобранные земли, стада, рабов и земледельческие орудия в особые списки, которые предъявлять недовольным, чтобы успокоить их. Весной начался грабёж и произошли волнения: у крупных собственников отнимали лучшую часть виноградников и оливковых посадок. А ветераны, требуя только обработанных земель и доходных поместий, кричали, что

желают жить теперь, как члены муниципального сената.

Фульвия и Люций воспользовались волнениями, чтобы выступить против Октавиана: они подстрекали против него ограбленных земледельцев и возбуждали ветеранов. Не получив обещанного вознаграждения, одни хлебопашцы взялись за оружие, занялись грабежами и разбоями на дорогах, другие отправились к Сексту Помпею, иные, посадив в повозки детей и положив пенатов, двинулись в Рим. А ветераны наглели, захватывая земли, даже не предназначенные для них.

Ненависть к триумвирам охватывала Италию. Растерянный, Октавиан бродил в рабской одежде по Риму, сопровождаемый Агриппой, видел голодных людей, которые с рыданиями искали убежища в храмах, толпы простибул, с жадностью набрасывавшихся на мужей и юношей, и спрашивал друга:

— Марк, что нам делать?

Агриппа пожимал плечами и однажды посоветовал:

— Поскольку ветераны и ограбленные квириды требуют денег, нужно раздобыть их поскорее. Продай имущество проскриптов и богачей, павших при Филиппах. Начни с собственности Лукулла и Гортензия Гортала.

— А если эти деньги не выручат нас?

— Обложи податью города, освобожденные от распределения земель.

Октавиан повеселел,

— Ты мудр, как Нестор, — сказал он, целуя Агриппу. — Лучший друг познается в несчастье. Когда-нибудь я докажу тебе, Марк, свою дружбу и расположение.

Однако меры, предложенные Агриппой, не дали тех средств, на которые рассчитывал Октавиан: покупателями имущества богачей оказались ветераны, вернувшиеся из-под Филипп с большими деньгами. Они приобретали имущество аристократов за бесценок. Налоги с городов поступали неравномерно, а в Риме не хватало хлеба.

— Плохо, очень плохо, — вздыхал триумвир, получив известия о деятельности Секста, перехватывавшего корабли, которые подвозили хлеб в Рим. — Опять квириды будут голодать и обвинять в этом меня. Проклятый Помпей! Он не дает мне покоя. К нему присоединились остатки войск и флота Кассия и Брута. Да, Секст с каждым днем становится сильнее, а я слабею. Но сыну Цезаря и сыну Помпея жить вместе невозможно: Один из них должен погибнуть!

III

Поддерживая крупных землевладельцев, Люций Антоний, демагог и сторонник аристократов, говорил, что прежде отнятые имения должны были удовлетворить ветеранов с избытком. Но оставались новобранцы, которых нужно было привлечь на свою сторону. И Люций стал отнимать земли у мелких хлебопашцев.

Пахари роптали. Он отвечал, что действия его согласованы с триумвиром Марком Антонием и целью их является противодействие Октавиану, который будто бы посягает на благосостояние бедняков.

Узнав о том, что аристократы и крупные землевладельцы вооружаются, надеясь на поддержку консула, что в Риме, городах и деревнях начались драки и разбои, а вольноотпущенники и чужеземцы закрывают лавки и бегут из Города, Люций

отправился к Фульвии. Он хотел посоветоваться с ней, что делать: стать ли открыто на сторону собственников или, не порывая с ними, заискивать у них и одновременно у ветеранов? Фульвия приказала ему стать на сторону собственников, а ветеранам объявить, что вновь захваченные земли будут распределены только между участниками битвы при Филиппах.

— Ты захотел действовать самостоятельно — действуй! — ехидничала Фульвия. — А я не потерплю, чтобы Люций Антоний стал по отношению ко мне двуликим Янусом. Жизнь, дорогой мой, сложна, и нужно идти не по большой дороге, а пробираться дорожками и тропинками. Вспомни, как действовал диктатор Цезарь, завоевывая Галлию и борясь с Помпеем. А если бы он пошел по большой дороге, как Сципион Эмилиан, все замыслы его стали бы пеплом или пылью.

— Что же делать?

— Сделай, как я сказала, и Октавиан уступит. Действительно, испуганный триумвир уступил. Он уступил также ветеранам, которые волновались, разрешив им основать колонии на территории других городов. А выплату им он произвел деньгами из италийских храмов, — об этом всюду говорили как о святотатстве и наглом грабеже.

IV

После длительного путешествия из Македонии Лициния высадилась ранним утром в Сиракузах. Голубое небо, прозрачный воздух, пропитанный благоуханиями садов, пение птиц успокоительно действовали на нее. На мгновение она забыла ужасы Филиппской битвы. Горечь при известии о смерти Брута и Кассия, страшная опустошенность души, когда хотелось броситься со скалы, чтобы размозжить голову о камни, придавили ее. Прижимая руки к груди, она опустилась на колени под македонским небом и заплакала, призывая богов охранять сына Помпея от всего злого. А сердце рвалось к нему. И на другой день она, с незарубцевавшейся раной, покинула Филиппы, купила лошадь и поехала к морю.

И вот она в Сицилии, в этом огромном великолепном саду, где дышится легко и отрадно, где теплые лучи солнца кажутся ласками матери, пестующей своего ребенка. По дороге в Мессану (там находился Секст Помпей) она смотрела на вечнозеленые кусты миртов и лавров, на платаны и кипарисы, на высокие горы, покрытые зеленью, на горбатые возделанные поля, на которых работали невольники и бедные земледельцы, и ей казалось, что на такой земле, под таким солнцем, умирать ей будет трудно...

В Мессане она легко нашла дом Секста Помпея, но к самому полководцу попасть было нелегко: на каждом шагу стояли стражи, всюду часовые требовали пропуск, а она, новый человек, не имела здесь ни друзей, ни покровителей, не знала, к кому обратиться.

Перед домом теснились толпы народа. Лициния спросила смуглую рабыню, стоявшую впереди нее, зачем собрался народ, и невольница, оглянув ее с ног до головы, сказала:

— Ты, я вижу, чужеземка, если не знаешь, что наш вождь и защитник выйдет сейчас к народу. Он освободил рабов, снизил налоги, дал нам радостную, спокойную

жизнь. Мы стали вольноотпущенниками и вольноотпущенницами, избавились от рабства.

— И мы думаем, — перебил гончар, — что заветы Эвна и Ахея нашли отклик в сердце римлянина. Конечно, — добавил он со вздохом, — мы были бы счастливы, если бы наш вождь отправил нас на родину...

— Об этом мечтал богоравный Спартак, — вмешался грек-сукновал, — но Фатум помешал ему. Теперь же времена иные. Рабов меньше угнетают, потому что помнят восстание Спартака и нас боятся. Кто знает, быть может, мы вернемся, наконец, на родину...

— Секст Помпей Великий — муж честный и доблестный — говорил гончар. — Освобождая нас, он сказал, что Рим не потерпит, чтобы мы оставались вольноотпущенниками. Мы знаем это и готовимся к борьбе, вступаем в его легионы.

— Добровольно? Или вас вербуют? — допытывалась Лициния.

Грек-сукновал подозрительно смотрел на нее.

— Кто ты, женщина? И почему ты выпытываешь у нас о Сексте Помпее? Уж не соглядатайка ли ты?..

Лициния покачала головой.

— Увы, друг мой! Я возвращаюсь из-под Филипп, где погибли Брут и Кассий... Я должна говорить с Секстом Помпеем. А как это сделать? Нет у меня пропуска...

— Когда вождь будет проходить, я крикну, что человек из-под Филипп хочет с ним говорить.

В это время толпа замолчала. Стражи оттеснили народ, из дома вышел Секст Помпей. Послышались громкие крики: «Слава, слава!» — и толпа опустилась на колени, не переставая повторять это слово.

Стояла только Лициния, и Секст направился к ней:

— Кто ты, друг мой? — спросил он.

Лициния задрожала от счастья и волнения. Он стоял перед ней, не узнавая ее, и она грустно вымолвила, опустив голову:

— Ты успел забыть меня, вождь!

— Я? Забыть? Кто же ты?

Она подняла голову. Он вглядывался в нее.

— Лициния? Ты?

Схватил ее руки, сжал. Счастливая и радостная, она подалась к нему всем телом, и Помпей, как тогда, при прощании, поцеловал ее в лоб.

— Так это правда, что Брут и Кассий...

— Увы, господин!

Больше Секст не спрашивал. Повелев народу встать, он сказал:

— Квириты, будьте готовы к боям. Триумвиры режут народ, как животных, назначенных на убой. Тысячи проскриптов спасены при помощи моего друга Менадора, которого мы называем Менасом. Вы знаете его. Этот муж прозван врагами «Пиратом» за доблесть в морских боях и умение топить неприятельские корабли. Как думаете, можно ли верить триумвирам? Можно ли верить злодеям, разбойникам и клятвопреступникам? Нет и нет! Нам придется воевать. Я, квириты, войны не желаю и приложу все силы, чтобы избежать столкновения. Я понимаю, что Октавиан, усыновленный. Цезарем, меня ненавидит: я, сын Помпея, мешаю ему, сыну Цезаря, добиваться власти. Народ меня любит, а его ненавидит. И немудрено: можно ли любить зверя в человеческом образе?

Менас дотронулся до его руки.

— Распусти народ — идем поскорее: я добыл важные сведения.

Секст обратился к народу и, поблагодарив его за дружеские чувства и доверие, взял Лицинию за руку:

— Пойдем. Нам нужно о многом поговорить.

— Ты занят, — покосилась Лициния на бородатого пирата.

— Менас пробудет у меня недолго. А во время нашей беседы ты сможешь вздремнуть после дороги.

Только теперь почувствовала Лициния усталость. Глаза слипались. Она шла рядом с Помпеем и Менасом по большому атриуму, заполненному народом, останавливаясь, когда оба мужа беседовали с посетителями. А когда она вошла в таблинум и опустилась в кресло, — все поплыло у нее перед глазами. Не слышала даже начала беседы Секста с Менасом.

Внезапно проснулась, как от толчка. Перед ней стоял Помпей без тоги, в одной тунике. Менаса не было. Они были одни.

— Прости, что я разбудил тебя, — говорил Секст, сжимая ее руки. — Но ты спала очень неудобно, — голова твоя свесилась, ты сползла с биселлы. Не лучше ли сначала подкрепиться, а затем поудобнее устроиться на ложе?

Она кивнула, не сводя с него глаз.

— Я рад, что ты приехала, — говорил Секст, отпустив ее руки и смущаясь от ее взгляда, — ты мне расскажешь о битве при Филиппах, о Кассии и Бруте... Менас сообщил мне кое-что об Антонии и Октавиане, о доблести первого и трусости второго.

Лициния встала.

— Вождь, я приехала, чтобы служить тебе...

— Я догадался, Лициния, и молю богов исполнить все твои желания.

— Нет, вождь, моли богов исполнить одно заветное желание.

— Да будет так, — сказал Секст, протянув ей руку. — Идем в триклиний, там ты подкрепишься, а потом рабыня отведет тебя в спальню.

В триклинии возлежали за столом Скрибония, супруга Секста Помпея, Менас, легат и два-три военных трибуна.

Лициния заняла место рядом со Скрибонией и искоса посматривала на ее холодное лицо и белые обнаженные руки. Спать уже не хотелось. Она прислушивалась к беседе мужей. Менас доказывал легату, что из триумвиров самый опасный — Октавиан.

— Ты не думай, что если он труслив, то безобиден. Трусы нередко бывают палачами. У Октавиана есть Агриппа, который верно ему служит...

— Какая польза от Агриппы, который занят дешевыми простибулами? — проворчал легат.

— Бьюсь об заклад, что Октавиан сломит Люция и Фульвию!

— Ну и что ж? Страшны не Люций и Фульвия, а Лепид и Антоний...

Менас повернулся к Сексту:

— Слышишь, вождь, мнение нашего друга о триумвирах?

Помпей, занятый женой и Лицинией, не слышал разговора и попросил легата повторить. Выслушав его, он сказал, что согласно точным сведениям, полученным недавно, Антоний находится на Востоке, проводя дни и ночи в удовольствиях. Ему льстят, сравнивая его с Александром Македонским; он решает споры династов, принимает посольства и дары от царьков; его окружает продажная толпа восточных

лицемеров и проходимцев, которые обращаются с ним как с равным. За крупные взятки, полученные от этнархов, он возвращает царькам завоеванные у них области, требует с провинций Азии уплаты десятилетней подати в течение двух лет, казнит заговорщиков, бежавших в Азию после битвы при Филиппах, — это ли не могущество? Но увы! — власть его — не власть триумвира, каким, например, был на Востоке Помпей Великий: шуты, плясуны, гетеры и простибулы окружают его; с ними он совершает путешествие по Азии, отнимая у одних царьков земли и города и награждая ими других. Женолюб, он бесстыдно забирает у царьков понравившихся ему жен и наложниц и отпускает их за богатый выкуп. Не позор ли так поступать римлянину, высшему магистрату, другу диктатора Цезаря и триумвиру?

— О боги! Вот муж, которого погубят женщины! — со смехом добавил Секст Помпей.

— Зато он проживет такую жизнь, — возразила Скрибония, — как ни один из нас, возьмет у нее все радости и наслаждения. А кому нужна слава после смерти? Только безумцам!

— Неужели ты одобряешь образ жизни Антония? — нахмурился Секст, взглянув на Скрибонию.

— Не одобряю, а люблюсь умением его жить. Впрочем, не нам осуждать его...

Секст покачал головою.

— Непристало жене забывать нравственные качества, переданные нам предками. Честность, добродетель и скромность украшают человека. Назови же мне, Скрибония, хотя бы одно хорошее качество Антония, и я признаю, что ты права. Честность? Ее нет у него. Добродетель? Он не слышал такого слова. Что же касается скромности, то ее у него не больше, чем у субуррской волчицы. Но, может быть, ты ошиблась именем? Говоря об Антонии, имела в виду Лепида? Пусть так. Кто такой Лепид? Триумvir и верховный жрец. Он бездарен, как полководец, упрям, как осел, напорист, как бык; он эпикуреец и не гнушается... Не буду повторять грязных сплетен... Лепид снисходителен — и к жене и к себе.

Все засмеялись.

Скрибония, сославшись на головную боль, оставила ложе. Секст и Лициния молча смотрели, как бледные завитые рабы-мальчики надевали ей на ноги башмаки. Вскоре стали расходиться гости: первый ушел пират Менас, покачиваясь от выпитого вина и таща за собой легата, который упирался. Менас хохотал во все горло.

Поднялись с ложа и военные трибуны.

Секст взглянул на Лицинию.

— Скажи, что ты думаешь о моей жене? — тихо вымолвил он.

Лициния смутилась.

— Вождь, зачем спрашиваешь? Она — твоя супруга; этим все сказано.

— Нет, скажи, умоляю тебя... Ты и я...

Она испугалась, что Секст скажет лишнее, и, схватив его за руку, заглянула ему в глаза.

— Молчи... Я скажу... Тебе нужна иная жена... что я говорю? О боги! Я пьяна... Не гневайся, вождь, за мои дерзкие речи.

Секст задумчиво смотрел на нее.

— Нет, я не ошибся, Лициния! Я хочу сказать тебе, что ты...

Она опять схватила его за руку.

— Вождь, поговорим завтра... Не сегодня... Я устала с дороги и пьяна... Вождь, прошу тебя — оставь меня... я сама дойду...

Секст хлопнул в ладоши и приказал вошедшей невольнице проводить госпожу в спальню.

V

Не заботясь о волнениях, происходивших в Риме, Антоний путешествовал по Сирии.

Он въезжал в Тарс на колеснице, запряженной львом и тигром. Он сидел в одежде Диониса, с венком на голове и, слушая рычание зверей, скучал, пресытившись приветствиями, которыми встречали его всюду.

— Славься, бог наш! — кричали толпы народа, окружая колесницу. — Слава Дионису, вечному богу! Слава, слава!..

Антоний кидал в толпу подарки, сыпавшиеся из большого рога изобилия, и равнодушно смотрел, как с криком расхватывала их толпа. Были здесь ларцы с затейливыми инкрустациями, обитые медными гвоздями, бронзовые сфинксы, наполненные серебряными монетами, полые изображения сирийских божеств с большими животами, набитыми сладостями, корзинки с фруктами и хлебом, сосуды с медом, винами, маслом...

Антоний смотрел на людей, которые копошились перед ним в пыли, и зевал.

И вдруг — о чудо! — видит: едет навстречу прекраснейшая из прекрасных, Изиды, сошедшая на землю в образе смертной женщины, окруженной евнухами и изящными юношами; от лица и глаз ее исходит сияние, на щеках раскрываются ямочки, точно расцветают розовые бутоны, а ямочка на подбородке и ложбинка над верхней губой манят, как улыбки.

Играла музыка, звенели высокие мужские голоса, гремели гимны в честь богов и хоры, славившие Изиду, которая, в поисках Озириса, покинула солнечный Египет — страну Кем — для знойной Азии.

Антоний тронул вожжи — лев и тигр заревели, рванули колесницу, бросились на людей, но были остановлены бичами эфиопов: люди били животных по ошеренным пастям. Колесница остановилась, и бог Дионис, отбросив от себя рог изобилия, выскочил из нее и поспешил навстречу царице. Он сразу узнал Клеопатру: она была такая же, как во время приезда в Рим. Но тогда она, недоступная для него (а может быть, тайно доступная для всех?), приезжала к своему любовнику Цезарю, добиваясь брака, с ним и царской короны, а теперь она ищет его, Антония, в Азии, терзаясь страстью к нему, или притворяясь, что любит. А он? Скольких женщин он любил, сколько девушек побывало на его ложе, а неутоленная страсть к вечной Красоте-Женственности мучит его. И вот теперь он может крикнуть, как Архимед: «Нашел!» — потому что он действительно нашел эту Красоту-Женственность в образе египтянки. Она — и македонянка и гречанка. Она — царица, Гетера, наложница, рабыня и простибула, кифаристка, лирница, плясунья. Кто она? Воплотившаяся Изиды? Или Ма — божественная Истина, обретшая себя в эллинской Красоте и вечной Женственности?

Антоний приближался к Клеопатре, не спуская с нее глаз: казалось, черные глаза

царицы светлели, принимая сапфировый оттенок.

— Клянусь тем, кто спит в Абуфисе, — певучим голосом сказала царица, — сам божественный Дионис удостоил свою служанку милостивым взглядом.

— Дионис приветствует мать Гора во имя Аммона-Ра, — ответил Антоний, возлегая в лектике рядом с Клеопатрой. — Как давно я тебя не видел! А образ твой жил и вечно будет жить в моей влюбленной душе!..

Клеопатра грустно улыбнулась.

— Увы! я приезжала в Рим, когда жил еще божественный Юлий... Четыре года исполнится в следующий разлив Нила, как он погиб... О боги! Сын его растет и мужает, и кто заменит ему отца, кто станет его ментором на жизненном пути?

— Царица, разве можно найти человека, равного божественному Юлию?

— Я не ищу супруга, Марк Антоний! Кто может любить подобно ему? Никто.

— Ты ошибаешься, царица! Есть муж, любящий тебя больше Цезаря и готовый на большие жертвы. Но ты не ищешь любви, и не будем поэтому говорить о ней.

Так беседуя, они въехали в Тарс. Народ встречал их приветственными криками, бросая им под ноги охапки цветов.

Антоний и Клеопатра высовывались из лектики, отвечая на приветствия улыбками и возгласами.

— Ты на меня обижен, что я не могла помочь тебе в борьбе против Брута и Кассия, — сказала Клеопатра, и глаза ее опять стали грустными. — Не говори, что нет... Вопреки буре, разметавшей мои корабли, и моей болезни, я должна была помочь сподвижникам Юлия Цезаря... Знаешь, Сет и Сехлет мучают меня за это, и я не нахожу себе покоя: они являются мне ночью, я куда-то иду и попадаю в темный Аменти... Только прощение твое способно освободить меня от этих колдовских чар...

— Я прощаю тебя...

Она нагнулась к нему.

— Я буду рада, если ты не откажешься присутствовать у меня на пиршестве... А еще более была бы счастлива, если бы ты приехал в Александрию... Там мы проведем вместе зиму... ты pomoжешь мудрыми советами утвердить мою власть в Египте... Согласен?

Сияющие глаза царицы заглядывали ему в душу.

— Я подумаю, — уклончиво ответил он.

— Думай, да недолго. После пиршества жду от тебя согласия или отказа.

Антоний не ответил. Отраднo было сидеть возле нее и в то же время страшно. Красота-Женственность? Или черный Аменти? Любовь или равнодушие? Страсть или притворство? Может ли чистосердечно любить эта египтянка?

И чем больше он смотрел на нее, тем сильнее испытывал необоримое желание зарыться лицом в ее тело, между грудей, дышать им, жить или медленно умирать, чувствуя, как под левым соском бьется сердце, а душа ее отражается в загадочных мемфисских глазах, устремленных на него.

«Что отраднее — Красота-Женственность или Власть? — молнией сверкнула мысль, и он, не задумываясь, ответил себе: — Красота-Женственность. Ибо Власть — суета, а Женственность — покой, сон, наслаждение и смерть».

Пиршество кончилось, гости уходили из простаса через двор, уставленный колоннами, и узкую переднюю — на улицу. Рабы и невольницы убрали со столов посуду. Хмурясь, Клеопатра искала глазами Антония, но не находила — не было видно среди роскошных гиматиев, хитонов и хламид плечистой фигуры римлянина в

тоге, расшитой изображениями пальмовых ветвей. Ответа он не дал, и царица недоумевала — так обращались с ней впервые. Она привыкла, чтобы ее взгляд, улыбка и слово были для всех законом, а тут нашелся человек, который заставляет ее ждать, сомневаться в силе ее красоты и обаятельности, мучиться. Она не предполагала, что Антоний уже решил, что ответить: он даже не решал, зная заранее, что ответом могло быть только полное согласие, — иного ответа он не мыслил себе, — и все же продолжал медлить.

Тотчас же после пиршества Клеопатра хотела удержать Антония, а он незаметно исчез. Теперь, перейдя в спальню, раздосадованная царица срывала гнев на невольницах: одних била по щекам, других заставляла ползать у своих ног и топтала их, приговаривая: «Зачем упустили римлянина?» Рабыни клялись, что не видели Антония со времени выхода гостей из-за столов; Клеопатра не верила им и продолжала вымещать на них злобу.

Одна служанка, любимица царицы, по имени Атуя, двенадцатилетняя девушка, возразила, что не царица должна ухаживать за чужеземцем, а он за ней, и взбешенная Клеопатра, выхватив кинжал, бросилась на Атую. Девушка не растерялась, выбежала в простас и, бросившись к жертвеннику Гестии, обняла его, упав перед ним на колени.

Царица отступила, не посмев нарушить обычай: у жертвенника Гестии пользовались правом убежища рабы и чужеземцы, и лицо, ищущее защиты у ног богини, было неприкосновенно.

Вошел старый Олимп, врач, звездочет и советник. Клеопатра несколько успокоилась и, проходя мимо жертвенника Гестии, сказала:

— Встань, Атуя! Прощаю тебя еще раз. Девушка упала к ее ногам и обняла колени:

— Прости, царица, во имя Гестии за дерзость...

— Встань. Я буду находиться в правом крыле дома перед лицами семейных и родовых божеств.

Атуя не отпускала ее колени; зная мстительность Клеопатры, она не доверяла ей и ожидала, когда царица сама подымет ее и ласково с ней заговорит...

— Встань, — повторила Клеопатра.

— Госпожа и царица, — вымолвила Атуя со страхом в сердце, — я найду его и приведу к тебе.

Лицо Клеопатры смягчилось. Она ласково подняла девушку и, потрепав по щеке, сказала:

— Если ты приведешь его, я вознагражу тебя поцарски.

Атуя нашла Антония в саду. Она догадалась, что он прошел туда из простаса через покои девушек-рукодельниц, но с какой целью — не могла понять. Если бы Клеопатра назначила ему свидание, она не издевалась бы над невольницами, притом обещание царицы вознаградить ее по-царски доказывало, что Антоний зачем-то нужен и ускользнул, по-видимому, с умыслом.

Римлянин сидел под грушевым деревом, в полосе лунного света, и прислушивался к падению плодов; он терпеливо ждал, загибая каждый раз палец, сколько упадет груш, пока не потревожит его садовник или сторож, обходящий сад. Он загадал, что если упадет десяток груш (это означало десятирицу Пифагора), желание его сбудется и он станет любовником царицы. Однако плодов упало лишь восемь, когда к нему подходила Атуя.

Раздосадованный появлением девушки, Антоний хотел прогнать ее, но,

вглядевшись, нашел, что она красива и хорошо сложена. Он привлек ее к себе и, обнимая, сказал:

— Кого ищешь, мотылек? Атуя смущенно ответила:

— Пусти меня, господин! Если царица узнает, что я сидела с тобой, я погибла...

Антоний вспомнил Халидонию, ревность Фульвии и, отпустив Атуя, шепнул:

— Ты мне нравишься. Скажи, кого ты ищешь?

Меня?..

Атуя рассказала о гневе Клеопатры, и Антоний уговорил девушку провести его незаметно в спальню царицы.

— Я хочу неожиданно появиться перед ней, — объяснил он свое намерение, — а о тебе скажу, что ты нашла меня в глубине сада.

Сняв с пальца золотой перстень, римлянин надел его на палец девушки.

— У тебя тоненькие пальчики, — засмеялся он, — и перстень не годится. Сохрани его у себя и помни: на камне высечено мое имя, и если тебе когда-либо понадобится моя помощь, ты пройдешь ко мне с этим перстнем беспрепятственно. Приходи завтра ночью сюда (не бойся, рабы будут подкуплены), и я поговорю с тобой о важном деле...

— Я боюсь, господин мой!

— Не может быть страха, когда я с тобою.

Они тихо прошли мимо рукодельниц, спавших на соломенных тюфяках в большом помещении, и вошли, ступая по коврам, в простас. За занавесом, отделявшим спальню от простаса, слышался голос Клеопатры.

Атуя потушила, светильню, и только слабый огонек тлел на жертвеннике Гестии.

— Тише, — шепнула Атуя, прижимаясь к Антонию. Он обхватил ее, прижал к себе и, тотчас же отпустив, приоткрыл занавес.

Клеопатра готовилась ко сну. Рабыни суетились возле нее. Они распустили ей черные волосы, упавшие волнами на круглые плечи (открылись маленькие уши), сняли дорический, а затем ионический хитон; блеснуло юное крепкое тело смугло-розового цвета, небольшие высокорасположенные груди с розовыми сосками. Потом невольница сняла с царицы легкую пурпурную опояску, и Антоний увидел высоколежащий втянутый пупок, широкий таз, крепкие бедра, плоский живот, длинные ровные ноги. Верхняя часть туловища имела вид перевернутой груши, — стан поражал стройностью. Теперь рабыни снимали с Клеопатры обувь. Антоний, знаток женского тела, залюбовался круглыми икрами, высоким подъемом, сводчатостью небольшой узкой ступни, тонкой лодыжкой и длинными пальцами.

Царица стояла нагая и любовалась собой в серебряном зеркале. Ни одного волоска не было на ее теле, — она казалась девочкой. Никогда не употребляла она шнуровки, хотя многие гречанки со времени Гиппократы пользовались шнуровкой, чтобы стан казался изящнее.

И только после родов Цезариона она некоторое время туго зашнуровывала живот, чтобы он принял первоначальную форму.

Клеопатра повернулась: выпуклая спина, круглые крестцовые ямки, спинная ложбинка, плотно сомкнутые выпуклые ягодицы.

Атуя толкнула его в темноте. — Войдем.

Увидев невольницу с Антонием, царица улыбнулась — сияние больших глаз передалось лицу, узкие дугообразные брови приподнялись в радостном изумлении, на щеках выступил румянец. Сперва она смутилась, но тут же овладела собою:

— Созерцай, римлянин, Красоту, сошедшую на землю в виде Афродиты. О, если бы жил в наше время Фидий, Скопас или Пракситель!.. Но где ты был? И почему с тобой рабыня?

«Притворяется», — подумал Антоний и сказал:

— Я сидел в саду, любовался небом и луной, мечтал. А эта невольница бродила по саду... Я окликнул ее, спросил, разошлись ли гости, и она...

Повелительным движением руки Клеопатра отпустила рабыню, повернулась к Атуе:

— Возьми благовонные мази. — И к Антонию: — Ты позволишь, чтобы она умастила мне тело?

Царица легла, и проворные руки девушки забегали по телу — распространился аромат нарда и мирра.

— А теперь, Атуя, оставь нас одних, — приказала Клеопатра, — войдешь, когда я кликну, и выведешь господина на улицу.

VI

Узнав, что Антоний «позабыл о Риме», проводя время в празднествах и оргиях с восточными царицами, и не обращает внимания на ее страстные, умоляющие и угрожающие приглашения прибыть в Рим, Фульвия еще больше сблизилась с Люцием. Она полагала, что если в Италии возникнут беспорядки, Антоний поспешит вернуться на родину, иначе его авторитет будет подорван и Октавиан воспользуется этим обстоятельством, чтобы усилиться. Она написала Антонию из Пренеста, куда удалилась, большое письмо, в котором намекала на возможность установить теперь же твердую власть Марка Антония и его семьи и уничтожить Октавиана.

«Подумай только и не медли, — писала она, — не упусти удобного момента, — второй такой случай едва ли повторится. Я вопрошала богов, ауспиции благоприятны; Кален, Вентидий Басс и Азиний Поллион с одиннадцатью легионами, которые находятся в долине Падуса и в Галлии, придут тебе на помощь. Если ты не захочешь прибыть в Италию, то сделай распоряжение этим военачальникам помочь мне в борьбе с Октавианом. Одновременно с письмом к тебе я обращаюсь к Калену, Бассу и Поллиону с предложением итти на Рим».

Дальше она сообщала мужу о положении сената, о враждебности к ней Октавиана, о «недопустимом оскорблении» Клавдии, которая, считаясь женой, остается девушкой, и передавала ряд грязных сплетен о женах и дочерях сенаторов и всадников.

Отправив письма к Антонию и полководцам, Фульвия успокоилась, ожидая легионов с севера. Тщетные надежды! Проходили дни и недели, наконец гонцы привезли письма от полководцев. Точно сговорившись, они советовали Фульвии быть благоразумной, не затевать гражданской войны, потому что ветераны желают мира между триумвирами и опасаются, что волнения только задержат распределение земель.

Читая письма, Фульвия бранилась. Вошедший Люций выслушал ее и сказал:

— Ни полководцы, ни ветераны нас не поддержат. Проклятый Октавиан предложил мне, чтобы наш спор разрешили в Габиях ветераны. Я не пошел в

расставленную ловушку — ведь он задумал меня убить... О, боги! Почему Марк медлит? Неужели он стал восточным царьком, подобно Помпею?

— Хуже, — хрипло вымолвила Фульвия, — после римских и греческих простибул, которые его не удовлетворяли, он отправился на поиски азиатских развратниц... О Марк! Будь ты проклят за муки, которые ты мне доставил!

В исступлении она бегала по таблинуму, повторяя:

— Тело, ему нужно тело! О муж Рима, победитель при Филиппах, что ты делаешь с нами! Где власть, где?

Рыдая и смеясь, она упала на пол, рвала на себе волосы и одежды, билась головой о холодную мозаику:

— О горе нам, горе!

Люций кликнул рабынь и повелел перенести госпожу на ложе, подать ей холодной воды.

Когда невольницы удалились, он нагнулся к Фульвии и шепнул:

— Остается одно — мятеж. Я наберу войско из деревенских плебеев, потерявших земли, муниципии выдадут нам храмовые деньги. А тогда Кален, Басс и Поллион присоединятся к нам, — я прикажу им как консул... Сегодня же пошлю к ним гонцов.

Консул набирал войска во всей Италии. Вербовщики, посланные им в муниципии, призывали ограбленных земледельцев встать «на защиту погранных жалким ростовщиком прав народа», утверждая, что Антоний приказал своим полководцам помочь беднякам, а сам вскоре прибывает в Италию. Пролетарии стекались под знамена мятежного демагога.

Фульвия предприняла поездку по муниципиям. Она призывала декурионов помочь справедливому делу — сбросить с народных плеч гнет Октавиана, подлого отщепенца общества, трусливого тирана и бесстыдного демагога, как называла она его.

Триумвир знал о деятельности Люция и Фульвии от Агриппы, который следил за ними и советовал подавить приготовления к мятежу. Однако Октавиан не решался выступить против пролетариев.

— Нельзя колебаться, когда власть висит на волоске, — сказал однажды Агриппа, входя в таблинум, где Цезарь полулежа что-то писал. — Вместо того, чтобы писать грубые эпиграммы на Фульвию, — заглянул он через его плечо на навощенные дощечки, — ты бы предпринял...

— Молчи! Эпиграммы будут воспроизведены на стенах домов вместо ежедневных известий, а Клавдия завтра же получит развод.

— Если это месть, то она неудачна. Разве Клавдия была твоей женой?

— Не была. А теперь я лишаю ее и этой возможности...

Агриппа пожал плечами.

— Завтра отправишься к ней и скажешь, чтоб она убиралась к своей матери. А теперь говори, что нового?

— Ветераны божественного Цезаря и Антония переходят на нашу сторону.

— А это значит...

...это значит, что легионы, олицетворяющие власть популяров, будут с нами. Полагаю, что войск Калена, Басса и Поллиона опасаться нам нечего.

— Благодарю тебя.

— Однако ветераны, опасаясь волнений в государстве и междоусобной войны, послали гонцов к Антонию, чтобы он прибыл для восстановления спокойствия в

республике.

— К Антонию?..

— Антоний как полководец и сподвижник Юлия Цезаря пользуется большим авторитетом, чем ты...

Октавиан нахмурился.

— А ты что предпринял по этому поводу?

— Отговаривал их. Но они — за триумвиров... Октавиан задумался.

— Завтра попытаюсь отправить к мятежникам послов с мирными предложениями, и если Люций и Фульвия заупрямятся, — послезавтра начну действовать.

— Наконец-то! — вскричал Агриппа. — Вспомни быстроту и стремительность божественного Юлия!..

— Я вспомнил, Марк, вспомнил, но не поздно ли? — сказал Октавиан и принялся за прерванную работу.

Агриппа пожал плечами и молча вышел.

Передав начальствование над легионами Агриппе, который должен был стать в будущем году претором, Октавиан попытался в начале осени взять Норцию. Однако приступ был отбит. Пришлось Норцию осадить, и осада затягивалась.

Октавиан находился при легионах, а управлять Римом остался Лепид, враждебно настроенный к триумвиру. Он не воспрепятствовал Люцию, внезапно напавшему на Рим, войти в город и произнести речь к народу. Люций говорил, что он, защитник республиканских идей, борется против триумвиров за восстановление республики, и утверждал, что Марк Антоний, тяготясь кровавой властью триумвиров, желает стать консулом.

— С этого дня, — заключил он, — объявляю Гая Октавиана врагом отечества. Пусть будет проклят презренный выродок ростовщической фамилии!

Толпа рукоплескала.

— Октавиан у ворот Рима! — закричал любимый вольноотпущенник Люция, бросаясь к нему. — Беги, господин! Войск у тебя недостаточно, и ты не сможешь противустоять тирану.

Видя, что народ рассеивается, Люций поспешно выбрался из Рима. Присоединившись к своему отряду, он пошел по Кассиевой дороге, узнав от встретившихся гонцов о движении навстречу ему отрядов, верных Антонию.

К вечеру прискакавшие всадники, охранявшие отряд от нападения с тыла, сообщили Люцию, что Агриппа гонится за ним.

— Войск у него впятеро больше, чем у нас, — говорил декурион, сидя на непокойном жеребце, тебу, вождь, остается одно — укрыться в Перузии...

— ...которую враг не замедлит осадить?..

— Иного выхода нет.

— Хорошо, — скрепя сердце согласился Люций, приказав декуриону послать гонца к Фульвии, которая находилась в Пренесте.

Письмо состояло из нескольких слов:

«Консул Люций Антоний — Фульвии, супруге Марка Антония, триумвира.

Осажден в Перузии. Требуй помощи у Калена, Басса и Поллиона, подыми всю Италию против Октавиана».

Едва Люций успел укрыться в Перузии, как к ее высотам подошел Агриппа. Начались томительные дни осады, перестрелок, мелких стычек и вылазок. Люций ждал восстания землевладельцев, но они не восставали: ждал помощи, но она не

подходила к городу. Отчаяние овладело им. Он не понимая, почему люди, за которых он боролся, изменили, отчего медлили Кален, Басс и Поллион. Неужели землевладельцы трусят, дрожа; за свои ничтожные жизни, а легионы ненадежны? Кому же верить, на кого надеяться?

Фульвия? Это она толкнула его на мятеж, не соразмерив сил своих, не заручившись твердой поддержкой легионов. И теперь он сидит, как в мышеловке, и только по милости Октавгана может избежать кары.

Дни тянулись скучные, как осенние тучи. С городских стен смотрел Люций, как воины Агриппы воздвигали насыпь вокруг Перузии. Посылая отряды для отражения врага и разрушения вала, он любовался смелыми вылазками воинов, но эти налеты не могли остановить упрямого Агриппы.

Консул понял, что враг решила взять его измором. Продовольствия в городе оставалось немного, и он повелел выдавать его небольшими долями, а населению меньше, чем легионариям.

Однажды в Перузию пробрался посланец от Фульвии. Матрона писала, что Кален, несмотря на ее просьбы, не двинулся из Галлии, а Басс, Планк и Поллион хотя и находятся недалеко от Перузии, но выступить опасаются: легионарии ненадежны, ненавидят Люция, вождя аристократов, врага ветеранов, выступавшего не раз против распределения земель.

Прочитав письмо, Люций созвал молодых нобилей, служивших у него военными трибунами и декурионами, и горестно воскликнул:

— Мы боролись за них, а они, подлецы, изменили нам! Они дрожат за свои холеные шкуры, которые следует бить нещадно воловьими бичами и скорпионами! О продажные люди, продажное общество, продажная свора магистратов! Будьте прокляты во веки веков!.. А вы, — обратился он к молодежи, — отрекитесь от своих продажных отцов! А если кто-нибудь из вас вернется в Рим и встретится со своим отцом, пусть не дрогнет рука, поражая изменника в коварное сердце!

VII

Пират Менас плыл ночью в маленьком челноке. Рядом с ним сидела Лициния. Гребцы бесшумно опускали весла в черную воду. Приказано было всем молчать, — Менас опасался внезапного нападения. Такие случаи бывали: в бухточках нередко скрывались правительственные корабли, которые вели борьбу с судами Секста Помпея, мешавшими подвозу хлеба в Рим, и корабли внезапно обрушивались на суда Секста, ломали у них весла и овладевали застигнутыми врасплох судами.

Хотя африканский хлеб к Региуму вообще не подвозился и присутствие неприятельских кораблей в этих водах было странно, Секст Помпей, полагая, что триумвиры охотятся за ним, сказал Менасу, отпуская с ним Лицинию: «Будь осторожен. Эта женщина не должна попасть в плен, ей поручено важное дело. Необходимо, чтобы она благополучно прибыла в Италию».

Менас высадил ее в Региуме и тотчас же отплыл. В городе Лициния отыскала верного вольноотпущенника Помпея, и он снабдил ее пропуском и письмами к популярам.

— В Риме страшно, клянусь Феронией! — шепнул вольноотпущенник. — Если

попадешься в руки палачей, не выдавай нас. Говори, что ты вольноотпущенница Марка Антония. И Октавиан тебя не тронет. Деньги у тебя есть?

— Есть.

— Если не хватит, напиши, и я пришлю, сколько понадобится... Ты, конечно, знаешь, что тебе делать.

— Ты говоришь об осторожности, а сам неосторожен. Всякий скажет, что ты готовишь оружие.

Вольноотпущенник растерянно смотрел на нее. — Ты сам себя выдаешь, — продолжала Лициния, указывая на мечи, сваленные в угол и плохо прикрытые кожами.

Вольноотпущенник испуганно бросился к ним и стал бросать на них старую одежду.

— Разве можно держать оружие в доме? Увидит хозяин — донесет или проболтается.

Спустя несколько дней Лициния прибыла в Рим. Она удивилась, что господами города были воины и триумвир Лепид подчинялся им. Она нашла в цирке популяра Понтия. Он возмужал и окреп — мускулистые руки, широкая грудь, красное, загорелое лицо. Он был в красной тунике и только что окончил состязание с бородатым мужем в белой тунике и победил его. Это были пробные игры, или упражнения, под руководством выдающихся мужей, отличившихся на ристалище по сто и двести раз в своей жизни и не принимавших больше участия в состязаниях. Они считались учителями верховой езды, ристаний и обучали молодежь своему искусству.

Понтий сообщил Лицинии, что популяры, сподвижники Клодия и Сальвия, разбрелись по миру: кто поступил в легионы, кто отплыл в Африку, Испанию и Азию, и только несколько человек работает так же, как и он, в цирке.

— Мы держим связь с ними, — продолжал Понтий, — переписываемся и мечтаем о том времени, когда можно будет начать борьбу. Тогда они бросят свои дела в чужих странах и возвратятся в Рим. А ты, жена Сальвия, где была? Я давно тебя не видел...

— Я боролась на стороне Кассия и Брута, а теперь борюсь на стороне Секста Помпея.

— В одиночку? — удивился Понтий. — Почему же ты не сказала нам о своем решении?

— Увы, друг! Популяры не знали, что делать. Помнишь нашу беседу после убийства Цезаря? На кого я могла рассчитывать?

Понтий поник головою.

— Многие и теперь не знают, за кем идти, — сказал он. — Кто из вождей борется за народ — Антоний, Октавиан, Лепид? Нет, они борются не за плебс, а за власть над ним и над миром.

— А Секст Помпей?

Понтий ответил, что народ любит Секста и поддержал бы его, если бы Помпей высадился в Италии.

Подожли популяры, коллеги Понтия, и Лициния произнесла горячую речь о необходимости борьбы; она восхваляла Секста Помпея как храброго мужа, государственного деятеля, освободителя рабов и так преуспела в своих речах, что популяры решили вызвать в Рим своих коллег из провинций.

Присматриваясь к городу, Лициния поняла, что популяры находились в легионах, или, вернее, все воины были популярами.

Бродя по улицам, она останавливала легионариев и беседовала с ними. Она

порицала триумвиров за жестокость, жадность и честолюбие, восхваляла Секста Помпея, единственного честного республиканца, недостаточно еще оцененного народом.

— Вы — популяры, — говорила она, — и потому должны поддерживать Секста. Вы получите земли и преимущества, а народ — счастливую жизнь. Можно ли верить трем демагогам, которые готовы перегрызть друг другу глотки? Вот и теперь Октавиан осаждает Перузию потому только, чтобы доказать вам, что Фульвия и Люций Антоний злоумышляют, выступая против земельных наделов, а он, Октавиан, подавляет восстание, заботясь о вашем благе; потом он наделит вас землями, сделает вам подарки... И вы, конечно, успокоитесь, станете верными рабами Октавиана. Это ему и нужно. И если даже вы добьетесь временного благосостояния, то подумали ли вы о народе? Увы! Он не получит ничего. А Помпей, будь он у власти, наделил бы вас, воины, и народ благами, улучшил бы положение рабов.

Долго она говорила на улицах и площадях. Ее слушали, но ей мало верили.

— Кто она? — шептались легионарии. — Мы ее не знаем. И никто не знает. Почему она ратует за дело Секста Помпея?

А один бородатый ветеран грубо схватил ее за плечо,

— Кто ты? Уж не эмиссарка ли Секста? Лициния гордо оглядела его:

— Стыдись! Я вдова вождя популяров Сальвия.

— Какого Сальвия?

— Друга Клодия.

Легионарии обступили ее. Многие слышали о Сальвии, нашлись люди, знавшие его, а иные помнили вождя Клодия и его борьбу с нобилиями. И все с уважением низко склонили седые головы:

— Слава, слава!

Однако и вторичное предложение Лицинии перейти на сторону Секста не имело успеха, — легионарии замялись.

— Мы подумаем, — говорили они.

— Зачем плыть в Тринакрию, когда и в Риме неплохо?

— Подождем, что даст нам сын Цезаря...

— Мы заставим его исполнить обещания, иначе он захромает на обе ноги!

— Ха-ха-ха!

Лициния поняла, как призрачны были надежды на легионы, находившиеся в Риме.

Заручившись поддержкой римских популяров, которые выдали ей пропуск и письмо к главному начальнику, выборному от легионов, осаждавших Перузию, она отправилась в путь.

...В мартовские календы она подъезжала верхом на выносливой лошадке к лагерю. Было холодно и сыро. Дули пронизывающие ветры с Альп и с моря. Лициния зябла и торопилась попасть скорее в лагерь, чтобы погреться у костра.

Ветераны Октавиана были угрюмы: злила их затянувшаяся осада города, неисполнение вождем обещаний, суровые взыскания центурионов и военных трибунов, а больше всего — сам Октавиан, муж низкорослый, невзрачный, с маленькой головой, прихрамывающий на левую ногу. Строптивный Агриппа, шагавший рядом с ним, казался рослым и привлекательным.

Легионарии шептались:

— Смотри, Гнилозубый с Красногубым пошли к стенам...

— Глуп Люций Антоний, что щадит их: стоит только ударить из баллисты или катапульты.

— Злословить легче всего, — вступился за Октавиана седой ветеран, — а ведь вождь — сын Цезаря.

— Велетрийский ростовщик!

— Скотина!

Тот же ветеран возразил:

— Сейчас — скотина, а наделит нас землями и наградит подарками — станет отцом, благодетелем, любимым императором. Ты озверел, Муций, после проскрипций!..

— А кто не озверееет. если приходилось выкалывать глаза, вспаривать животы беременным женам нобилей, поджаривать людей на углях?

— Говорят, ты содрал кожу со старого всадника, а затем бросил его на костер. Только за что подверг ты таким мучениям старика?

Лициния, прислушивавшаяся к беседам легионариев, поспешила уйти. Жестокость, которую они считали невинной забавой, глубоко возмущала ее. Никогда она не думала, что воин, прошедший всю свою жизнь в легионах, становится черствым, жестоким, злым и беспощадным.

«Да, озверели люди, — подумала она. — А кто виноват? Марий и Сулла, первые и вторые триумвиры. Неужели боги допустят, чтобы римляне перегрызлись между собой, как волки, и республика рухнула? И если суждена ей гибель, то не лучше ли умереть теперь, чем дожидаться ужасов?»

Мысль о Сексте успокоила ее. О, если бы сын Помпея напал на Рим! Вся Италия любила его и сочувствовала его делу. Почему же он медлит, не начинает борьбы? Октавиан и Лепид без Антония — ничто, а Антоний не заботится о триумвирате, забавляется в Александрии в царском дворце не как проконсул, а как гость — любовник египтянки.

Склоняя воинов на сторону Секста Помпея, Лициния видела, что легионариям не до политики: предстояла сдача Люцием Перузии.

Однажды в дождливый день ворота города раскрылись, и Люций Антоний выехал верхом, направляясь к лагерю Октавиана. За ним следовали легионы.

— Не желая увеличивать смуту в дорогом отечество, — притворно крикнул Люций, — сдаюсь с войсками на милость триумвира Октавиана Цезаря, друга моего брата триумвира Марка Антония — да сохранят боги триумвиров в добром согласии на многие годы! В знак искреннего раскаяния отдаю тебе, Цезарь, свой меч!

Он сошел с коня и хотел вынуть меч, но Октавиан любезно остановил его и, спешившись тоже, протянул ему руку при радостных восклицаниях легионов.

— Консул Люций Антоний, — сказал он, — ты ошибался, действуя таким образом, а сознание ошибки наполовину умаляет твою вину. Желая спокойствия в республике, я прощаю тебя и Фульвию, но накажу виновных декурионов, сенаторов и всадников, которые посмели поднять руку на триумвиров.

И он приказал заковать в цепи около трехсот магистрате и их сыновей.

...Разграбленная ветеранами Перузия горела, и Октавиан, сидя в шатре, говорил Агриппе:

— Ты был прав, посоветовав мне пощадить Люция и Фульвию. Если бы я казнил их, месть Антония была бы ужасна. Подождем. Пока Антоний силен, не следует его раздражать, но лишь только он ослабеет или споткнется в своей бурной жизни, я

безжалостно поступлю с ним.

«Он похож на паука, терпеливо дожидаящегося, чтобы муха запуталась в паутине, — подумал Агриппа, — а так как Антоний не муха, то пауку не удастся погубить Антония».

— Как прикажешь поступить с пленными?

— Ответ получишь накануне мартовских ид. А пока стереги их. Одно могу сказать: я должен устрашить Италию, вознести на высоту власть триумвиров, успокоить ветеранов словами: «Люди, злоумышлявшие против вас, жили».¹³

Агриппа молча вышел.

VIII

Наступали мартовские иды — четвертая годовщина гибели Юлия Цезаря, — и Октавиан вздумал совершить торжественное жертвоприношение тени диктатора.

В поле был воздвигнут огромный каменный жертвенник, щедро украшенный венками, еловыми и кипарисовыми ветвями. Выстроенные легионы дожидались выхода из шатра вождя и появления жертвенных животных.

Лициния в одежде всадника находилась на правом крыле конницы. Предчувствуя что-то страшное, необычное, она не спускала глаз с жертвенника, возле которого суетились служители в белых одеждах.

Из шатра вышел Агриппа. Он произнес речь, в которой восхвалял Юлия Цезаря как популяра и диктатора, напоминая о его деятельности, направленной к благополучию народа и ветеранов.

— Воины, триста злодеев, захваченных при взятии Перузии, должны быть казнены. Сын нашего отца и бога Юлия Цезаря решил, вместо того чтобы проливать кровь во имя закона, принести пленников в жертву тени диктатора. Столь похвальный поступок по отношению к погибшему отцу показывает, что сыновний долг в сердце нашего вождя продолжает жить. Да не иссякнет он и в наших сердцах и перейдет к будущим поколениям римского народа!».

Агриппа был бледен. Не одобряя решения Октавиана, он не посмел высказать вождю всего ужаса, какой внушали ему человеческие жертвы. Давным-давно были они отменены в римском государстве, и возобновление их напоминало жестокое прошлое, уподобляя римлян варварам. Он боялся, не видя у служителей ножей, что полководец прикажет всем военачальникам принять участие в резне, и это обстоятельство пугало его не меньше, чем вид людей, которых готовили к жертвоприношению.

Перед тем, как появиться перед войсками, Агриппа обошел палатки пленников. Сенаторы, всадники, декурионы и сыновья их не подозревали об ожидавшей их казни, и, когда рабы стали мыть их (жертва должна быть чистой), пленники спрашивали невольников, зачем они это делают. Рабы отмалчивались. Тогда беспокойство овладело осужденными. Окружив невольников, они кричали:

— Вы что-то скрываете от нас. Какое еще злодейство готовит тиран?

Вместо ответа рабы бросились на них, повалили на шкуры и принялись заклепывать и завязывать им рты (жертва должна молчать). Агриппа нашел пленников

¹³ Т. е. умерли.

обнаженными по пояс, с руками, связанными позади, в новых калигах, чтобы они не могли выпачкать ног, идя от лагеря к жертвеннику.

Агриппа сказал караульному центуриону, плохо скрывая отвращение к этим приготовлениям:

— Триумвир приказал вести пленников при звуке трубы — в одних калигах.

Зайдя к Октавиану, он узнал от слуги, что вождь принял ванну и надевает за занавесом белые одежды. Выйдя к Агриппе, Цезарь спросил, все ли готово, и приказал другу приготовить легионы к священнодействию.

Агриппа повелел трубить в трубы. Октавиан вышел из шатра и, приветствуемый легионами, направился к жертвеннику. На нем была трабея, всадническая одежда с узкой пурпурной полосой. Вслед за ним появились наше пленники с белыми опоясками, закрывавшими рты. Люди дышали тяжело, груди их вздымались, нагие мясистые тела зябли в холодном воздухе, и только глаза, обращенные к Октавиану, выражали ужас.

Лициния едва сдерживалась. Она готова была броситься на Октавиана, но декурион-популяр тронул ее за плечо:

— Очнись и не думай о глупостях.

Она потерянно взглянула на него и едва не вскрикнули: служитель подводил к жертвеннику юношу, за ним выступал камилл, мальчик-служитель, с чашей вина, а за камиллом шла женщина, неся на голове корзину с ржаной посоленной мукой, а в руке — кубок.

Накинув заднюю часть трабеи на голову до лба и воздев руки, Октавиан молился; он обращался к тени диктатора, умоляя его помогать сыну в управлении государством, в поражении врагов внутренних и внешних.

— О, божественный Юлий, — шептал он, — дай мне силу победить неприятелей, стать единодержавным правителем Рима, достойным наследником твоим! Пусть гибнут твои и мои противники, пусть кровь их приятна будет тебе, как сладостен и приятен богам дым горящих туков!

Заиграли флейты.

Посыпав голову юноши священной мукой, Октавиан отрезал пучок волос, свисавший на лоб жертвы, бросил его в огонь и, взяв из рук служителя жертвенный нож, провел острием полосу от головы до ягодиц вдоль позвоночника; затем, приказав положить юношу на жертвенник, он вонзил ему нож в сердце. Хлынула кровь. Служитель подставил чашу. Этой кровью жрец должен был окропить алтарь.

Гаруспики овладели телом, снятым с жертвенника. Один из них вскрыл его большим ножом, а другие отделили от него внутренности маленькими ножами и принялись гадать по ним.¹⁴

Лициния смотрела. Десятки мужей погибали на жертвеннике от руки Октавиана, — одежда его была забрызгана кровью; кровь стекала по пальцам, по кистям рук, забираясь в рукава, а он спокойно погружал нож в груди людей, совершая «богоугодное» дело. Вскоре рука его устала. Было заколото выше ста человек, оставалось еще около двухсот. Он приказал приостановить жертвоприношение, кликнул Агриппу. Но Агриппа, опасаясь, как бы Цезарь не поручил ему завершить кровавое дело, скрылся, — напрасно искали его: он лежал в палатке легионариев,

¹⁴ См. сочинения Сенеки «О милости» и Светония «Жизнь двенадцати Цезарей» (Божественный Август, 15). Историк Рима Светоний передает это как слух.

зажмурив глаза, зажав уши, чтобы не слышать звуков флейт, и весь дрожал от ужаса и отчаяния.

Октавиан вновь приступил к жертвоприношению.

Играли флейты, лилась кровь, усталые легионарии едва стояли на ногах, а рука жреца-триумвира безжалостно вонзала нож в людей.

Лициния давно оставила поле. Объятая ужасом, она мчалась из-под Перузии, по дороге в Рим, и ей казалось, что глаза убиваемых людей смотрят на нее из-за каждого дерева, из-за каждого куста, а тени погибших преследуют ее, как Фурии, мстящие за убийство братьев.

«В самом деле, разве не братья гибли там на моих глазах? Братья-римляне, квиристы, они умирали от руки злодея, сладострастно вонзавшего нож в их сердца».

— О боги, — вырвалось у нее, — возможно ли, чтобы это подлое, грязное, полубезумное чудовище оставалось жить?

IX

Сдача Перузии и гибель трехсот произвели на Фульвию тягостное впечатление. Она билась головой о стену и кричала:

— Проклятый Марк! Упустить такую добычу, как Октавиан! Я не хочу милостей от тирана, не хочу ничего!

Напрасно дочь утешала ее, — Фульвия исступленно шептала с безумным взглядом:

— Молчи! Он тебя выгнал — девушкой ты ушла из нашего дома и девушкой вернулась к родным ларам! Он насмеялся над тобой, не желая иметь от тебя ребенка! Насмеялся надо мной и над Люцием, простив нас, и над Марком Антонием, уничтожив его сторонников: он доказал, что не род Антониев, а Цезарей должен властвовать в Риме.

Она рвала на себе волосы и, седая, полуодетая, бегала по спальне, не зная, что делать. А когда появились кредиторы, требуя уплаты долгов, она их выгнала. Ее вызвали в суд. Это были страшные для нее дни. После власти и могущества — падение! После богатства — нищета! Ее имущество было отнято кредиторами, дома и виллы проданы за долги неумолимыми публиканами: друзья отвернулись, женщины, с которыми она дружила, перестали бывать, а если она приходила к ним, то рабы, которые недавно еще низко кланялись ей, говорили: «Госпожа приказала гнать попрошайку. Пусть нищие просят на улицах». Клодия и Киферида, две обнищавшие матроны, приютили ее с дочерью. Они оказались благороднее гордой Фульвии, не принимавшей их у себя, когда она была у власти, — и посоветовали ей обратиться к Аттику, который, никому не отказывая в помощи, ладил одинаково с аристократами и демократами.

— Старик тебе поможет, — говорила Клодия, — он не раз выручал нас, когда мы нуждались в деньгах.

— Тебя, конечно, выручал, — ведь он любил тебя, — возразила Фульвия, с завистью поглядывая на Клодию, не утратившую еще красоты. — О, если бы жил Катулл! Он написал бы гимн твоему телу и назвал бы тебя не Лесбией, а Афродитой!..

— Зато у нас есть Вергилий, — прервала Киферида, и на лице ее выступила

улыбка. — Он вздумал стать предсказателем, наделенным самим Аполлоном даром предвидения, и написал IV эклогу об обновлении мира, о чудесных временах, наступающих в республике.

Глаза Фульвии округлились от возмущения:

— Этот глупец пишет о чудесных временах после Перузии — слышишь, Клодия? Пусть будут прокляты льстецы и продажные люди!

Клодия пожала плечами.

— Не гневайся за меня за правду. Совсем недавно тебя окружали льстецы, лизоблюды, друзья и подруги, а где они? Все отвернулись от тебя, ибо знают, что Марк Антоний связался с Клеопатрой, а Октавиан пренебрег тобою и выгнал твою дочь, свою жену...

— Не напоминай мне о позоре, — простонала Фульзия. — О, если б я была красива, как ты или Киферида! Но увы! Красоту уничтожает время или портит болезнь. Я постарела — сколько седых волос! А морщины, а дряблое тело!.. Нет, никто не даст за мое тело и сестерция! А ты, — обратилась она к Клодии, — заработала, говорят, много на любовных делах с Лепидом... Сколько?

— И ты веришь мерзким слухам? — неуверенно вымолвила Клодия. — О Венера, как доверчивы вообще женщины! — И подумала: «От кого она могла узнать о моей связи с Лепидом? А завидует, как будто я много от него получила — сто тысяч сестерциев! Для нищей, конечно, много, а для женщины, увековеченной Катуллом, — лишь подачка!»

Фульвия настаивала:

— Не скромничай, ради Венеры! От меня ничего не скроешь. Завтра я узнаю, сколько выплатил тебе аргентарий Лепида...

— Если хочешь знать, — дерзко сказала Клодия, — то значительно меньше, чем получала в свое время Киферида от твоего супруга.

Фульвия побледнела. На одно мгновение ей пришлось в голову вцепиться Клодии в волосы, исцарапать ее лицо, но она овладела собою.

— Марк Антоний жалел, что тратил, будучи пьян, на простибул. Слава богам, что он отвязался от них! Теперь он...

— ...теперь он без ума от египетской царицы, которая стоит в сто раз дороже, — перебила Киферида, — и я не удивлюсь, если он пришлет тебе разводную...

Фульвия вскочила и, обозвав обеих подруг грубыми словами, выбежала на улицу.

Куда было идти? Она подумала и направилась к дому Аттика.

Аттик владел большим состоянием и, давая деньги всем без отказа, жил скромно, занятый изданием книг. Дело было прибыльное. Он уверял, что выпускает книги не ради выгоды, а потому, что любит литературу; издание же сочинений Цицерона считал обязанностью по отношению к погибшему другу.

Незнатная, некрасивая жена его, тихая и покорная, ни в чем не перечила мужу, и, когда он однажды объявил, что молодой Агриппа заглядывается на дочь, жена не удивилась, только спросила девушку, нравится ли ей Агриппа.

Да, Агриппа нравился, но, встречаясь с ней, о любви не говорил. А девушка ждала, когда он, наконец, посватается и она переедет в его дом, находившийся на Палатине, и станет знатной, всеми уважаемой матроной.

Аттик тщательно следил за изданием книг. Несколько декурий сcribes работали дни и ночи, четко выводя под диктовку образованных декурионов латинские письма: они писали прекрасным почерком, без помарок, на дорогих и дешевых

пергаментов. Потом исписанные листы посылались в обделочный дом, где рабы изготовляли различной стоимости переплеты — из дерева и свиной кожи.

Аттик был занят просмотром рукописи, полученной несколько дней назад от Клодии. Это были стихи Катутла, которые влюбленный поэт посвятил своей возлюбленной, когда ухаживал за нею. Аттик давно знал, что у Клодии есть стихи Катутла, но хитрая Клодия, его любовница, отдаляла каждый раз срок передачи их, ссылаясь на то, что они затерялись. А после разрыва с ней о получении стихов не могло быть и речи. И только бедность, заглянувшая в дом Клодии, вынудила ее навестить бывшего любовника и продать несколько стихотворений за пятьдесят тысяч сестерциев.

Аттик просматривал рукопись, покачивая головой: он нашел много погрешностей — местами слог был необработан, несколько неудачных эпитетов, кое-где длинноты.

Кликнув раба, он приказал переделать стихи по своим указаниям. Грек оказался не менее образованным, чем Аттик; он стал доказывать, ссылаясь на эллинских поэтов, что эпитеты хороши. Аттику пришлось согласиться. Уступил он рабу и в длиннотах, но слог, действительно, был кое-где небрежен, и Аттик настоял на переделке.

Невольница доложила:

— Некая матрона спрашивает господина...

Нетерпеливо передернув плечом, Аттик прошел в атриум.

— Клянусь Юпитером! — вскричал он, узнав Фульвию. — Само счастье заглянуло, подобно солнцу в сумрачный дом старика. Сядь, прошу тебя, здесь... — Разве можно называть счастьем несчастье? — возразила Фульвия. — Кредиторы все отняли, а меня выгнали на улицу. Я стала нищей. О боги! Я не могу даже покинуть Италию, потому что у меня нет денег. Я должна погибать вдали от мужа...

Аттик стал уверять, что сочувствует ей от всего сердца. Называя Октавиана глупым мальчишкой, он говорил, что не следует обращать внимания на его выходки.

— Хочешь, я поговорю с Агриппой, и он уладит все дело?

— Нет, господин, лучше дай мне возможность отправиться к супругу...

— Конечно, конечно, — поспешил он поддержать ее мысль и тут же добавил: — Если ты твердо уверена в нем, то поезжай, если же...

— Неужели грязные слухи дошли и до тебя?

— Как же мне не знать их, когда они известны всему Риму?

Фульвия вздохнула.

— Надеюсь на богов и на тебя, я все же думаю поехать в Элладу...

— Я дам тебе денег. Милихий! — крикнул он писцу, появившемуся в дверях: — возьми стил и табличку, пиши: «Выдать госпоже Фульвии, супруге проконсула и триумвира Марка Антония, сто тысяч сестерциев». — Он обратился к госте: — Этих денег хватит тебе с излишком, чтобы попасть, куда захочешь.

Получив навощенную дощечку, Фульвия принялась благодарить Аттика. Впервые в своей жизни эта бессердечная и жестокая женщина, прослезилась, сжимая руки старика:

— Во всем Риме нашелся один человек, согласившийся мне помочь, — это ты. Пусть же милость и щедроты богов будут вечно на тебе и на твоих родных...

Халидония жила в габийской вилле, изредка наезжая в Рим. Ока видалась с Лепидом, чтобы узнавать от него об Антонии. А там, где Антоний, должен быть и Эрос; вольноотпущенник не покидал ни на шаг своего господина.

Беседуя однажды с Депидом, Халидония узнала, что Антоний, живший в Александрии, внезапно отплыл из Египта в Тир во главе кораблей, затем отправился, через Кипр и Родос в Азию, а оттуда — в Грецию собирать войска. Причиной его отъезда из Александрии было вторжение в Сирию парфян под предводительством царевича Пакора.

— Все это осталось в прошлом, известия о нем запаздывают, — говорил Лепид, — Сегодня я получил письмо из Эфеса, Антоний пишет, что пока он собирал легионы, парфы заняли Сирию и Финикию, начали завоевывать Палестину и Киликию. Лишь теперь он узнал от беглецов о падении Перузии, бегстве из Рима Фульвии и Планка, бросившего свои легионы. Он благодарен Сексту Помпею, который приютил его мать и многих сторонников жены и брата. Слушай, что он пишет:

«Я мечтаю о продолжении дела Юлия Цезаря — о большой войне с парфами. И теперь, когда я занят столь важным делом, Фульвия зовет меня в Грецию. Она прибыла в Афины и ждет меня. Увы! Я понимаю, что опоздал, не вняв ее призывам немедленно возвратиться в Италию, — момент упущен, и проклятый мужеложец остается господином Рима, Но пусть трепещет кровавый жрец, уподобившийся дикому зверю под Перузией! Завоевание парфянского царства отдаст в мои руки богатые земли и несметные сокровища Азии, я стану владыкой Востока и подчиню себе Рим.

Только что получил письмо от Фульвии. Она будет ждать меня в Афинах. Я твердо решил отплыть в Грецию, а оттуда, может быть, в Италию».

Халидония захлопала в ладоши и спросила Лепида, нельзя ли ей отправиться в Афины (она соскучилась по мужу), Однако триумвир холодно сказал:

— Если хочешь попасть в плен к пиратам и стать наложницей Менаса — поезжай...

Она испугалась. В плен к пиратам? Нет, она соглашалась ждать мужа хотя бы еще целый год, лишь бы не переживать таких ужасов.

Возвратившись в виллу, Халидония задумалась. Перед ее глазами стояли Антоний, Фульвия и Эрос; она испытывала чувство неприязни к Антонию, бросившему ее как ненужную вещь, ненависть к Фульвии, издевавшейся над ней, и нежность к Эросу, который, женившись, относился к ней по-человечески. И она стала ждать прибытия мужа, считая часы, дни, недели.

Жизнь в стороне от столицы была гораздо проще. Здесь Халидония не испытывала такого страха, как в городе, — там продолжал неистовствовать Октавиан, прозванный палачом: казни плебеев, вольноотпущенников и чужеземцев расширились; необузданное распутство триумвира вызывало ужас матрон, а оставшимся в городе угрожало осквернение. Понравившиеся матроны приводились силою в дом Октавиана и должны были делить с ним ложе. Всюду говорили, что Октавиан боится Секста, а еще больше мести Антония за Фульвию и заискивает перед его матерью, Юлией, опасаясь союза Антония с Помпеем.

Слухи были правдивы, Октавиан, действительно, дрожал перед Антонием и Секстом: Антоний пользовался авторитетом среди ветеранов, Помпей — любовью

народа как республиканец, а он, Октавиан, всеобщей ненавистью. Подозрительность молодого Цезаря возрастала с каждым днем, даже Агриппа стал бояться за свою жизнь и был настороже.

Обо всем этом Халидония узнала от Лепида во время второй встречи с ним. Лепид ждал Антония с нетерпением.

— Теперь Октавиан заискивает перед ветеранами, раздает им земли, делает подарки, — говорил триумвир, взволнованно шагая по атриуму. — Он придрался к жителям Нурсии за то, что они поставили памятник защитникам города с надписью: «Умерли за свободу», и отнял у них земли. Возмутив легионы Антония, покинутые Планком, он неудачно пытался подкупить Калена, Вентидия Басса и Азиния Поллиона...

Халидония не разбиралась в государственных делах, и речи Лепида мало ее трогали. Она ждала, когда триумвир скажет, наконец, о прибытии Антония. Но Лепид и сам ничего не знал, он сообщил только, что Антоний высадился в Афинах, где застал Фульвию.

— Нужно ждать, ждать и ждать, — сказал Лепид. Вечером Халидония послала Эросу отчаянное письмо, умоляя его приехать.

«Я истомилась, — писала она, — боги не внемлют молям, а я не перестаю просить их о нашем свидании. Я готова наложить на себя руки, если ты не сжалишься надо мною. Отпросись у нашего господина хотя бы на короткое время, скажи ему, что неотложные дела заставляют известную ему Халидонию просить супруга прибыть в Рим. И я думаю, что господин из любви к тебе и по своей доброте не откажет нам в этой милости».

Вскоре пришло ответное письмо:

«Еду в Рим по делам господина нашего, проконсула и триумвира. Заодно побываю у тебя, жена, посмотрю, как ты ведешь хозяйство и много ли прибыли извлекла ты от продажи меда, вина и оливок».

Прочитав письмо, Халидония позвала виллика и повелела приготовить полный отчет о хозяйственных делах, а сама, запершись в спальне, открыла ларец и принялась считать динарии.

XI

Когда Антоний приближался к Италии, а Секст Помпей готовился напасть на ее берега, в Риме возникли слухи о переговорах Секста с Антонием, направленных против Октавиана. Триумвир не мог спокойно спать и постоянно советовался с Агриппой и друзьями.

Однажды он созвал их и, обрисовав тяжелое положение, спросил:

— Что делать? Жду от вас мудрых указаний.

Учитель Афинодор из Тарса советовал просить Помпея о мире через Муцию, мать Секста; Меценат, хвалившийся происхождением своим от этрусских царей и в шутку называемый «царем», предлагал Октавиану как единственный выход — брак со Скрибонией, дочерью Люция Скрибония Либона, несмотря на то, что она была значительно старше Октавиана и успела побывать женой двух консулов. Сестра ее была замужем за Секстом Помпеем, и Меценат считал, что родственные отношения

удержат Секста от враждебных действий. Молчал один Агриппа.

Октавиан взглянул на него:

— Ты не одобряешь советов учителя и царя? Или у тебя есть свой совет?

— Ты предпочитаешь, союз с Секстом; унижению перед Антонием и Фульвией? Не знаю, что лучше. Ты давно уже видишь, что мир тесен для сына Цезаря и сына Помпея. Если ты не отказался от войны с Секстом, та зачем союз с ним? И я спрашиваю себя, не хитрость ли это.

— И, отвечаешь себе... — шепотом вымолвил Октавиан вставая с кресла.

— И отвечаю себе,, — бесстрашно продолжал Агриппа — что лучше унижение, чем. такого рода хитрость, тем более, что не есть ли унижение совет Афинодора и подлостью — совет Мецената?

Афинодор покачивал седой головой, а Меценат поглаживал выдающийся подбородок. Оба — грек и римлянин — недолюбливали Агриппу за откровенность, и резкость суждений,, считал его выскочкой,, но Октавиан был иного мнения об Агриппе: он ценил его как лучшего друга и одаренного полководца, втайне признавая себя значительно ниже Агриппы.

«Если бы не он, — думал Октавиан об Агриппе, — я не достиг бы того, чего достиг. Разве Агриппа не согласился защищать Италию от нападения Секста,, когда после смерти Калена я отправился в Галлию, чтобы привлечь на свою сторону легионы, оставшиеся без вождя? Тогда Агриппа был прав и неправ: прав, отговаривая от посредничества Муции (Помпей отказался вести переговоры), и неправ, отговаривая от брака, со Скрибонией».

Считая, что женитьба на Скрибонии воспрепятствует союзу Антония, с Секстом, Октавиан приказал Меценату отправиться, к Либону.

— Скажешь ему так: Гай Юлий Октавиан Цезарь, плененный прелестями твоей дочери Скрибонии, желает на ней жениться. Если ты, благородный Люций Скрибоний, согласен, то Цезарь поторопится со свадьбой.

— Вот мудрое решение! — вскричал Меценат, весело оглядев Агриппу и Афинодора. — Тем более мудрое, — добавил он, обращаясь к Агриппе, — что ты, Марк Випсаний, отговаривал нашего вождя от этого шага.

— Кто останется в дураках — покажет будущее, — возразил Агриппа. — Если наш господин разведется когда-нибудь со Скрибонией, то не возьмешь ли ты, царь, обязательства жениться на ней?

Меценат растерянно молчал.

— Это было бы для тебя хорошим уроком, — продолжал Агриппа, — впредь не давать дурных советов.

Меценат овладел собою. — Понимаю, ты хочешь опорочить меня, выслужиться перед нашим господином. Цезарь видит тебя насквозь и удивляется -твоей наглости. Я плюю на твой вызов, Марк Випсаний, а еще -больше на твою лицемерную лесть... О боги! Как непорчен наш век!

Он сказал бы больше, если бы Октавиан не прервал его, приказав немедленно отправиться в Либону.

События следовали одно за другим: брак Октавиана с развратной Скрибонией, вызвавший насмешки всего Рима, — союз Антония с Секстом Помнеем, внезапная смерть Люция Антония, отравленного, но слухам, по приказанию Октавиана. Но самым большим событием было нападение Антония в союзе с Секстом на Италию.

Фульвия, переехавшая в Оикион, жаждала мести. Гонцы, прибывавшие из

Италии, привозили радостные известия:

— Антоний взял Сипонт, осаждают Брундизий.

— Помпей высадился в Лукании, осадил Консентию... — Менас завоевывает Сардинию.

Однако радость известий о победах омрачалась болезнью со время пребывания в Афинах Фульвия почувствовала- упадок сил и частые головокружения. Вызванные врачи предписали ей строгую диету, запретили пить вино, а один из них имел неосторожность намекнуть, что причина болезни — любовные излишества.

— Что? — вскочила с ложа Фульвия. — Повтори, что посмел выговорить твой блудливый язык, — говорила она, схватив врача за бороду и осыпая его пощечинами. — Повтори. Врач упал на колени.

— Если я ошибся, то прости раба твоего! — вопил он больше со страха, чем от боли. — Меня, видно, обманули признаки, и я готов отказаться от своих слов!

Когда врачи ушли, Фульвия позвала трех юношей, велела подать вина и фруктов, пила с ними вею ночь, а затем улеглась спать. Юноши, проснувшись в полдень, нашли госпожу в беспамятстве. Были вызваны врачи, и тот из них, которого она таскала за бороду и била, громко объявил:

— Нет, я не ошибся. Вино и любовные утехы сведут ее в могилу... О боги, беспечность и глупость, непослушание и упрямство приводят нередко к смерти.

Фульвии пустили кровь, вливали в рот лекарства, растирали холодевшие руки и ноги. Не приходя в сознание, она скончалась.

XII

Смерть Фульвии примирила триумвиров. Представители их Азиний Поллион и Меценат выработали во время переговоров условия нового раздела римской республики. Так был подписан Брундизийский договор. Антоний получил восточные провинции, Грецию, Македонию, Азию, Вифинию, Сирию, Киренаику, Октавиан — западные провинции, включая Иллирию и Далматию, Нарбонскую и Цизальпинскую Галлии, а Лепид — Африку. Антоний, начальствуя над девятнадцатью легионами, получил право производить наборы войск в Италии, но должен был отказаться от союза с Секстом Помпеем; у Октавиана было шестнадцать легионов, а у Лепида — шесть.

Подписывая договор, Октавиан был весел. А потом шалил и дурачился, как малолетний школьник, которого публично похвалил учитель и выдал награду. Глядя на него, друзья пожимали плечами.

«Чего он радуется? — думал Агриппа. — Брак со Скрибонией оказался, как я предсказывал, ошибкой. Жена не способствовала миру, а осталась в стороне, как зрительница. Обошлось, слава богам, без нее. А что выиграл Октавиан — ведомо только ему, жене да богам!»

Меценату пришлось переменить мнение:

«Больше всех он боялся Фульвию, а теперь, когда она платит Харону за перевозку через Стикс, когда Антоний согласился на мир, — все ему кажется хорошо. Весь мир в его глазах приобрел безупречные формы, исполнен гармонии и совершенства. А в сущности, чего достиг Октавиан? Женился... Пожалуй, прав был Агриппа... Но что

сделано, то сделано».

«Не преждевременна ли его радость? — размышлял Афинодор. — Получить Запад не значит еще быть господином Запада. Нужно опираться на народ, а римляне, рабы и чужеземцы ненавидят триумвира, величают палачом. Чем же он привлечет плебс на свою сторону? Обещаниями благ, громкими победами, даровой раздачей хлеба и масла и даровыми зрелищами, может быть, возможно даже добиться на время его расположения, но заслужить любовь трудно: нужно или переродиться, или стать бессовестным демагогом... Я говорил ему об этом...»

Спустя несколько дней Афинодор зашел к Октавиану. В таблинуме находились самые близкие друзья Цезаря. Они беседовали, но когда вошел Афинодор, замолчали.

— Пусть наш спор разрешит любимый учитель, — сказал Октавиан, идя навстречу Афинодору. — Как думаешь, учитель, не пора ли мне подумать о войне?

— О войне? Ты шутишь, Цезарь! Для того, чтобы воевать, нужны большие силы, огромные средства, любовь народа, расположение общества... А есть ли все это у тебя? Обеспечен ли тыл? Ведь внутренний враг опаснее внешнего...

— Подумать о войне можно, а готовиться к ней должно, — перебил Агриппа, — только меня занимает вопрос, против кого замышляешь ты войну? Ведь недавно ты заключил мир...

Говоря так, Агриппа лукавил: он знал, на кого намекал Октавиан.

— Неужели ты успел забыть наши беседы?

— Каждое твое слово, как малейшая черточка лица, высечено резцом ваятеля в моем сердце.

— Тяжеловесная риторика, — тихо пробормотал Меценат, но достаточно громко, чтобы мог услышать Агриппа.

— Да, риторика, но правдивая, а не лживая, какой ты, царь, привык пользоваться, — так же тихо ответил Агриппа и повернулся к Октавиану. — Ты, очевидно, намекаешь, Цезарь, на Секста Помпея, но тогда для всех нас непонятна твоя политика: ты породнился с ним, чтобы избежать войны, а теперь стремишься к тому, чтобы родство твое стало причиной войны... Я предупреждал тебя...

— Молчать! — бешено крикнул Октавиан и ударил кулаком по столу. — Мне надоело твое глупое красноречие с рассуждениями о подлости и унижении!..

Агриппа молча встал и направился к двери.

— Подожди. Твой обиженный вид меня только раздражает, — кричал Октавиан. — Ты мне надоел! Ты...

Агриппа остановился.

— Если тебе, Цезарь, я надоел, то позволь мне оставить тебя. Меня вполне заменят Меценат, Афинодор и другие. Прощай.

И, хлопнув дверью, он поспешно вышел.

Октавиан вскочил и выбежал за ним. Слышно было, как он что-то говорил прерывистым голосом, и вдруг его слова ворвались в таблинум:

— ...я умоляю тебя, Марк, о прощении. Я несправедлив, резок и груб, как погонщик мулов... Хочешь, я поцелую тебя, Марк? Не сердись же, прошу тебя... Боги наградили меня дурным нравом, и я не виноват, что злой демон нарушает автараксию, нанося ущерб окружающим...

Агриппа возражал, потом все утихло. Меценат сидел с презрительной улыбкой на губах, Афинодор — опустив голову. Обоим было стыдно за Октавиана. Наконец на пороге появился триумвир, ведя за руку упиравшегося Агриппу.

— Садись, садись, — говорил Октавиан, не замечая опущенных глаз друзей. — Я тебя ценю и люблю больше всех, Марк Випсаний, и оттого, может быть, придираюсь... Я хочу, чтобы ты стал лучшим..

— Что я? — пожал плечами Агриппа. — Лучше позаботься, Цезарь, о себе, если не желаешь быть покинутым друзьями и ветеранами...

Дерзкие речи друга больно задевали Октавиана. Сдерживаясь, он сказал с деланным смехом:

— Необходимо готовиться к войне с Секстом Помпеем. Сын оказался упрямее своего отца. Я не успокоюсь, пока не уничтожу его. Двух владык на Западе быть не может!

— Хорошо. Но скажи, верно ли, что ветераны требуют от Антония брака с Октавией?

— Да, сестра моя недавно овдовела; она осталась с малолетним сыном на руках, и предложение Антония, которого она не раз встречала в обществе, взволновало ее. Она говорит, что благодарна ему за то, что он берет ее в свой дом с сыном, и никогда не упрекнет его ни в чем, как жена может упрекнуть мужа; а вчера сказала мне, что знает о связи Антония с египетской царицей, но это ее не касается, она просит Антония уделить ей только немного внимания и, если возможно, столько же любви.

— Какая прекрасная матрона твоя сестра! — искренно воскликнул Агриппа.

Афинодор перебил его:

— Восточному царю трудно будет стать снова римлянином, тем более что Антоний окружен наложницами, евнухами, юношами. Любовь к наслаждениям, когда они доступны, засасывает человека. А высшее наслаждение для Антония не тело Клеопатры (оно более или менее одинаково у всех женщин), а чары любви, которые состоят из способов, умения, я бы сказал, искусства опутать мужа, лишить его воли, подчинить себе, поработить. И, если Антоний не устоит перед египтянкой, он погиб как проконсул, как полководец и, наконец, как муж.

— По-твоему, Октавия будет несчастна с ним? — спросил Октавиан.

— Это известно одним богам, — уклончиво ответил грек, — но поскольку матрона готова удовлетвориться малым — «немного внимания и столько же любви», как ты сказал, Цезарь, то она не будет жаловаться на свою судьбу.

— Ты хочешь сказать, что это полусчастливый брак... Вмешался Агриппа.

— Мне кажется, — вымолвил он, запинаясь, — что благородный учитель напрасно чернит Антония. Верно, он любит девушек и Женщин... А скажите, друзья, — оживляясь, обратился он к Октавиану и Меценату, — кто их не любит? Может быть, ты, учитель? (Октавиан и Меценат сдержали улыбки.) О, нет, и тебя подчинит себе Эрос, если нагая девчонка сядет к тебе на колени!

— Что ты говоришь? — с возмущением вскричал старик, затыкая пальцами уши. — Мне ли в мои годы уподобляться легкомысленным юношам или похотливым мужам?

Октавиан подмигнул Меценату, и тот сказал со смехом в голосе:

— А помнишь, досточтимый учитель, как ты прятался от дождя в шалаше пастушки?

Это был случай, напоминание о котором приводило старика в сильное раздражение. Все знали, что Афинодор не позволил себе ничего с пастушкой, даже не обнял ее, а шутки друзей долго преследовали старика. Потом об этом случае забыли. Теперь же Меценат разгребал золу и искал угольков, а может быть, даже черных углей

позора.

— Если я и прятался, то без всяких намерений, — резко ответил Афинодор, и крючковатый нос его сморщился. — Ты же лучше помолчи, иначе я напомню тебе о майском вечере и венках, бросаемых некими девами в Тибр...

Меценат покраснел и бросился к двери, но Октавиан со смехом схватил его за полу тоги и усадил рядом с собою.

— Мир, мир! как кричал некогда Брут, — сказал он. — А теперь, друзья, что нам делать? Не пойти ли к Антонию? Он умеет веселиться, любит логогрифы и всевозможные загадки.

— К Антонию? — удивился Агриппа. — Разве он дома? Он ухаживает...

— Я и забыл, что он без ума от моей сестры. Но все же пойдём. О, Венера, перенеси любовь его с Клеопатры на Октавию! О, Геката, избавь его от чар, которыми околдовала его египтянка, а самое Клеопатру лиши умения пленять мужей и подчинять их себе!..

— Да будет услышана твоя молитва, — хором сказали друзья, следуя за Октавианом.

ХІІІ

Прибыв в город Ромула со своим господином, вольноотпущенник Эрос немедленно отправился в Габии. Это было ночью. Цепные собаки, разбуженные топотом коня, залились тревожным лаем. Эрос стучал в ворота и громкими криками сзывал рабов.

Узнав по голосу хозяина, полуодетые невольники выскочили из эргастулы. Проснулась и Халидоия. Повелев рабыне узнать о причине шума, она вдруг слышала знакомые шаги и, сомневаясь, не веря себе, вскочила, заметалась, стала быстро одеваться. Она не успела надеть и хитона, как Эрос появился на пороге. Позади него стояла невольница со светильней в руке.

— Ты?.. — пролепетала Халидония, роняя хитон и бросаясь к мужу. — О боги!..

Она не могла говорить.

Обнимая ее, Эрос говорил о тоске по ней, о приезде в Рим несколько дней назад и еще что-то. Она уже не слушала, приказывая рабьям подавать в атриум кушанья, нести вино.

— Может быть, вскипятить кальду? — спрашивала она, заглядывая мужу в глаза. — Бегите, девушки, скорее!..

...Светало, пели петухи, а они все беседовали. Эрос рассказывал о Египте, об Антонии и Клеопатре, о намерении его жениться на Октавии. Халидония, удивляясь легкомыслию триумвира, вскрикивала.

— Мы, маленькие люди, плохо понимаем, зачем то или иное действие совершают магистраты, — сказал Эрос. — Я знаю одно — наш господин женится на Октавии не по любви...

— Я говорила тебе, что он непостоянен: сегодня любит одну, а завтра другую. Им овладевает не добрая и кроткая женщина, а сильная, властолюбивая. Такая удержит его при себе, сделает безвольным, поработит его душу.

Эрос задумался. Подобные мысли приходили ему не раз в голову в Александрии,

когда Антоний жил во дворце Птолемеев, проводя время с Клеопатрой в наслаждениях и празднествах.

— Да, втайне от царицы он не брезгал рабынями и красивыми египтянками, а ведь если бы она узнала об этом — гнев ее был бы страшен! Я видел, как она выкалывала глаза провинившимся невольницам, убивала служанок ударом кинжала в сердце.

— Ты возмущаешься жестокостью варваров, а разве римляне — не варвары? — говорила Халидония. — Посмотрел бы ты на надругательства Октавиана над женщинами! На улицах хватали понравившихся ему девочек и матрон и отводили в его спальню, некоторые из них не вынесли насилия и кончили самоубийством. Лепид говорил, что если так будет продолжаться, то скоро в Риме не будет девственниц, даже весталкам придется стать матерями.

Эрос пытливо взглянул на Халидонию.

— А зачем ты ходила к Лепиду?

— Наезжая в Рим, я часто заходила к нему, чтобы узнать новости об Антонии, — простодушно ответила она, — а так как ты всегда при триумвире, то...

Эрос отодвинулся от нее.

— Глупый! — рассмеялась Халидония. — Став твоей женой, я поняла, что лучше тебя нет человека в мире: ты добр, справедлив и заботишься о подчиненных тебе людях. Ты полюбил меня, и я стала верной твоей рабыней до самой смерти.

— Все женщины говорят так, — нахмурился Эрос. — Поклянись Феронией, что ты не лжешь!

— Клянусь! — торжественно выговорила Халидония и, смеясь, добавила: — Твоя боязнь за меня наполняет сердце мое гордостью и счастьем, — она служит доказательством, что ты не разлюбил меня!

Осматривая на другой день виллу, Эрос приказал виллику созвать колонов, дольщиков, мерценариев и батраков-должников. Все они были свободнорожденные, и вольноотпущенник обращался с ними мягко, учитывая, что опасно греку раздражать римлян. И все же он напомнил колонам, которые арендовали у него земли, что срок уплаты по договорам¹⁵ приближается.

— Мерседоний торопится, — пошутил Эрос, — а кто забывает о нем, IX месяце, тот нерадивый работник.

Обратившись к дольщикам, которые, будучи некогда арендаторами, не уплатили денег в срок по договору и потому были переведены под надзор виллика (он должен был следить за их работой и вести учет урожаям и собираемым плодам), Эрос спросил:

— Хорошо ли идут ваши дела?

— Неплохо, — ответил старик, опиравшийся на лопату, — да унижительно нам, свободным земледельцам, быть под надзором раба, — указал он глазами на виллика. — Не пора ли, господин, перевести нас в колонны? Тебе должно быть, известно, отчего мы стали дольщиками?

— Потому что нарушили договор.

— А отчего нарушили? Да потому, что у нас был пожар, хижины сгорели, нужно было строить новые (зима наступала), а виллик не хотел подождать с уплатой.

— Правда это? — повернулся Эрос к виллику, бледному, худощавому рабу с большими, слезящимися глазами.

¹⁵ Leges colonicae.

— Да, гоподин. Вспомни, что тебе тогда понадобились деньги, — ты уезжал в Азию с триумвиром Марком Антонием, и я принужден был собрать деньги к назначенному тобой дню...

Эрос оглядел дольщиков.

— А где живут ваши семьи?

— Став дольщиками, мы успели построить хижины, обзавестись птицей и свиньями.

— Хорошо. После Мерцедония вы станете опять колонами, с вами будут заключены договоры.

Дольщики хором благодарили его за милость, а старик с лопатой сказал, выпрямившись:

— Ты добр, господин наш, и снисходителен. Будь же таким и впредь... Его обступили Обаerati,¹⁶ получавшие плату натурой, и наемные батраки-должники, малоземельные хлебопашцы. Первые просили увеличить плату за труд, вторые — сбавить долги.

— Мы бьемся-бьемся, — говорили они, — работаем от восхода до заката, а семьи наши голодают. Будь милостив, господин, к беднякам!

— Госпожа обещала попросить тебя за нас.

— Она навестила наши семьи и йЪкляЗхась Юноной! Эрос послал раба за Халидонией и, когда она пришла, спросил ее:

— Ты обещала улучшить положение батраков?

— Обещала, — подтвердила Халидония. — Они живут, муж мой, очень плохо, и я...

Он не дал договорить ей и обратился к батракам:

— Что обещано госпожой — обещано мною. Прибавка одним и сбавка другим будут сделаны на одну треть.

Не слушая восклицаний благодарности, Эрос обошел декурии ремесленников, пахарей, виноградарей и пастухов, потребовав от сопровождавшего его виллика указывать на самых трудолюбивых рабов. Собрав их, он выделил каждому невольнику пекулий и несколько голов скота.

— Постарайтесь, чтоб эти неплодородные участки давали хороший урожай, — говорил он, — а удобрение — мое, — И обратился к виллику: — Мергеля у нас достаточно?

— Более чем нужно, — поклонившись, ответил виллик. — Господин может сам взглянуть на запасы мергеля, птичьего помета и других видов удобрения. Из иных запасов ты увидишь амфоры, наполненные вином и маслом, жирные окорока в копильнях, бочки меду на пчельнике...

— Хорошо, — перебил Эрос — Я вижу твое старание и благодарю тебя за службу. Проси, чего хочешь...

— Я не решаюсь, господин, — сказал виллик, целуя его руку.

— Я отпускаю тебя на волю и дарю тебе поле возле леса и домик, расположенный у пасеки...

Халидония толкнула его локтем.

Виллик упал на колени, схватив руку Эроса.

— Господин мой...

¹⁶ Батраки-мерценарии.

— Встань. Не забывай, что я только вольноотпущенник и был, как и ты, рабом.

Халидония, удивленная щедростью мужа, забросала его дома вопросами:

— Что с тобою? Почему ты даровал им столько милостей? Подумал ли ты, что мы пообедем? А ты обещал мне хорошую жизнь, богатство и радости!

В ее восклицании послышался упрек, и Эрос нахмурился.

— Да ведь ты, жена, сама надавала им обещаний!

— Я не думала, что ты так расщедришься!

— Лучше дать больше, чем недодать!

— Воображаю, сколько бы ты отдал этому рабу, если бы я во-время не удержала тебя!

Эрос встал.

— Перестанешь ли ты? — запальчиво крикнул он. — Мне надоели, женщина, твои глупые причитания! Вспомни, что мы оба были рабами — ты да я! А тебе стало жаль клочка земли и небольшой хижинки!.. Знаешь, почему я так поступаю? Во-первых, потому, что я, раб, сочувствую невольникам, считаю себя их братом, хотя и состою при особе могущественного триумвира. Я люблю Антония и уважаю за то, что он одинаково относится к рабу и вольноотпущеннику, к плебею и нобиллю...

— Ложь! Он одинаково относится к красивой невольнице и к красивой вольноотпущеннице, к миловидной плебеянке и...

— Вторая причина моих милостей — возможная продажа этой виллы. Если Антоний уедет в Александрию, там он и останется — Клеопатра не выпустит его. Это не женщина, а паучиха. А мое место при господине. Твое же, Халидония, при мне. Теперь поняла?

Халидония не верила своим ушам: продать виллу, покинуть Италию! Со страхом смотрела она на Эроса, который равнодушно говорил о потере состояния, о возможном переселении в Египет. Сперва ей показалось, что это одни предположения, но стоило только вспомнить Антония, как мечты о жизни в Италии рассеивались. Клеопатра, которую она никогда не видела, решала их судьбу, разбивала домашний уют, тихую и мерную, как всплески ручья, жизнь.

Она заплакала — слезы катились по ее щекам; всхлипывая, она утирала их руками, а слезы лились, лились. И вдруг подняла голову:

— Муж мой, прости меня... Скажи, будешь ли всегда со мною, не оставишь меня?

— Как ты думаешь — зачем я намерен продать виллу? Да затем, чтобы взять тебя с собою... Может быть, ты хочешь остаться в Италии, жить тихой деревенской жизнью? Что ж, я тебя не принуждаю ехать со мною. Но ты не должна пенять на меня, если мы не увидимся долгие годы. Господин будет воевать, потом возвратится в Египет, а там начнется мирная жизнь, пока вновь не наступит война... Я уверен, что он не вернется к Октавии.

Халидония сказала:

— Пусть будет так. Когда ты думаешь продать виллу?

— Не я буду продавать, а ты с виликом. Говорить об этом еще рано. А день отъезда в Египет неизвестен.

Лициния видела недовольство народа триумвирами. Хотя имущество во время гражданской войны было отнято у аристократов и всадников и разделено между бедняками, только крупные поместья и сокровища выдающейся знати, как, например, Помпея и Лукулла, попали в руки военных трибунов, центурионов и ветеранов, — все остальное досталось беднякам. Но в стране был произвол триумвиров, законы попирались, и популяры скорбели о родине, ставшей бесправной. Те, кто обогатился, стали гордыми, заносчивыми и чванливыми, превозносили Октавиана; многие разбогатевшие бедняки переняли у нобилей их привычки и наглое обращение с бедными.

Лициния удивлялась: содержатели таберн на больших дорогах, оружейники, продавцы металлов, недавно еще плебеи, имели виллы, покупали рабов, жили в роскоши. В муниципиях, куда Лициния ездила, чтобы вызвать беспорядки, самыми богатыми и уважаемыми были ветераны и темные дельцы, сумевшие нажиться во время кровавых войн. Зато батраки, ремесленники, торговцы и вольноотпущенники не получили ничего; они платили большие налоги, искали работу — торговля и ремесла приходили в упадок, а мелкие земледельцы, лишенные полей, становились колонами. Большинство неимущих стремилось в Рим, надеясь найти работу и зажить лучшей жизнью.

Лициния, присматривалась. Новый порядок разрушал Рим: жажда наживы любым путем (все пути считались честными), продажа рабов, проституция, всеобщая продажность... Лициния удивилась, увидев нескольких сенаторов и всадников, ставших гладиаторами.

Пораженная, она смотрела на мужей, которые некогда были магистратами, а теперь унижались перед жалкими ланистами, чтобы получить кусок хлеба.

— О, подлейшие времена в истории человечества, когда образованный гражданин с большим умственным кругозором должен подчиняться злодеям! — сказал сенатор, грубо оскорбленный ланистой за неловкий удар, который он нанес своему противнику.

— Увы, благородный друг! — вздохнул нобиль, готовясь отразить удар сенатора. — Или вовсе нет богов, на чью справедливость мы надеемся, или ход истории — дело темного случая. Но не может быть, что это так. Ты говоришь: «Подождем лучших времен». А уверен ли ты, что они наступят? Подумал ли ты, что ждать их придется, быть может, сотни лет?

— В таком случае не будем ждать и бросимся с Тарпейской скалы. Страшно? Тогда откроем себе жилы в лаватрине, и жизнь утечет незаметно...

Лициния поспешила уйти. Прежних богачей не стало, вместо них появились новые, и все лее положение неимущих не улучшилось. Почему? Она понимала, что раздача богатств и распределение земель были произведены неравномерно — больше получили те, кто ближе был к добыче, а те, кто стоял далеко, не смея протянуть Руку, удерживаемую законом, не получили ничего. Жадные руки грубо оттолкнули закон, попраный калигами, и получили, сколько хотели. А тот, кто выставил добычу на расхищение, получил больше всех.

«Нужно идти к обиженным», — подумала она и направилась к Понтию и двум-трем популярам, жившим в Субурре. На совещании было решено возбуждать народ на конциях и послать с этой же целью людей в муниципии.

На конциях Лициния говорила о благородстве и частности Секста Помпея, зная, что он любим Италией, и о бесправии граждан. — Секст Помпей, — кричала она, —

заботится о своих подданных, он освободил даже рабов...

Радостные возгласы невольников заглушили ее слова. Она видела блестящие глаза, поднятые руки, слышала восклицания: «Слава Помпею!» — и продолжала, стараясь перекрыть шум народа:

— ...А что вам дали триумвиры? Боясь Секста Помпея, Октавиан готовит против него войну, собирает деньги, рассылая эдикты о платеже налогов. Он дерет с вас на одну, а две шкуры! Римский народ, слушай мои слова! Выступи против чудовищ, прикрывшихся именем Юлия Цезаря и поработивших республику! Возьми в день ноябрьских ид статую Нептуна, предка Помпея, и носи ее — пусть конец Плебейских игр ознаменуется напоминанием всему Риму, что жив еще муж, стоящий за республику...

— Слава Помпею! — зашумела толпа. — Да здравствует сын Помпея Великого!

— Триумвиры скажут, — говорила Лициния, — что Секст Помпей морит голодом Рим. Но кто виноват в этом? Октавиан. Слышите — Октавцаи!

Подобные речи произносились и в комициях.

Лициния с нетерпением ожидала ноябрьских ид. Появление статуи Нептуна было встречено таким взрывом радости и рукоплесканий, такими восторженными криками, что Антоний и Октавиан растерялись. Они приказали не носить больше статуи Нептуна. Народ в ярости опрокинул; статуи триумвиров.

На форуме появился Октавиан и, подняв руку, собирался обратиться с речью к народу.

— Вот он, враг римского народа! — крикнула Лициния. — Бейте его.

Толпа бросилась к Октавиану. Еще мгновение — и он был бы схвачен, брошен на каменные щиты и растерзан. Но ликторы оттеснили народ, и Октавиан поспешил скрыться.

Выступил Антоний. Встреченный враждебными возгласами, он не растерялся и, пытаясь успокоить толпу, стал обвинять в тяжелом положении республики Секста Помпея:

— Он морит вас голодом, возбуждает против законной власти!..

Антония не слушали... топот, свист и крики заставили его удалиться.

XV

Антоний ухаживал за Октавией, делая вид, что добивается брака, хотя все уже было решено ветеранами и им самим с Октавианом. Сенат возражал, указывая, что теперь брак недопустим: по закону вдова может выйти замуж не раньше десяти месяцев после смерти мужа. Антоний, Октавиан и Лепид, явившись в сенат, намекнули, что малейшая оттяжка бракосочетания может навлечь большие неприятности на «отцов государства», и свадьба была разрешена.

Октавия, обаятельнейшая из римских матрон, давно нравилась Антонию. Он добивался ее любви, когда она еще была супругой Гая Марцелла, однако нравственная женщина с негодованием отвергла его притязания и на все клятвы и мольбы влюбленного консула отвечала непреклонным отказом. Среднего роста, со смеющимся ртом и затуманенными грустью глазами, она была умна, кротка и добра, — то есть, одарена качествами, пленявшими одинаково стариков, мужей и юношей, а рабы

называли ее за сострадание, теплоту и облегчение их тяжелой жизни «божественным солнцем».

Однажды вечером Антоний, сидя в саду с Октавией, говорил ей:

— Я знаю, что недостойн тебя, и ненавижу себя за свой подлый нрав. И все же я стремлюсь к тебе. Я готов целовать твои ноги, ибо знаю, что нет ни одной женщины в мире, равной тебе. Ты выше всех, ты совершенство. А я?..

Он упал на колени и, целуя край ее стопы, обнял дрогнувшие ноги матроны.

Октавия склонилась к нему и, погрузив мягкие теплые руки в его буйные волосы, взволнованно сказала:

— Каков ты ни есть — с пороками, недостатками, любовью к другой, с изменами и непостоянством, — я хочу тебя как мужа, как друга, как покровителя, как хозяина дома и отца моего ребенка. И я клянусь Марку Антонию быть верной ему до гроба!

XVI

Лициния покидала Италию со стесненным сердцем. Триумвиры отвратили от себя гнев народа и свалили его на Секста Помпея. Голод в Риме усиливался. Сенат объявил, что не в силах что-либо сделать, и указывал на посредничество Муции, матери Секста, перед непреклонным сыном, как на единственный выход. Кто-то распространил слух, что Антоний предложил вмешаться в это дело самому Либону, тестю Помпея и шурина Октавиана.

Невеселые мысли теснились в голове Лицинии. Возмущала страшная демагогия триумвиров, а несознательность и отсталость народа пугали.

Охлократия!

Это слово звучало в устах триумвиров едкой насмешкой над народовластием, твердой уверенностью в своей неуязвимости. Оно говорило об изворотливости и тонком уме демагогов, о приспособлении их к политической обстановке и об извлечении всевозможных выгод из создавшегося положения.

Лициния была уверена, что триумвиры ни перед чем не остановятся. Они временно отступят перед волей народа, притворятся поборниками его благ, а когда наступит удобный момент, сожмут кулаки с такой силой, что у людей, поддавшихся на обман, затрещат кости.

Берег Сицилии приближался. Корабль бросил якорь против Тиндариса. Лициния села в лодку и поплыла к острову. На пристани она была встречена префектом северного морского берега. Она принялась расспрашивать о Сексте Помпее, жизни в Тринакрии, о положении рабов. Префект шептал, осторожно озираясь, что Секст с некоторого времени стал управлять островами как восточный деспот: появились жестокость и подозрительность, он прислушивается к мнению Менекрата и Аполлофана, вольноотпущенников своего отца, а еще больше к мнению Менаса, как будто правитель не он, а они. Иногда им овладевает ярость, и он бьет вольноотпущенников по щекам, как последних рабов.

— Самое светлое его дело — освобождение невольников, — говорил префект, — Секст собрал девять легионов из сицилийских рабов, наше государство стало убежищем для всех угнетенных...

— Господин находится в Тиндарисе?

— Нет, он в Сиракузах и на-днях должен возвратиться.

Однако Секст прибыл на другой день, получив письмо из Рима о скором прибытии в Тиндарис матери и тестя.

Муция, седая матрона, мало напоминала прежнюю миловидную жену Помпея Великого, только теплые блестящие глаза говорили о былой мятежности чувств. Либон тоже был сед; в холодных, равнодушных глазах его угас огонь прежних лет, он двигался, как человек, но не жил, и жизнь проходила мимо него, не оказывая никакого влияния на его чувства.

Секст не высадился на берег, а принял гостей на борту корабля.

Когда Лициния поднималась на судно, она увидела Помпея и рядом с ним Менаса, который стоял, опершись на корму. На раскладных креслах сидели Муция, Либон, Скрибония и юная дочь Секста. Они горячо беседовали, уверяя в чем-то Помпея. Вместо прежнего простого и задумчивого Секста перед ней был муж величественный, недоступный, с осанкой восточного монарха. Она подходила к нему с бьющимся сердцем и остановилась, не смея прервать его беседы с родными. А он смотрел на нее, ни о чем не спрашивая.

— Привет нашему господину! — наконец вымолвила она, не обращая внимания на недовольство, изобразившееся на лице Секста, и на суровые взгляды Менаса, бросаемые на нее исподлобья. — Милостью Нептуна я вернулась из Италии.

— Подойди, — сказал Помпей, и мрачные глаза его смягчились. — Я знаю о событиях в Риме, о восстаниях народа против триумвиров...

— Я сделала все, что было возможно.

— Знаю, — повторил он. — Триумвиры слабы, они принуждены уступить общественному мнению. А Италия меня любит. Новые богачи недовольны военной диктатурой триумвиров и начинают с ними борьбу. И вот, — протянул он руку, — моя мать и тесть доказывают, что, вызывая в Италии голод, я поднимаю против себя народ... Они утверждают, что я должен пропускать хлеб, оставить в покое берега Италии, отказывать в убежище беглым рабам, уничтожить морские разбои. А взамен этого...

И Секст рассказал, мрачно посмеиваясь, что триумвиры согласны оставить ему Сицилию и Сардинию и на пять лет Пелопоннес; он будет избран консулом на семьсот двадцать первый год, зачислен в коллегию понтификов и получит семьдесят миллионов сестерциев за отнятие имущество Помпея Великого.

— Сверх того, — прервала Муция, и глаза ее с любовью остановились на сыне, — ты можешь высказать свои требования, если наши предложения находишь недостаточными.

Секст молчал.

— Меня беспокоит вопрос о беглецах и проскриптах, — вымолвил он. — Они должны быть прощены, получить отнятое имущество, а бывших рабов — моих воинов — я требую отпустить на свободу и выдать им такие же награды, какие получили легионарии триумвиров.

Лициния с удивлением смотрела на Секста.

— Мир с Октавианом и Антонием? — вскричала она. — О вождь, берегись! Это не мужи, а чудовища! Не уступай им! Не слушай советов благородной Муции и досточтимого господина Либона.

— Кто ты, дерзкая? Как смеешь порицать материнские советы сыну? — гордо сказала Муция. — Что? Молчи, иначе я... А ты, сын, почему терпишь грубые слова

этой женщины? Я не узнаю тебя, Секст Помпей Великий!

Помпей задумчиво смотрел вдаль.

— Как это море полно мятущихся волн, так и душа моя полна мятежных мыслей. Эта женщина, — указал он на Лицинию, — лучший друг, и я не позволю даже тебе, моя мать, кричать на нее!

— Кто она?

— Та, что пойдет со мной до конца, — резко выговорил Секст и повернулся к Менасу. — Твое мнение?

— Я тоже против мирных предложений. Пусть Мепекрат продолжает грабить берега Италии, а Аполлофан охраняет наш тыл. Рим, доведенный голодом до отчаяния, растерзает триумвиров...

Вмешался Либон.

— Поступи, Секст, как подсказывает тебе здравый смысл. Если бы гиганты, став победителями над Олимпом, предложили мир богам на таких условиях, сам Юпитер — клянусь его скипетром и молниями! — не отверг бы его. Обдумай и решишь. Что же касается меня, то я умоляю тебя...

Скрибония и дочь протянули с мольбой руки к Помпею. А Муция, обняв Секста, шепнула:

— Уступи, сын мой! Отечество и римляне достойны жертв даже от такого честного, справедливого и великого мужа, как ты!

Менас и Лициния не спускали глаз с Помпея.

— Отечество? — не выдержала Лициния. — Нет, не отечество, а сын Цезаря, ненавидящий сына Помпея! Если ты уступишь, господин, могущество твое будет поколеблено, и демагоги, как псы, растерзают тебя!

И все же Секст Помпей уступил.

Свидание его с триумвирами произошло на Мизенском мысе. Секст прибыл с кораблями, а Октавиан и Антоний выстроили вдоль берега свои легионы. Условия Помпея были приняты с оговоркой: беглецы получают всю недвижимость, а проскрипты лишь четвертую часть их состояния. Договор был подписан и скреплен печатями.

— А теперь будем пировать, — сказал Антоний. — Кто же первый будет угощать?

— Бросим жребий, — предложил Октавиан. Жребий пал на Секста, и Помпей предложил гостям перейти на его корабль.

На палубе под звездным небом были расставлены столы. Ночная прохлада, приятная после знойного летнего дня, особенно на море, казалось, прижималась к разгоряченным телам. Гости занимали места, предвкушая отдых и веселье.

Корабль тихо покачивался на волнах. Это было главное судно, с шестью рядами весел, на котором плавал Секст Помпей во главе своих кораблей как префект морского берега Италии, назначенный сенатом еще при жизни Цицерона.

За одним столом возлегли Секст Помрей, Скрибония, Антоний, Мессала, Октавиан, Агриппа, Лициния, Менас и Либон. За другим — Эрос, два-три военачальника, матроны. Блюда сменялись блюдами, веселая беседа не умолкала.

После обеда началась пирушка. Звенели золотые и серебряные фиалы, разбавлялось вино в кратерах, рабы вносили пыльные амфоры.

Секст, уходивший с Лицинией в самый конец судна, чтобы расспросить ее подробнее о Риме, возвратился с ней. Возлегли на ложе, он ощупал на груди гемму

Венеры и потянул вверх золотую цепь, на которой висело несколько камней: самый большой был аметист, цвета вина с фиалковым отливом (с одной стороны на нем было высечено солнце, с другой — луна), предохраняющий, по верованию, от отравы и опьянения; затем зеленый яспис-полиграмм,¹⁷ вызывающий, по утверждению волхвов, красноречие у ораторов, и черный андродамант, укрощающий гнев и другие страсти.

— Что же плясуны? — спросил Помпей, обращаясь к вольноотпущенникам, которые растирали в порошок черный камень Дирниса и смешивали его с водой — средство от опьянения.

Середина палубы была освобождена от столов, пол устлан пестрым ковром. Из-за паруса выбежала девушка-египтянка с систром в руке. На груди и вокруг бедер у нее была белая повязка, черные волосы распущены. Темные продолговатые глаза, таинственные и как бы бесстрастные, походили на изображение иероглифа. Антоний смотрел с любопытством, как она переступала большими ступнями, изредка бросая на него взгляды: она кружилась на цыпочках, быстро садилась, разбросав ноги в одну линию, ходила на руках, хватала пальцами ног со стола кубки и выпивала из них вино... И вдруг вскочила и закружилась, звеня систром, — повязки с грудей и бедер упали, и смугло-бронзовое тело, гибкое, стройное и легкое, медленно закачалось под восторженные крики мужей. А египтянка, как бы не замечая похвал, приблизилась, покачивая бедрами, к Сексту и сказала ломаным римским языком:

— Что прикажешь еще, Великий?

Прежде чем Секст успел ответить, Антоний ухватил ее поперек туловища, посадил рядом с собой на ложе. Угощая ее вином, он что-то шептал. Девушка смеялась, блестя загадочными глазами.

— Не умеешь ли ты предсказывать? — спросил Октавиан.

— Нет, господин. Помпей привстал:

— Позвать астрологов и халдеев.

Вошли прорицатели. Выслушав приказание, самый старший, белобородый заговорил по-гречески, низко поклонившись Октавиану:

— Господин мой, в Риме я уже предсказывал о тебе твоей благословенной богами матери, когда она была беременна тобою...

— Что же ты предсказал, мудрец? — не скрывая насмешки, медленно вымолвил Октавиан, дурно владевший греческим языком.

— Ты родился под знаком рыб, — невозмутимо ответил астролог. — И я сказал твоей матери и записал на память ей на табличке то, что прочитал в созвездии рыб. А записал я так: «Mulier viro dormienti caput securi am-putat».¹⁸ И, когда твоя мать, благословенная богами, спросила, что это значит, я ответил: «Nascetur homicida magnus».¹⁹

Октавиан нахмурился.

— Лгать и поносить триумвира нет ничего легче, слышишь, раб? — крикнул он. — Но если ты, действительно, волшебник, скажи, как я умру? На войне или от

¹⁷ Многогранный.

¹⁸ Женщина спящему мужу отрубает голову секирою.

¹⁹ Родится великий человекоубийца.

руки убийцы?

Астролог побледнел, однако не смутился.

— Господин мой, я не знал твоего вопроса и не смотрел на небо. Если тебе угодно, я завтра же найду созвездие рыб и прослежу твою жизнь до самого предела.

— Я вижу тебя насквозь и потому не желаю ждать. Может быть, вы, — повернулся он к халдеям, — ответите на мой вопрос?

Старший волхв поднял глаза к небу:

— Я умею гадать по линии рук, по движению членов и пульсу, по чертам лица. И, всматриваясь в черты твоего лица, я говорю: боги любят тебя и покровительствуют тебе. Ты — счастливый, и ни одна преступная рука не поднимется на тебя.

— Хорошо.

Обратившись шепотом к Сексту Помпею, Октавиан попросил разрешения обезглавить астролога:

— Пусть не лжет о предсказаниях, сделанных моей матери.

Антоний вступился за старика:

— Цезарь, ты должен оценить бесстрашие. Другой не сказал бы тебе правды, а лгал бы и изворачивался, а старик не побоялся...

— Неужели ты веришь его лаю?

— Я только прошу за старика.

— Мы накажем его иным способом, — решил Секст и сказал присутствующим: — Разгадайте, друзья, логогриф: сколько существует видов поцелуя и какой самый сладкий?

— Самый сладкий, — бойко ответила египтянка, — поцелуй Афродиты, а перечислить все виды могут только любовники, поэтому обратись к ним.

Секст улыбнулся.

— Я доволен твоим ответом. Выдать ей в награду венок... А теперь выскажи и ты свое мнение, — обратился он к астрологу.

— Разве не сказала тебе египтянка: спроси целующихся?

— А я спрашиваю тебя...

— Не знаю, господин мой, — выговорил старик, опуская голову под градом непристойных шуток.

— Не знаешь? Эй, рабы, завяжите ему позади руки и поднесите блюдо с соусом: пусть выловит оттуда мясо!

Голова астролога уткнулась в блюдо: он ловил губами мелкие ломтики мяса и не мог их поймать; пот катился с его лица. Наконец астролог схватил кусочек мяса и с видом победителя поднял голову.

Хохот оглушил его.

— Нос, нос! Борода! — грохотала палуба, и пальцы гостей тянулись к испачканному соусом носу и бороде старика.

За другим столом две пьяные матроны, очевидно, соперницы, ругались. Они показывали друг дружке языки, совали под нос средние пальцы, что считалось оскорблением, и все это сопровождали колкостями и злобным смехом. А в стороне моряки играли в морру.

Глядя на них, гости занялись игрою. Встряхивая кости в кубках, они выбрасывали их на стол. Слышалась латинская речь, возгласы: «Хиос»²⁰ и «Коос»,²¹ и вдруг

²⁰ Одно очко.

грубый голос Менаса выговорил на весь атриум:

— Когда появляется Хиос, не скажу Коос.

— Ход Афродиты! II, III, IV, VI очков!

— IX очков: Александр — IV очка, цвет юношества — IV, Хиос — I.

— Это похоронный исход! — воскликнул Эрос, — Хиос знаменует смерть, а юноша и Александр подвластны ей!

Голоса повышались. Антоний и Октавиан играли в петтею. На доске, разделенной пятью линиями на квадраты, проходила священная черта, разграничивая доску на две половины, и по пяти пешек ходили с обеих сторон.

Пешка Антония была окружена, и он задумался, как спасти ее; он пытался проникнуть на территорию Октавиана через священное место, где некогда находилась неподвижная пешка богов, но Октавиан не давал ему пройти.

— Испробую последнее средство! — воскликнул Антоний и занял свободное место справа между двух пешек Октавиана, но противник тотчас же выдвинул пешку, стоявшую раньше перед отодвинутой, и преградил ей путь с третьей стороны. — Проклятый ход!.. Ну, если я и проиграю, дорогой мой, у меня все же останется утешение, что в петтию женихов я — непревзойденный игрок. Помнишь, как я сбивал Пенелопу и ставил свой каменный кружок?

— Мне кажется, — улыбаясь, ответил Октавиан, — что я не уступлю тебе и в этой игре...

— Ты?.. — вскричал Антоний... — Да ты шутишь!.. Нет? Ну, так приезжай ко мне в виллу, и мы сразимся на большом пространстве исчерченной земли... Я заказал рабу вытесать пешку Пенелопы, и она вскоре будет готова...

А пляска сменялась пляскою. Греческие, персидские, сирийские, египетские и армянские плясуньи показывали свое искусство, стараясь вызвать одобрительную улыбку Секста Помпея, но он, задумавшись, не видел ни плясок, ни игр, не слышал звуков инструментов и споров за столами.

Менас нагнулся к нему:

— Хочешь, я прикажу обрубить якоря, и ты станешь владыкой Италии и всех провинций римской республики?

Помпей медленно ответил:

— Увы, Менас! Тебе не следовало спрашивать меня об этом, а нужно, было действовать. Обычай гостеприимства и клятва, данная триумвирам, ненарушимы.

— Ты чересчур честен и справедлив, Великий, — вздохнул Менас. — Но помни: честные мужи никогда не приходят к власти. Что дала честность Сципиону Эмилиану? А ведь он был великий римлянин. Власть любит злодеев, палачей, демагогов, убийц. Власть любит кровь, а ты боишься крови.

XVII

После Мизенского мира состоялось обручение юной дочери Секста Помпея с молодым Марцеллом, сыном Октавии. Сама Октавия была беременна и ожидала родов. Антоний скучал, проводя дни и ночи в играх с Октавианом: кроме костей, он

увлекался астрологами, петтеей, боями петухов и перепелок, но каждый раз проигрывал Цезарю и с досадой возвращался домой, вспоминая предсказание египетского прорицателя, который советовал ему остерегаться гения Октавиана, как более сильного, и вообще быть подальше от Цезаря.

Октавия родила дочь, и Антоний стал собираться в Афины. Однако отъезд задерживался непредвиденными обстоятельствами: то не хватало денег, то нужно было обсудить с друзьями, как начинать войну с парфянами, то связаться с союзниками или послать эмиссаров в восточные города с тайными поручениями.

Вторжение парфян в римские провинции удручало его, не давая спокойно спать. По ночам, вырываясь из объятий Октавии, он шептал, как одержимый манами: «Проклятые Пакор и Лабие! Они захватывают наши земли»... И, успокоившись, говорил в раздумьи: «Парфия должна быть завоевана».

Уезжая из Рима, он нежно прощался с Октавией.

— Дорогая жена, — говорил он, — судьба влечет меня на Восток. Там я или возвеличусь, или погибну. Не смерть страшит меня, а неудача: неужели я не выполню того, о чем мечтал наш отец и диктатор — Цезарь? Боги свидетелями, как тяжело мне тебя покидать! Но я тешу себя надеждою, что скоро вернусь, и тогда мы проживем тихо и счастливо.

Рыдая, она прервала его:

— Умоляю тебя, муж мой, отбрось от себя мысль об этой опасной войне. Триумвир Кресе погиб в борьбе с парфянами, диктатор Цезарь долго готовился к ней, а ты... Нет у тебя ни средств, ни конницы, способной противостоять парфянам. Кассий рассказывал, что в этой войне наиболее опасны пустыни и конница.

— Долг римлянина побуждает меня уничтожить чужеземца, вторгшегося в отечество. Молодой Лабие, сын изменника, перебежавшего от Цезаря к Помпею, должен быть казнен, подлый Пакор — убит, а Парфия присоединена к Риму.

Обнимая его, она шептала:

— Муж мой, я знаю, что египетская царица завлекла тебя в свои сети, но, поверь мне, она, хитрая чужеземка, не может сравниться со мной в искренней преданности и чистоте любви... О муж мой, не променяй меня на египтянку, и я буду твоей верной служанкой и рабыней до самой смерти.

Она обняла его колени и, лобзая руки, продолжала умолять сквозь слезы. Антоний поднял ее и, поручив попечениям невольниц, поспешно удалился.

Уезжал с тяжестью на сердце. Октавиану сказал, сидя уже на коне:

— Гай, позаботься о своей сестре, а моей жене. Боги воздадут тебе за это.

Не слышал ответа Октавиана — стегнув коня плетью, быстро поскакал, оставив позади себя друзей, приближенных, а также египтян, которых оставила при нем хитрая Клеопатра, поручив им твердить Антонию о разнице между матроной и царицей, о величии, ожидавшем его в Египте, и о деле Цезаря, мечтавшего перенести столицу мира в Александрию.

XVIII

Живя в Афинах, Антоний казался могущественнейшим властелином Востока, покровителем наук и искусств, преемником Александра Македонского: философы и

риторы окружали его, ведя с ним беседы, сопровождая его на игрища и празднества. Ему воздавали божеские почести, как азиатским царькам, и, величая «богом и новым Дионисом», воздвигали в честь его арки и жертвенники с хвалебными надписями.

Греки умели льстить. Когда распространилось известие о победе Вентидия Басса над Лабиемом у Тавра, а затем о поражении парфян в Киликии и освобождении ее, празднества последовали одно за другим.

— Без твоего руководства, о величайший стратег, равный божественным Юлию Цезарю и Александру Великому, Бассе не сумел бы достигнуть успехов, — льстили риторы. — Сирия свободна, и только проклятый богами Антигон держится еще в Иудее, ожидая помощи от парфов. Но ты, божественный, конечно, не допустишь, чтобы жалкий эгоист и враг твой строил козни против Рима...

— Тем более, — подхватывали философы, — что ты обещал Ироду иудейское царство.

— Так оно и будет, — сказал Антоний, вспомнив о богатых подарках, полученных от Ирода еще в Риме (сенат назначил его царем Иудеи), и послал к нему гонца с известием, что он может занять страну.

В промежутках между увеселениями он работал, просиживая часы над хартией Азии, распределяя восточные земли между дружественными царьками: возродил династию Понта, раздробленного Помпеем Великим на ряд мелких республик, передав власть Дарию, сыну Фарнака и племяннику Митридата Эвпатора, приказал восстановить прежнее понтийское войско, обучить его и сделать способным для борьбы с парфянами, а затем основал писидийское царство, — отдав его Аминте, другу Дейотара.

Опять начались празднества и продолжались неделями. Ни одно из них по своему великолепию не могло превзойти брачных мистических торжеств, задуманных Антонием. Он вступал в брак с Афиной-Палладой, — бог должен был сочетаться с богиней; и город поспешно собирал тысячу талантов — приданое, которое он давал за богиней, покровительницей города.

С утра толпился народ перед акрополем, на котором возвышался храм Афины Парфенос, сооруженный из пентелийского мрамора, с дорическими колоннами.

Приветствуемый толпами народа, величавшего его «богом и новым Дионисом», Антоний подходил к акрополю, окруженный лысыми жрецами в белых одеждах, с венками на головах.

Войдя в римские ворота, он остановился — жрецы читали молитвы, повернувшись лицами к храму Зевса, находившемуся справа от ворот. Потом шествие двинулось дальше, прошло через пропилеи и опять остановилось перед Эрехтеином, ионические колонны которого стояли, как бы задумавшись. Антоний не смотрел на них; взгляд его, остановился на портике Коры, поддерживаемом шестью женщинами. Как стройны и изящны были эти тела, изваянные искусным резцом! В мыслях он сравнивал их с телами сотен женщин и девушек, и только одно тело превосходило их строгой завершенностью форм, красотой и совершенством — тело Клеопатры!

Шествие тронулось к Парфенону. Подходя к нему, он видел резьбу с метопами, фризы, украшенный гиганто-махией, борьбой кентавров с лапитами, боями эллинов с амазонками, сценами войны с троянцами. На фронтонах красовались олимпийцы и среди них Афина, рождающаяся из головы Зевса, и Паллада, отнимающая у Посейдона власть и покровительство над Аттикой. Пентелийский мрамор, призванный ваятелем к жизни, казалось, дышал.

Антоний проник в преддверие — двенадцать главных аттических божеств сидели в креслах и пристально смотрели незрячими глазами на торжественное шествие. Склонив голову, он вошел в прихожую, или гекатомпед. Два ряда дорических колонн, по десяти в каждом, делили гекатомпед на три части. Посредине стояла статуя Афины Парфенос, подобие творения рук великого Фидия. Афина держала на вытянутой правой руке статуэтку богини Победы. Лицо Афины, шея, руки и ноги белели, но это не была слоновая кость, равно как и одежды не были отлиты из золота. На шлеме ее красовался среди орнаментов сфинкс, у ног — щит с изображением борьбы гигантов, битвы амазонок, лиц Перикла и Фидия, а на сандалиях — кентавромахия.

Антоний не спускал глаз с лица богини. Как она была похожа на Клеопатру!

И все же это была не статуя, изваянная Фидием и похищенная при Деметрии Полиоркете! Ни одухотворенности лица, ни девственной строгости!

Думал.

Вскоре он приобщится к божеству, и ему, смертному, все будет дозволено... И вдруг страх и сомнение охватили его. Имеет ли он право осквернять своим телом божественную Чистоту? Разве мало ему земных дев, что он пожелал Небесную? Это решение созрело у него на пиру, когда он, пьяный, хвалился, что наступило время ему, богу, иметь супругой богиню. Несколько дней он, постясь, не прикасался к женщинам, что было для него большим лишением: недаром он объявил жрецам, что выполнит любое искушение, лишь бы сочетаться с богиней.

Ему стало страшно. Он ослабел. Суеверный ужас сжал сердце. Как в тумане, смутно различая предметы, шел он за жрецами, бросал в жертвенный огонь шерсть и сыпал ячмень. Приносил в жертву белую овцу: запрокинув ее голову, вонзал нож в горло.

Его отвели в подземелье храма, где он должен был выдержать искушение. В квадратном помещении, устланном и увешанном коврами, горели на треножниках благовония, стояли статуи богинь. Антоний осмотрелся. Он был один.

В отдалении возникла едва уловимая музыка; она приближалась, как бы овевая нежным пением девичьих голосов, и вдруг огни на мгновение погасли и вспыхнули вновь с большей силою, — к Антонию приближались вереницы нагих девушек. Они манили его, раскрывали объятия, а некоторые, протянув к нему руки, касались ими его лица и бороды.

Антоний равнодушно смотрел на тела. Одна девушка привлекла его внимание: кроткое личико, большие грустные глаза, бесподобные формы. Усилием воли овладел собой, и опять глаза его стали равнодушными, как бы невидящими.

Девушка подступила к нему и, заглянув в глаза, сказала:

— Сядь здесь, господин мой! Зачем ты, владыка мира, лишаешь себя утех и радостей?

Антоний не сел.

— Не искушай меня. Нет силы, которая заставила бы меня изменить Единой Непорочной Красоте — Чистоте.

Девушки исчезли. Антоний очнулся, окруженный жрецами.

Опустившись на колени, он ждал. Приблизилась женщины, одна из них прошептала, склонясь над ним, какие-то слова, другая подала ей чашу, которую тут же наполнила жидкостью из сосуда.

Снова погасли огни. А когда вновь загорелись, Антоний увидел ложе, и на нем — нагую статую Девы. Жрецы укладывали ее, низко кланяясь, с молитвами. Антоний

почувствовал, как жрец взял его за руку и подвел к ложу. Он был наедине с богиней. Наступила темнота.

Прижимаясь к холодному мрамору, он ни о чем не думал. И вдруг теплота разлилась по его телу. Ощутил в руках гибкое тело...

Вспыхнули огни. Рядом с ним лежала статуя Афины Паллады. Для всех он был равен богам.

Его поздравляли, целовали ему руки, становились перед ним на колени. Он вышел из Парфенона и, спустившись по пелазгийским ступеням к выходу, сел в лектику; ее подняли десятки рук и понесли в город. Приветственные крики не утихали, и Антоний, покачиваясь в лектике, думал о том, как легко в Элладе стать богом.

Приданое, полученное от города, не улучшило денежных дел Антония; приходилось собирать средства в Греции и в уступленном Сексту Пелопоннесе.

Прибыв в Азию, Антоний взял Салоны и, разбив парфян, обратил их в бегство. Не доверяя коварному врагу, он готовил войска к упорной борьбе, переписывался с римскими друзьями и с женой, которая, умалчивая о браке его с Афиной-Палладой, все же не могла не намекнуть на него. Она писала:

«Верь мне или не верь, но вы, мужи, непостояннее слабых женщин. Вы считаете нас ниже себя, смотрите на женщин, как на нечистых тварей, а между тем без нас не можете обойтись. Вы женитесь, клянетесь в любви, изменяете с неодушевленными предметами, как будто неодушевленное может стать живым. А иные, не замечая этого, ставят себя в глупое положение. Очень сожалею, что именно так поступил брат мой: разведясь со Скрибонией, он женился на Ливии, жене Тиберия Клавдия Нерона, заставив его дать за женой приданое, точно она была дочерью Нерона, и быть посаженным отцом. О Юнона! Сначала я думала, что это шутка или одно из дурачеств моего брата, а оказалось противное. Женильба Гая Октавиана на Ливии Друзилле вызвала в Риме возмущение. Всем известно, что древние жреческие постановления запрещают браки во время беременности, а Ливия, беременная на шестом месяце, вышла замуж. Понтифики принуждены были объявить, что религиозные предписания в этом случае необязательны. Весь Рим насмехается над бывшим мужем Ливии, и когда Нерон выходит на улицу, ему кричат: «Поздравляем с браком жены!» — «Много ли серебра отсыпал ты в приданое?» Он сердится, но толпа злопамятна, особенно по отношению к Гаю Октавиану. Ненавидя его, плебеи задевают и Ливию, называя ее «беременной девственницей». Ливия плачет. Я полюбила ее: нравственными качествами, прямою она превосходит многих матрон.

Дорогой мой супруг, господин и покровитель! Умоляю тебя всеми богами, возвращайся поскорее в наш Рим, оставь в покое парфов и греков, не расточай сил на войны и на женщин. Разве твоя Октавия не может заменить умом, плясками, играми на инструментах обаятельнейших гетер? Возвращайся же поскорее на родину. Твое присутствие укротит низкого и жестокого Гая Октавиана, которого я, как сестра, все же обязана любить».

Антоний вспомнил обворожительную Ливию Друзиллу, дочь аристократа Ливия Друза, павшего при Филиппах, и задумался. Это была женщина с прекрасным характером, умная — он сам увлекался ею («А кто мне не нравился?»)

Эрос, избранный в сенат, не желая оставаться в Риме, уехал с господином. Услышав о женильбе Октавиана на Ливии, он сказал Антонию:

— Господин мой, развод Октавиана со Скрибонией — начало разрыва с Секстом Помпеем. Я думаю, что Октавиан хочет воспользоваться твоим отсутствием, чтобы

разбить Секста и усилиться против тебя.

— Против меня? — вскричал Антоний. — Но чем я ему мешаю? Мы стали родственниками...

— Не верь, господин, прочности родственных отношений в наш век. Ты мешаешь Октавиану тем, что существуешь. А не будь тебя, он был бы владыкою всего мира.

— Как не будь его — владыкою был бы я, — возразил Антоний и, чтобы переменить беседу, спросил Эроса о здоровье Халидонии.

— Благодаря тебе, господин мой, за заботу и попечение. Жена моя здорова, только тоскует по мне. Не лучше ли было бы, если б она переехала жить к нам?

— Куда? В Азию? Клянусь Геркулесом! Ты, Эрос, или пьян, или одержим ларвами...

Эрос не смутился:

— Господин мой, на Востоке мы пробудем долго, быть может, всю жизнь... Ты будешь воевать с парфами, затем вернешься в Египет.

Антоний пожал плечами. Рассуждения Эроса вызывали в нем чувство досады: уж не намекал ли вольноотпущенник-сенатор на его отношения к Клеопатре? А если он, Антоний, не вернется в Египет, потому, что не влюблен в царицу? И разве он обязан вернуться? Неужели причиной возвращения должна быть ее несравнимая и несравненная красота?

Отпустив Эроса, он решил написать Октавии. Письмо получилось веселое и теплое; об Октавиане он отзывался полушутливо, как о неуравновешенном муже, о Нероне — как о дураке и тупице, а о Ливии Друзилле — как о матроне, наделенной прекрасными качествами, но, сравнивая ее с Октавией, ставил Октавию значительно выше Друзиллы.

«Я знаю твое сердце, твою душу, — писал он, — и — клянусь Венерой! — уважаю тебя больше всех женщин в мире! Я недостойн тебя. Будучи воином, я принужден идти не тем путем, каким хотел бы, а путем, намеченным Фатумом: я должен продолжать дело диктатора, если бы даже я твердо знал, что меня ждет смерть. Цезарь погиб, он отомщен при Филиппах; только не отомщен еще друг диктатора Марк Крассе и доблестный сын его Публий, вероломно убитые парфами... И еще много других задач должен я выполнить, пока жив... Ты мягко намекнула на брак мой с Минервою, однако ты не поняла, что целью его было получение средств для ведения этой войны. Что же касается развода Октавиана со Скрибонией, то не думаешь ли ты, что, разорвав узы родства с Секстом Помпеем, твой брат готовит на него вероломное нападение? Я знаю его: он придерется к случаю, если таковой представится, или изобретет его сам, чтобы начать войну. Предостереги его, дорогая жена, и посоветуй ему умеренность и честность по отношению к честнейшему римлянину. Иначе боги жестоко покарают его за нарушение клятвы. А если увидишься с Марком Эмилием Лепидом, напомни ему, чтобы он чаще извещал меня о событиях в Риме. Прощай».

XIX

Меценат возлежал за столом с Саллюстием, Галлом, Горацием и Вергилием и беседовал с ними о литературе. Когда раб возвестил о прибытии Октавиана, Меценат слегка поморщился, — занятный разговор был прерван, душевное равновесие

нарушено.

Вергилий, бледный, тщедушный, слабосильный муж, и Гораций, широкоплечий и краснощекий, подобострастно смотрели на молодого Цезаря, который входил в триклиний с улыбкою на губах. Только Корнелий Галл и Саллюстий, занятые беседой, не обратили должного внимания на Цезаря, и это задело его; однако, не показав вида, он любезно кивнул им.

— Привет поэтам и покровителю их! — вскричал Октавиан, блеснув гнилыми зубами, и обратился к Горацию: — Каждый раз, когда я перечитываю твою сатиру, в которой ты советуешь молодым людям посещать простибул, вместо матрон, меня разбирает смех, что ты становишься на защиту замужних женщин. Почему? Идея нравственности? С одной стороны нравственность, а с другой — разврат, поэтому твои советы несовместимы с идеей нравственности, и я не ошибусь, если скажу: «О, дорогой поэт! не щади наших матрон ради нескольких матрон: они такие же блудницы, как уличные простибулы». Что лучше — общность жен, как учил божественный Платон в своем «Государстве», или разврат в лупанарах?

— Прости меня, Цезарь, за смелость, которую я беру на себя. Мой совет только совет и желание, чтобы ко времени твоего единовластия матроны стали истинными римлянками, строгими и чистыми, как девы Весты.

Октавиан с видимым удовольствием пожал ему руку.

— Благодарю тебя. Дружба, которую ты возвеличил в III сатире, придаст мне бодрости в борьбе и наполнит сердце уверенностью, что истинные друзья всегда со мною.

И, повернувшись к Вергилию, спросил:

— Как твоё здоровье? Помог ли тебе от лихорадки крокодиловый жир, который я получил из Египта? Нет? Жаль. А молитвы и жертвоприношения доброй богине Валетудо? Тоже нет?.. Ты мнителен, друг мой! Ведь, несмотря на болезнь, ты, говорят, посещаешь красавиц. Верно ли, что ты подружился с Киферидой, которая восстала из забвения? Верно ли, что она читала на театре твои «Буколики»? И верно ли, наконец, что ты написал эклогу, утешающую Гая Корнелия Галла, которого покинула Киферида?

— Увы, Цезарь! — вздохнул Галл. — Такое несчастье...

— Не думай, Цезарь, что я любовник восхитительной, — прервал его Вергилий. — Я оказал Корнелию эту маленькую услугу исключительно потому, что Галл хотел, чтобы Италия знала о его связи с Киферидой... Он не откажется подтвердить это...

— Подтверждаю! — воскликнул Галл. — Но не много ли, дорогой друг, уделяешь мне внимания?

— Ровно столько, сколько ты заслуживаешь, — ответил Вергилий, повернувшись к Горацию. — Теперь твоя очередь влюбиться в Кифериду...

— Избавь меня от сладких прелестей Ликер иды, воспетой Гаем Корнелием!

Октавиан с удовольствием слушал препирательства поэтов. Он даже подмигнул Горацию на Галла, как бы говоря: «Хорошенько его! Не щади», и собирался сам ввязаться в спор, но Меценат, недовольный беседой, сказал:

— Конечно, восхвалять возлюбленных похвально. Не лучше ли, однако, писать эклоги, как это делает Вергилий? Его эклоги пользуются заслуженным успехом в римской республике: Италия и провинции заучивают их наизусть...

— Знаю, — кивнул Октавиан, возлегая рядом с Саллюстием. — Ты что-то

озабочен, мой друг, твои глаза мрачны, точно в «Югуртинскую войну», над которой ты работаешь, приходится тебе вводить поневоле дифирамбы аристократам...

— Аристократам? — вскричал Саллюстий, приподымаясь на ложе. — Клянусь Вакхом, который незримо присутствует за нашим столом, — ты или пошутил, Цезарь, или...

— или... — прищурившись, вымолвил Октавиан.

— или... плохо разбираешься в римской истории... Меценат спокойно прервал его:

— - Все мы плохо разбираемся в истории, потому что создаем историю. Нам нет дела до прошлого аристократии, она уничтожена, а новая аристократия, если ей суждено существовать, будет именно такая, какая нам нужна. Она должна состоять из мужей, всецело поддерживающих власть сына Цезаря. Поэтому умерь свой гнев и спокойно выслушай мнение нашего высокого гостя...

— Ты говоришь о нашем споре, благородный Меценат? — спросил Гораций.

— Клянусь Поллуксом, как говорят на суде! — подхватил Вергилий. — Пусть нас рассудит Цезарь, тем более, что сам он поэт и дела поэзии ему не чужды.

Меценат позвонил и приказал рабыне подать вина и фруктов, а затем, обратившись к Октавиану, объяснил причину спора. Вергилий, передавший Аттику для издания своей эклоги, натолкнулся на ряд возражений: старик требовал замены ряда слов более удачными, считал какофонией строфы, в которых Вергилий употребил аллитерацию, советовал изъять строки, заимствованные у Гомера, Невия и Энния, Вергилий возражал и взял свою рукопись у Аттика, не желая делать поправок.

— Прежде чем говорить, — осторожно сказал Октавиан, — я хотел бы знать мнение каждого из вас. Вопрос, конечно, важен, и обсуждение его занимает меня не меньше, чем, например, политический вопрос.

Рабыни внесли амфоры, кратеры, фиалы и фрукты в вазах: яблоки из Мелоса, круглые яблоки, называемые *arbutulata*, самые любимые и удобоваримые желудком, невианские груши, пятнистые, очень мягкие, и черные телланские фиги.

Наполнив фиалы, друзья выпили.

Первый стал говорить Вергилий. Он утверждал, что издатель не имеет права вторгаться в манускрипт автора.

— Позволь, — возразил Меценат, — разве Лукулл не исправлял «Достопамятностей Суллы», а Тирон — сочинений Цицерона?

— Верно, но не забудь, что Сулла и Цицерон поручили это своим друзьям.

Потом Вергилий стал говорить о заимствованиях у поэтов; не отрицая, что он поступил подобным образом с несколькими строками из произведений Гомера, Невия, Энния и иных поэтов или переделал их, как нашел нужным, он утверждал, что у забытых поэтов даже должно брать удачные стихи («Разве найденный клад не достоин разумного употребления? Неужели потому, что он принадлежал другому, нельзя им пользоваться, а следует зарыть обратно в землю?»), а у варваров, как, например, Гомер, и подавно. Предвосхищая возможные возражения, Вергилий соглашался, что Гомер велик, не забыт, однако это не римский поэт, а греческий, следовательно, использование его богатств должно стать правом Рима, владыки мира.

Гораций горячо поддержал Вергилия. Саллюстий сначала молчал, потом стал возражать. По его мнению, заимствования у чужих авторов показывают беспомощность поэта (Вергилий и Саллюстий обменялись злобными взглядами); что же касается поправок издателя или даже друга, то считает их излишними.

Возражал один Корнелий Галл, доказывая, что муж образованный, любящий литературу, не будучи писателем, может нередко своим советом принести большую пользу писателю, и привел случай, когда его стихи были признаны друзьями слабыми и он переработал их.

Гораций, Вергилий и Саллюстий прерывали его речь дружескими колкостями и насмешками, однако Галл не сдавался.

Вмешался Меценат; не имея еще своего мнения, он обдумывал, что сказать; он не хотел обидеть Вергилия и Саллюстия, задеть Галла. Наконец, неуверенно вымолвил:

— Мне кажется, что заимствовать у забытых поэтов и у варваров необходимо лишь в том случае, когда строка или выражение блещет новизной, чистотой и свежестью. Поправки же издателя возможны только с согласия автора.

Вергилий, Гораций и Саллюстий замахали руками. Галл молчал. Октавиан привстал на ложе.

— Друзья, — сказал он, — я слышал ваши споры и говорю открыто: ни один Атик не вправе самовольно исправлять рукопись. А заимствования необходимы, ибо мысли и чувства забытых поэтов и писателей оживают в новых произведениях, украшая их и способствуя восприятию потомками чувств или мыслей предков.

Вбежал, запыхавшись, раб.

— Господин, вести из Сицилии... Менадор здесь...

— Менас? — вскричал Октавиан. — Что это значит? Неужели боги услышали мои молитвы...

Не простившись с друзьями, он быстро вышел.

Правитель Сардинии Менадор, поссорившись с Секстом Помпеем, бежал к Октавиану. Обрадованный Цезарь стал готовиться к войне с Секстом и запросил Антония, ободряет ли он его решение.

Антоний, недовольный действиями Октавиана, ответил, что следует уважать Мизенский договор, а Менасу послал резкое письмо. Оно кончалось словами: «Если ты не прекратишь своих происков, то я, как покупатель имений Помпея, откажусь от патроната над тобою».

— Взгляни, Цезарь, чем угрожает мне Марк Антоний! — протянул Менас письмо Октавиану.

— Чего же ты хочешь?

— Всаднического достоинства, которое защитит меня...

Октавиан подумал и сказал:

— Поздравляю тебя, друг, всадником. Принадлежность твоя к этому сословию будет узаконена.

И триумvir, не слушая слов благодарности, поспешил уйти.

Его беспокоило противодействие квиритов и Лепида, хотя тот был по-прежнему любезен и предупредителен, Октавиан знал, что Лепид действует исподтишка, и боялся внезапного удара. Он понимал, почему раздражен Лепид: Мизенский договор был подписан без его участия.

«Если он решил не вмешиваться в эту войну — я погиб», — думал Октавиан.

Вскоре пришли известия о вторжении парфян в Сирию. Он понял, что Антоний отправится против парфян, Это был удобный случай начать войну с Помпеем. Беспокоило его лишь отсутствие Агриппы, который воевал в Аквитании. А на Агриппу он всегда надеялся, как на способного полководца. Приходилось объявить войну, надеясь только на себя.

...Борьба с Секстом Помпеем оказалась нелегкой. Октавиан потерпел поражение у Скиллы, а буря уничтожила большую часть его кораблей. Поражению радовалась вся Италия, ненавидевшая Октавиана. Он знал об этом и был удручен. Меценат даже не пытался его утешать. Положение казалось безнадежным, и будущее рисовалось обоим в мрачных красках.

Однажды, когда они молча сидели в таблиуме, размышляя о способах привлечения к сотрудничеству Лепида с друзьями и коллег Антония, прибыл с письмом гонец из Азии.

«Вентидий Басс, полководец, устами триумвира и проконсула Марка Антония — сенату и римскому народу.

Милостью богов и крепостью римского оружия отомщена смерть триумвира Марка Красса и его доблестного сына Публия: Вентидий Бассе нанес страшное поражение Пакору, сыну парфянского арсака. Пакор пал в бою. Эта победа, одержанная шестнадцать лет спустя после Карр, увенчала навеки доблестью римские легионы. Слава бессмертным, покровительствующим Риму! Марк Антоний, помня об окончании триумvirата в этом году, вскоре возвращается в Элладу. Завоевание Иудеи, взятие Иерусалима, в котором держится еще Антигон, и передача всей страны Ироду будут поручены опытному полководцу...»

Дальше Октавиан не читал. Что он мог противопоставить блестящей победе Вентидия Басса? Поражение при Скилле? (Он злобно засмеялся.) Победы Агриппы над аквитанцами? Раздражение его усиливалось, тем более, что Меценат не мог дать дельного совета.

— Остается одно, — глухо вымолвил Октавиан, бросая навощенные дощечки на стол, — ехать к Антонию в Афины, возобновлять триумvirат. Поедешь в сопровождении Горация. Вергилия не дам — нужен мне... Говоришь, Гораций болеет глазами, мажет их восточной мазью, не пьет вина? Пусть едет с тобой хотя бы до Брундизия — поездка развлечет его... Пребывание на юге Италии благотворно подействует на него, там он дождетя твоего возвращения.

Проходили недели. Меценат и Агриппа прибыли в Рим один за другим.

Меценат сообщил, что Антоний поможет Октавиану в борьбе против Секста Помпея, если получит в обмен на это ветеранов для завоевания Парфии; а вопрос о возобновлении триумvirата советует отложить до весны следующего года.

Слушая Мецената, Октавиан размышлял: до января он должен покинуть Рим и находиться вне помериума, пока не будет назначен преемник, которому он передаст провинции и власть над легионами.

— Антоний держит нас в руках! — вскричал Октавиан, бегая по атриуму. — Что посоветуешь? Что? — обращался он к безмолвному Меценату и к друзьям. Все молчали. Вдруг он бросился к Агриппе, с отчаянием схватил его за тогу и неожиданно для всех заплакал. Это были слезы ярости и бессилия.

— Успокойся, Цезарь, — спокойно сказал Агриппа. — Сядь. Подумаем, что делать. Кораблей у нас нет? Будем строить их, чтобы не зависеть ни от Антония, ни от Секста Помпея. Пошли меня в Неаполь, и я сделаю все, что нужно.

— Поезжай, друг, — вздохнул Октавиан, обнимая его. — И, если дела твои будут успешны, я унижу Антония... отомщу ему...

Он не мог говорить — ненависть разъедала его сердце.

Агриппа отправился в Неаполь, а к концу года Октавиан выехал из помериума в небольшой городок, решив терпеливо ждать благоприятного случая, чтобы выступить.

Полномочия его кончились, и власть ускользала. От сторонников своих, приезжавших из Рима, он узнавал о событиях, происходивших в городе.

С начала нового года Римом стали управлять республиканские магистраты, и квириды вздохнули наконец свободнее. Не было произвола и тирании триумвиров, жизнь стала подобной той, какая была до гражданских войн. Кровавая власть сменилась законной, республиканской, и граждане могли быть спокойны, что никто не нападет на их дома, не подымет с постели жену и дочь, не нарушит законов, освященных богами. Особенно радовались квириды распадению триумvirата.

Так продолжалось до Тарентского соглашения, унижительного для Антония: он ждал Октавиана несколько месяцев в Таренте, а тот назло ему медлил с переговорами, как бы раздумывая, и наконец согласился на возобновление триумvirата сроком на пять лет. Октавия, державшая сторону мужа, защищала его перед братом; она умоляла не начинать гражданской войны, ненавистной народу, и Агриппа, а за ним Меценат поддерживали ее, — они знали, что Антоний может заключить союз с Секстом Помпеем и с Лепидом.

Уступив Октавиану сто тридцать кораблей, Антоний получил взамен двадцать одну тысячу ветеранов. Мизенский договор был уничтожен! Старший триумvir Антоний поспешил отплыть от берегов Италии.

XX

Римское общество пребывало в большом унынии, видя, что могущество триумвиров возобновляется. Надеясь, что триумvirат распался, когда Октавиан покинул Рим, оно тешило себя надеждами о республиканских временах: можно будет свободно дышать, свободно говорить, открыто хвалить и порицать власть, а самое главное — не дрожать за жизнь, за жен, дочерей и имущество, ни один раб или вольноотпущенник не посмеет нагло беседовать с нобилем, задевать его или, насмехаясь, говорить ему дерзостью.

У нобилей появилось стремление к древней простоте, строгим нравам. Они говорили о возвращении к земле, с умилением вспоминали времена Цинцинната, и Саллюстий проводил в своих сочинениях мысль, что богатство, роскошь и удовольствия развращают народ. Старые сенаторы занялись земледелием и пчеловодством, писали книги о деревенском хозяйстве, пользовались трудами греческих писателей. Вольноотпущенник Юлия Цезаря Гигин стал знатным лицом и был принят в обществе нобилей лишь потому, что работал над книгами о земледелии и пчеловодстве. Старый Варрон написал сочинение «*De re rustica*»,²² в котором восхвалял простоту деревенской жизни, а Вергилий, отдавая дань своему времени, писал «Георгики», прославляя в них земледелие и плуг, олицетворяющий этот простой и суровый труд.

Обо всем этом Понтий сообщил Лицинии, предупредив, что Октавиан готовится к войне с Секстом Помпеем:

«Он, конечно, как триумvir, призовет к себе на помощь Лепида с его судами и войсками, — писал он. — Всем известно, что Агриппа достраивает гавань и корабли, а

²² «О деревенском хозяйстве»

легионы сосредотачиваются на юге Италии для переправы в Сицилию. Говорят, что Октавиан, Агриппа и Лепид двинули свои силы одновременно: из Путеол, Африки и из Тарента. Об этом мне сообщил Милихий, писец Аттика, который ведет переписку с Агриппой по поручению своего господина. Поэтому пусть наш вождь будет осторожен. Квирилы против войны; они уважают сына Помпея Великого и не хотят воевать. Октавиан же, возбуждая легионы, утверждает, что месть за диктатора не доведена еще до конца и что Цезарь является ему в сновидениях и требует уничтожить для блага республики сына Помпея. Подлый демагог показывает свою низость, играя на чувствах темного народа, но мы не дремлем и выступаем против него среди легионариев, Боги одни знают, чем кончится эта подлая демагогия», Беседа о событиях в Риме с Секстом Помпеем, Лициния упрекала его в том, что он не наказал Менаса, перебежавшего теперь опять на сторону Секста.

— Его пристыдили вольноотпущенники, оставшиеся верными памяти моего отца, — сказал Помпей, — и не будем осуждать раскаявшегося человека.

Они сидели на палубе под лучами осеннего солнца, которое мало грело. Оба испытывали какую-то странную неловкость и молчали.

Только что кончилось жертвоприношение Нептуну, и Секст, величавший себя его сыном, был одет вместо пурпурного плаща полководца в лазоревую одежду бога морей.

Помпей взял руку Лицинии. Женщина смущенно повернулась к нему.

— Одно сердце меня понимает, любит, живет моими делами, бьется за меня рядом с моим сердцем. Одна душа пребывает в гармонии с моей душой, родственна ей, сопричастна и созвучна. И я благодарю богов за эту ниспосланную милость и Венеру за любовь, которую она вложила в мое сердце.

Обняв ее, он шептал:

— Я знаю, что Марс и Беллона отвернулись от меня, как от Помпея Великого. Что ж? Не это печалит меня — не поражение, которое подкрадывается ко мне, как кровожадный убийца, а конец республики.

Лициния почти не слышала его слов. Любовь Секста была светлым лучом, нет — не лучом, а разливом солнца в ее жизни: любовь, как наводнение, затопляла уже берега её души, и Лицинии казалось, что стремительный водоворот захватит ее и унесет или завертит в губительной воронке и бросит в бездну. Но она не боялась. Обхватив Помпея за шею, она прижалась губами к его губам и целовала безумно.

Судно покачивалось на волнах, пурпурные паруса, надуваемые ветром, выпячивались, как щеки, Вулкана, бога-кузнеца, раздувающего горн, море, залитое солнцем, казалось объатым пламенем, а Секст, сжимая Лицинию в объятиях, говорил ей о любви, дружбе и уважении.

Она вспоминала виденную и испытанную любовь: животная страсть Каталины, простая любовь занятого борьбой Сальвия, вынужденная проституция ради куска хлеба, любовь Эрато к Оппию, Порции — к Бруту. Как несравнима была вся эта любовь с тем огнем, который теперь испепелял ее сердце, горя жарким пламенем, точно сухая солома! И она, прижимаясь к Сексту, шептала, захлебываясь, о родине, соединяя воедино любовь к ней с любовью к великому мужу Рима.

...День и ночь пролетели, как мгновение. Секст и Лициния жили полной, как никогда, жизнью — жизнью любви и борьбы, и Лицинии казалось, что так она жила вечность и еще вечность будет жить так же. А Секст думал о превратностях судьбы: пресная любовь Скрибонии сменилась ярким пламенем. Не так ли разгорается костер,

ровно пылает и, готовый погаснуть, вспыхивает последним буйным огнем? Жизнь... Не предвещает ли эта запоздалая любовь заката его мятежного существования? Пусть так. Лучше прожить один день счастливо, чем прозябать всю жизнь в скудной безрадостности и мелких повседневных заботах.

— Лучше один час, даже одна лепса твоей любви, — сказал Секст, поднося к губам Лицинии фиал, — чем долгая жизнь без тебя. А еще лучше долгие годы нашей любви, дружбы и борьбы за республику... Кто знает, может быть, мы победим... У Мизенского мыса Менас предлагал мне обрубить якоря... Я мог бы стать владыкою мира...

— Увы, друг, ты предпочел честность и незапятнанность клятвы измене и подлости! Кто был прав? Ты или Менас?

— Ты сомневаешься...

— Я думаю так: не лучше ли было бы пожертвовать честью и клятвой для спасения республики?

Секст Помпей встал.

— Нет, — твердо выговорил он. — Мне кажется, что республика обречена и конец ее недалек: восторжествуют отбросы общества — демагоги, ростовщики, продажные лено... Разве римляне не стали ими? Разве не совершается страшное падение человеческого духа?

Опершись на корму, он задумался. И рядом с ним стояла Лициния, терзаясь болью полководца.

XXI

Обдумывая план завоевания Юлием Цезарем Парфии, Антоний получил известие о занятии Иерусалима Иродом при помощи римлян и послал к нему гонца с поздравлением. Но, вскоре забыв об Ироде, он вновь занялся планом Цезаря. Он остановился на вторжении в Парфию с севера. Содержание легионов во время войны требовало огромных средств, а денег не было. Антоний думал, где добыть золото, советовался с Эросом, Барием и иными друзьями. Пьяный Варий говорил: «Обложи дополнительным налогом Азию», друзья указывали единственный, по их мнению, выход — взять займы у азиатских царей. Эрос молчал, думая о Египте, не осмеливаясь высказать своего мнения: боялся, что обидчивый Антоний вспылит и ударит.

Триумвир думал. Завитая по-гречески борода шевелилась — его челюсти двигались, он сопел. И вдруг встал, большой, грузный — живот выпирал, образуя на тоге безобразные складки.

— Друзья, выход найден. Я забыл о Египте, о прекрасной царице и молодом Цезарионе. Неужели Клеопатра откажет коллеге диктатора, желающему завершить великое дело Цезаря? Неужели сын божественного Юлия не умолит свою мать дать средства, хотя бы ради памяти отца? Клянусь Озирисом и Изидой! — засмеялся он. — Казна Египта изобилует золотыми слитками, драгоценными камнями и монетами, и я не буду Марком Антонием, проконсулом и триумвиром, если не запущу в нее своих рук по локоть!.. Не смейтесь, друзья! Вы знаете, что не жадность говорит моими устами, а великое дело Цезаря: оно вопит, требуя завершения. Сокровищница

Лагидов — это море, я готов стать приманкой, а египтянка пусть станет рыбачкой. Только я боюсь, что удилище не выдержит тяжести — не приманки, нет, хотя вес ее несколько велик! — похлопал он себя по животу, — а не выдержит тяжести рыбы, и притом — не одной.

Друзья захлопали в ладоши. Веселый гул покрыл его слова.

— Завтра я пошлю гонцов за Клеопатрой: пусть царица выезжает немедленно в Сирию.

Так он и сделал.

Ожидая царицу, Антоний повелел азиатским царькам приготовить вспомогательные войска, запасы оружия, стрел и свинцовых слитков для метательных орудий, а также провианта и отправить легионы к зиме будущего года на юг Кавказа.

Получив известие, что азиатская знать недовольна новым парфянским арсаком Фраатом, вступившим на престол после Орода, который отказался от диадемы, снедаемый печалью по любимому Пакору, проконсул возбуждал богачей и правителей, распространяя слухи о военных приготовлениях арсака против восточных государств. А эмиссары Антония утверждали, что Фраат задался целью завоевать всю Азию и только один Рим способен защитить ее от посягательств дерзкого арсака.

Антоний хитрил. У него был тайный план, и о нем не знал никто, даже не догадывался наблюдательный Эрос. Клеопатра нравилась Антонию как женщина (она была умна, страстна, прекрасна и изящна), но избалованный муж не считал ее неотразимой; самое главное — она была богата, и ради этого стоило начать игру, даже совершить неслыханное дело — жениться на царице, стать царем Египта, оставаясь в то же время проконсулом. Кто узнает об этом? Брак их останется тайной, для всех она будет любовницей Антония, и только для него одного — женою.

В Антиохии сирийской Антоний тайно женился на Клеопатре. Эрос растерялся, узнав об этом браке; действия Антония отличались необычайной смелостью — римское общество, конечно, возмутится от одного только предположения, что проконсул и триумвир женился на египтянке. Но предположение не замедлит превратиться в уверенность, когда узнают, что Антоний отдал Египту (это был его брачный подарок) части древнего египетского царства и римские провинции: Кипр, финикийский берег, пальмовые посадки Иерихона, лесистые области Киликии и Крита. Чем объяснить этот подарок, если не женитьбой? Ведь до этого времени Антоний был любовником Клеопатры и не дарил ей римских провинций, Почему же это случилось теперь? А утверждение Клеопатрой начала ее царствования с первого сентября семьсот семнадцатого года от основания Рима? А изображение мужа и жены на монетах, чего прежде не было?

Все это возбуждало толки, нежелательные для Антония.

Сторонники Октавиана не замедлили послать в Рим эпистола с извещением о странных событиях, происшедших в Сирии; они намекали на женитьбу Антония и негодовали о присоединении римских провинций к Египту.

Сначала Клеопатра притворно воспротивилась предложению Антония. Это была сделка, и царица не желала парфянского похода, который считала сомнительным, жалела денег. Антоний уговаривал, ухаживал, и ему казалось, что он убедил ее ласковыми речами и восточным обхождением. Наконец Клеопатра уступила, потребовав, чтобы он развелся с Октавией. Антоний доказывал нецелесообразность ее требования, и царица вновь уступила.

Клеопатра соглашалась на брак с Антонием не потому, что любила его: он не был

ни желанен, ни противен; даже он нравился ей, во всяком случае — больше Цезаря и иных любовников, но брак был выгоден: увеличивал египетское царство и спасал его от поглощения Римом, тем более, что царь его был римским проконсулом.

Она хотела, чтобы этот брак стал эрой счастливого царствования наследницы Лагидов; в Египте пышно расцветут науки, искусства, промышленность и торговля, народ будет благословлять Клеопатру за мирную радостную жизнь, а супруг-император, как Геракл, будет стоять на страже государства. Антоний разделит с царицей власть и сохранит в целостности для их детей земли Египта.

После брачных празднеств, когда Антоний казался особенно влюбленным, Клеопатра, ласкаясь к нему, попросила подарить ей новые земли и, небрежно играя веером, назвала их, точно это были безделушки: Аравия, Тир, Сидон, Иудея. Антоний нахмурился и, освободившись из ее объятий, резко сказал:

— Разве тебе мало того, что я подарил? Не проси — не дам ничего. И прошу тебя — не вмешивайся в дело государств, зависимых от Рима.

Клеопатра обиженно опустила глаза:

— Я не думала, что тотчас же после свадьбы любимый муж может быть так неучтив с влюбленной женою.

— Не сердись. Прости, если я тебя обидел.

— Влюбленная жена всегда прощает мужа, но в уголке ее сердца остается маленькая рана, которая кровоточит...

— Маленькая рана?..

— Маленькая, с булавочную головку. О, Марк Антоний, супруг мой! Не хмурься, а выслушай меня. Я отдала тебе все: себя, свою судьбу, сокровищницу Лагидов, дворцы, царедворцев — весь Египет. И не жадность заставила меня просить тебя о новом подарке. В этот разлив Нила мне приснился сон — клянусь тем, кто спит в Абуфисе, что это правда! — будто я ехала на золотой колеснице, запряженной белыми лошадьми, а ты встречал меня, сидя на слоне. Вдруг лошади понесли — мне стало страшно, я закричала, а ты не мог мне помочь: слон испугался, поднялся на дыбы и бросился на меня... Я проснулась...

Антоний был суеверен, но не хотел показать, что рассказ произвел на него тяжелое впечатление, и сказал со смехом в голосе:

— Одно то, что ты не упала с колесницы, означает миновавшую тебя опасность. Колесница — это Египет, кони — это мысли об овладении римскими землями, а слон — это Рим: я же, сидящий на слоне, проконсул, препятствующий тебе совершить глупость...

Клеопатра пожала плечами.

— Зачем ты хитришь? — молвила она, стараясь казаться веселой. — Неужели ты сам веришь этим софизмам? Нет, нет! Ты не веришь. Ты придумал их, чтобы оправдать свой отказ.

— Клеопатра!

— Не раздражай меня. Я знаю мужей — много их вертится возле меня, а кому я отдала предпочтение? Тебе, проконсул и триумвир! Только тебе...

Антоний встал.

— Твои речи раздражают меня больше, чем ты думаешь. Ты поклялась Озирисом, что сон тобой не выдуман, и я верю тебе. А я поклянусь тремя Аторами, что если бы я отдал тебе просимые владения, римский сенат назвал бы меня врагом отечества...

— Однако же ты дал мне римские земли!

— Дал, но я не знаю, как взглянет на это дело сенат!

— Как бы он ни взглянул, я хочу владеть Аравией, Тиром, Сидоном, Иудеей.
Пожав плечами, Антоний молча вышел из спальни.

XXII

Октавиан узнал о браке Антония с Клеопатрой. Вызвав Агриппу, Мецената, Вергилия, Горация и Галла, он объявил им о полученном известии — спокойно, ничуть не волнуясь, даже пытался улыбнуться, но судорога свела рот. Несколько мгновений Октавиан не мог выговорить ни слова, запнувшись на первом слого.

— Друзья, я хотел побеседовать с вами, — сказал он наконец чужим голосом. — В Сирии произошли крайне странные события. Египетская простибула обольстила женского угодника Антония, и он женился на ней — ха-ха-ха! — женился, имея уже жену! Он оскорбил мою сестру, променяв честнейшую матрону, преданное существо, мать его ребенка, на блудницу — не гетеру, это было бы еще хорошо, а лагерную простибулу!.. Я помню ее — красавица, обаятельнейшая и образованнейшая женщина, царица из дома Лагидов, любовь моего отца...

— Ты прав! — вскричал Меценат. — Это оскорбление...

— Я не говорю о том, что он расщедрился, отдав ей римские земли, — продолжал Октавиан. — Беспокоит меня иное: могущество зятя возрастает, а я боюсь не за себя, а за римскую республику. Если египтянка двинет римские легионы на нас, Антоний, не задумываясь, отплывет в Италию...

— А если он заключит союз с Секстом Помпеем, — прервал Агриппа, — мы погибнем!

Октавиан вскочил.

— С Секстом Помпеем? Нельзя допустить этого! Нельзя! Нужно пресечь в зародыше готовый возникнуть союз.

— Успокойся, Цезарь, я уже придумал, что делать, — сказал Агриппа. — Не будем сейчас порицать Антония, закроем глаза на его глупости. Пусть он воюет с парфами, а мы будем воевать с Помпеем. Находясь в Азии, занятый войной, он не помешает нам разбить Секста. Лепид не страшен без Антония... А когда останется один Антоний...

— ...сенат потребует у него дать отчет в незаконных действиях, — закончил Октавиан.

Рабыни внесли амфоры с вином, поставили на стол кубки. Гораций читал стихи, похожие на Архилоховы ямбы. Октавиану было скучно.

Меценат незаметно для всех толкнул поэта.

Гораций понял и стал читать непристойные эподы о любви старух. Октавиан оживился, повеселел. Захотав, он крикнул Горацию:

— Поэт, описывающий такую любовь, должен был испытать ее. Окажи, не изворачиваясь, многих ли старух ты любил?

Гораций не успел ответить. Вошла Октавия в сопровождении рабынь.

— Какие боги, дорогая сестра, надумали тебя заглянуть к мужам?

— Тоскуя о странствующем Одиссее, Пенелопа прилежно ткет свою пряжу... Однако и ее одолевает усталость и скука. Окажи, брат, нет ли от него известий?

— Известий нет. Если хочешь, я пошлю к нему гонца...

— Нет, нет! Подождем от него письма... Октавиан привстал.

— Прощу тебя, возляг рядом со мною... Я так редко вижу тебя, сестра, что каждый раз радуюсь твоему посещению.

Не возражая, Октавия возлегла выше брата. Грубые и непристойные разговоры прекратились — все знали нетерпимость к ним матроны. Гораций поспешно прятал свои таблички, Вергилий (подмигивал на него Галлу. Гораций краснел.

Заговорила Октавия, и все заслушались ее. Она начала с того, что родина исстрадалась, ведя внешние и внутренние войны, необходим длительный мир, жизнь горожан и земледельцев должна стать спокойной, потому что войны ослабляют республику, нанося ей новые и новые раны.

— Я слыхала, — закончила она свою речь, — что ты, дорогой брат, затеваешь братоубийственную войну против Секста Помпея... Зачем? Неужели ты стремишься, чтобы род Помпея Великого угас? Неужели задуманное тобой дело богоугодно? О, брат, брат! Не подымай руки на мужа, у которого нет дома и который обречен скитаться по морям, не имея пристанища! Дом его — корабль, на котором он живет, дом его — во власти Эола и иных ветров, а еще в большей власти Нептуна. И, если разгневанный бог, наказывая виновных, возмутит море, случай может подвергнуть опасности жизнь Секста Помпея!.. Пусть вернется Секст на родину, пусть вернется супруг мой любимый Марк Антоний и пусть братский мир воцарится в отечестве!..

Октавиан молчал.

— Брат, я незлобива, я люблю супруга и воспитываю даже его детей от Фульвии... Я не хвалюсь, но хочу, чтобы напоминание об этом послужило тебе примером снисхождения к слабости близких, примером того, как нужно любить человека, несмотря на его недостатки. Войдя сюда, я спросила тебя, брат мой, нет ли известий от Антония, и ты ответил, что нет. А я знаю, что он женился на египетской царице. Я едва вынесла этот удар и все же простила супруга. Помни, брат, что он один отважился выполнить великое предприятие Юлия Цезаря, он, его друг, а не сын! Не подумай, что я упрекаю тебя, брат! Нет! Но ты можешь помочь ему в этом трудном деле, и он возвратится скорее в Италию... Я понимаю, почему он прельстился царицей: не было у него друзей на Востоке, не было поддержки, не было средств, а казалось бы, триумвиры должны помогать братски друг другу — триумвиры для восстановления республики!..

Октавиан опустил голову. Молчала Октавия. И молчали друзья и поэты.

Октавия привстала, сделала знак рабыням надеть ей сандалии и направилась к двери. На пороге она остановилась.

— Брат, помни, боги карают людей, нарушающих свои обязанности и обязательства.

И опять Октавиан не ответил.

Шаги сестры мягко зашуршали за дверью.

XXIII

Война Октавиана с Секстом Помпеем продолжалась более года с переменным успехом. Лепид, обиженный тем, что Октавиан отдавал ему приказания как

подчиненному, завязал тайные сношения с Секстом. Он ненавидел Октавиана и старался делать ему неприятности.

Лициния не покидала Секста. Она посоветовала ему не доверять Менасу и назначить другого вождя. Помпей поручил Панию принять начальствование над частью кораблей, а Менаса отстранил. Оскорбленный вольноотпущенник вновь перебежал к Октавиану.

Разбив Октавиана возле Тавромения, Секст захватил шестьдесят неприятельских кораблей, а остальные обратил в бегство. Октавиан бежал. Однако победа не дала преимуществ Помпею: сухопутные войска противника шаг за шагом занимали Сицилию, Лепид шел к Тиндарису, в котором высаживались легионы Агрппы; а другой военачальник двигался от Тавромения большими переходами. Воспрепятствовать высадке войск было невозможно, и Секст принял отчаянное решение — уничтожить все неприятельские суда. У него было сто восемьдесят кораблей — значительно меньше, чем у врага, но иного выхода не было, и он стал готовиться к битве.

Приказав греку Демохару, начальствовавшему над всеми кораблями, плыть к Навлоху, Помпей вышел на палубу. Ночь была тихая, теплая. Вода шумела под веслами гребцов. Корабли вырисовывались причудливыми тенями. Секст подошел к корме, задумался. Он уверен был, что только чудо могло его спасти. Молиться богам? Да и. есть ли они? А если существуют, то почему допускают столько несправедливостей, помогают палачам, демагогам и злодеям? Отчего льется кровь невинных, а злодеи торжествуют?

В отчаянии сжал голову. Теплые руки охватили его шею, нежная щека прижалась к его щеке. Не оборачиваясь, он обнял женщину за стан и, не глядя на нее, продолжал с горечью высказывать мысли, мучившие его. Лициния слушала, не прерывая, и когда он замолчал, сказала:

— Я давно не верю в существование богов. Когда я была похоронена и умоляла Весту о спасении, не она спасла меня, а Катилина. Он подкупил верховного жреца, который должен был объявить весталкам и народу о спасении меня богиней.

Повернувшись к Лицинии, Секст заглянул ей в глаза:

— У меня меньше кораблей, чем у противника, меньше почти вдвое. Завтра я буду разбит. Я обдумал, что делать дальше.

И он стал говорить о новой борьбе. У него были обширные планы; он хотел поднять всю Азию против триумвиров, заключить союз с парфянами, освободить всех рабов, стать вторым Аристоником.

— О, если бы мне удалось это! Помнишь, я сказал Менасу — нет, когда нужно было сказать — да. Там, у Мизенского мыса, я мог бы избавить Рим от кровопролитий ценой смерти двух палачей!

— Господин мой и супруг! Теперь ты жалеешь об этом?..

Секст смахнул украдкой слезы с ресницы.

— Ты плачешь, Помпей Великий? — горестно вскричала Лициния, бросаясь к его ногам и целуя его руки.

— Я плачу, Лициния, о родине. Я проклиная богов, допустивших к власти старого Цезаря, Антония и Октавиана! И я проклиная темноту и несознательность плебса, поверившего подлым демагогам!.. Да, пора на покой, пора... Пойдешь со мной, Лициния?

Она не поняла его вопроса и опросила, куда он ее зовет. И он ответил, обнимая ее:

— Пойдешь ли со мной до конца?

Молча она прижалась к груди мужа и заплакала. А потом шептала слова, точно они могли предотвратить от несчастий отечество, Секста Помпея, его воинов и все, что было еще ему подвластно:

— Всегда с тобою!

Корабли Секста Помпея, осыпаемые каменным дождем из метательных орудий, поставленных на башнях тяжелых судов противника, сопротивлялись с отчаянным мужеством. Более подвижные и быстрые, они кидались на длинные весла вражеских кораблей, ломали их, разбивали рули, но, окружаемые со всех сторон, не могли ускользнуть от крючьев, бросаемых на борта. Сеча происходила на перекидных мостиках, моряки дрались с остервенением, а на помощь врагу прибывали новые и новые силы. Уже Демохар, доблестный грек, был убит, а Секст не отступал, отдавая приказания, и Лициния передавала их начальникам.

— Вождь, около ста шестидесяти кораблей погибли! — вскричала Лициния, подбегая к Помпею. — Прикажешь продолжать борьбу?

— Плыть к Мессане, — повелел Секст.

Семнадцать кораблей отступили, осыпаемые камнями и свинцом. Помпей стоял на борту переднего корабля, рассекавшего грудью волны, и молчал. На сердце было тяжело, и только присутствие любящей женщины придавало ему бодрости. Лициния говорила:

— Я знаю твои планы, Италия тебя любит, Восток помнит твоего великого отца, и ты поднимешь провинции против триумвиров. Не доверяй Антонию, Октавию и Лепиду, мой дорогой! Доверять палачам значит преднамеренно идти на смерть.

В Мессане Секст пробыл недолго: захватив сокровища и свою дочь, он получил известие, что его легионы сдались Лепиду.

«Еще один удар», — подумал он и приказал плыть на Восток.

— Отец, — опросила юная девушка, — верно ли, что мы бежим?

— Верно, дочь моя, — ответил Помпей. — Мы бежим, чтобы начать новую борьбу.

— Борьбу... борьбу... Она надоела... Я хочу в Рим, я хочу...

Лициния перебила ее:

— Не расстраивай его такими речами! Разве не видишь, не чувствуешь, что решается судьба республики? А ты: «Хочу в Рим, хочу...» Кому какое дело до того, что ты хочешь в Рим? Если хочешь, то поезжай, а его не беспокой!..

— Кто ты? Как смеешь говорить мне такие речи? Лициния молча отвернулась от нее. Она презирала надменную дочь вождя: насколько он был мудр и велик, настолько дочь была глупа и ничтожна. Секст исподлобья взглянул на дочь:

— Ты бы пошла отдохнуть. Не пристало дочери Помпея затевать ссоры, выступать на посмешище моряков... Взгляни, как они смотрят на тебя!

Девушка поспешно удалилась: лицо ее было красно.

XXIV

В то время как Октавиан воевал с Секстом Помпеем, Антоний шел на Фрааспу, столицу Мидии. Войска двигались по двум дорогам; на одной, более длинной,

случилось несчастье — парфянский арсак Фраат напал с конницей на римские легионы, разбил их и уничтожил осадные машины. Узнав о поражении войска и потере осадных орудий, Антоний не пал духом, решив все же осадить столицу.

Фраат беспокоил вылазками легионы. Так проходили дни, недели. И однажды союзный армянский царь с притворным испугом поспешно удалился в Армению, уведя с собой конницу, привыкшую к борьбе с парфянами. Это был большой удар для Антония, и в лагере зашептали об опасности налетов вражеской конницы и о страшной участи триумвира Красса. Однако Антония нелегко было запугать. Он не думал об отступлении.

Фраат, видя, что Антоний не снимает осады, беспокоился, опасаясь, как бы не подошли римские подкрепления. Распространив слух, что он готов заключить почетный мир, Фраат приказал своим конникам встречаться с римлянами и вести с ними дружеские беседы о мире, о царе, который не желает войны, потому что заботится о спокойствии в стране и благополучии своих подданных; он даже жалеет римских легионариев, зависящих всецело от воли своих жадных полководцев. Воины кричали, что их радует желание арсака заключить мир, и уверяли парфян, что будут требовать у Антония кончить поскорее эту войну.

Проконсул нахмурился, узнав о происках Фраата. Лагерь возбужденно шумел. Крики легионариев доносились до претории, и полководец приказал легатам обойти лагерь и узнать о причине шума.

— Божественный Антоний, — сказал один из приближенных проконсула, — не доверяй проклятым парфам, предательски умертвившим Красса: слышишь крики?

Полководец прислушался.

— Мир, мир! — гремели легионы. Возвратившиеся легаты подтвердили, что войска требуют мира.

— Эрос, — обратился Антоний к вольноотпущеннику, стоявшему возле него, — я посылаю тебя к парфянскому арсаку с мирными предложениями. Потребуй у него выдачи пленных и возвращения знамен, отнятых у Красса. Взамен этого я сниму осаду с Фрааспы и покину занятые земли.

Эрос отправился к Фраату, но не увидел его, — пришлось говорить с суреной. Выслушав Эроса, парфянский полководец дерзко сказал, что царь отказывает в выдаче римских знамен; зато обещает не беспокоить римлян во время отступления.

Эрос передал ответ Антонию. Проконсул принужден был согласиться.

Дожди и туманы сменились холодами: дули ветры, шел снег.

Воины болели, многие тосковали по родине, по женам и детям. Бородатые ветераны Цезаря утверждали, что «Лысый не ушел бы из Парфии: он отступил бы, чтобы тут же ударить всеми силами и разбить врага».

Не доверяя арсаку, Антоний приказал отступать по горной дороге, недоступной для конницы. Он ехал во главе войск, а впереди него маячила, то скрываясь, то появляясь, конная разведка. Было холодно. Усы и бороды замерзли. Легионарии шли молча, без обычных песен. На привалах многие не разводили костров и не варили полены. Зачем? Скорее бы дойти до мирных городов, где можно было бы отдохнуть. А вероломный Фраат беспокоил налетами отступавшие войска.

Антоний ободрял легионариев, жил так же, как они: питался корнями, пил гнилую воду, отражал нападения, нес караульную службу. Трудно было узнать в этом суровом, неутомимом воине проконсула, избалованного матронами, гетерами и восточными царицами, любителя прекрасного, ценителя искусств. Даже Эрос,

знавший, как ему казалось, хорошо Антония, и тот растерянно мигал глазами, видя, как полководец ухаживает за умирающими от болезней и истощения, и слыша его обещания позаботиться об их семьях.

Эрос думал: «Сколько средств, людей и сил истрчено на это дело! Стоило ли думать о Парфии, когда голова занята египетским престолом и Клеопатрой? Нет! Ничто не удастся ему: коварная волшебница околдовала его!»

Думая так, Эрос ошибался: не Клеопатра, а внутренние дела римской республики беспокоили Антония. Он не знал, что делается в Италии, и торопился в Сирию, чтобы узнать новости.

Составив ложный отчет об успехах в Парфии, Антоний послал его сенату. Он восхвалял стратегический план Юлия Цезаря и умалчивал о своей неудаче, писал о недостатке средств и трудности похода. А про себя сожалел о поспешности, с которой бросился на Фраату.

В Сирии он получил от менялы деньги, присланные Клеопатрой, письмо от нее и два письма — от Лепида. Приказав квестору выдать каждому легионарию по тридцать пять драхм, он заперся в доме, чтобы прочитать письма и обдумать, что делать дальше. Клеопатра сообщала, что соскучилась по нему и страдает от неутоленной любви, намекала, что брак ее с римским проконсулом вызвал злобу египтян и в особенности жрецов; клянясь в своей любви, она уверяла, что если бы Антоний развелся с Октавией и открыто признал ее, Клеопатру, своей супругой, а заодно и увеличил бы египетское государство присоединением земель, о которых она просила его после брака, — общественное мнение Египта изменилось бы в ее пользу, и жрецы охотно признали бы его царем земли Кем.

«Создание великой египетской монархии, — писала она, — доказало бы народу, что этот брак был необходим. Спешу в Египет и не помышляй о вторичном походе на Парфию, — без денег воевать невозможно, а я не смогу их тебе дать по той причине, что жрецы и народ воспротивятся. Оставь в Азии несколько легионов, а остальные распусти: незачем содержать войска, когда надобность в них миновала.

Призывая на твою голову милость Озириса и Изида, обнимаю тебя и целую много раз».

Лепид уведомлял Антония о войне Октавиана с Секстом, о поражении и бегстве Помпея в Азию. Во втором, более позднем письме говорилось о вероломстве Октавиана, возмущившего легионы Лепида, и о переходе их на сторону триумвира.

«Подумай, дорогой друг, — жаловался Лепид, — у меня было двадцать два легиона, включая в это число восемь легионов Секста, перешедших на мою сторону, а Октавиан бесстыдно нарушил наш договор без твоего и моего ведома и низложил меня. Моряки изменили, и корабли мои сдались Октавиану. Триумвират перестал существовать. Злодей не посмел казнить меня, великого понтифика, и я принужден удалиться на время в Цирцеи; там, находясь под стражей, буду взывать к богам об отмщении за несправедливость. Однако я надеюсь возвратиться в Рим. Не может быть, чтобы злодей посмел посягнуть на особу великого жреца. Проклятые хищники Октавиан и Агриппа приобретают по низким ценам сицилийские виллы и огромные домены, принадлежавшие всадникам, проскрибированным в семьсот одиннадцатом году от основания Рима. Прошу тебя, вмешайся в это дело, обдумай его, иначе Октавиан, такой же дуумвир, как ты, может поднять оружие и против тебя... Ты, я и Секст Помпей могли бы заключить новый триумвират и раздавить Октавиана, несмотря на то, что он стоит во главе сорока трех легионов, огромной конницы и

шестисот кораблей, владычествуя над Галлией, Испанией, Северной Африкой, Италией и Иллирией... Ты мог бы поднять всю Азию и Египет, соединиться с Арменией, Персией и Парфией; втроем мы бы раздавили злодея, который угрожает оружием Сексту Помпею и будет, бесспорно, угрожать и тебе».

Антоний задумался.

«Италия любит Секста Помпея, Лепид — друг детства Юлия Цезаря и мой друг, а мой авторитет велик — Италия и провинции если и не любят меня, то все же предпочитают Октавиану. Заключить этот триумвират значит начать новую гражданскую войну, бросить народы на народы, отказаться надолго от царской диадемы и Клеопатры. Стоит ли начинать борьбу в моем возрасте? Не лучше ли заменить ее спокойной жизнью, пирами, увеселениями, любовью Клеопатры и Атуи?»

Мысль об Атуе вызвала в нем радость. Он повеселел и стал думать о девушке. Конечно, Клеопатра прекраснее, изящнее и умнее; она — зрелый сочный плод, вечная Женственность, а Атуя — лишь созревающий плод, скромная Юность. Опытная в искусстве любви гетера и неопытная стыдливая девушка!

Вошел Эрос и попросил позволения отлучиться на сутки. Он объяснил, что Халидония живет в Антиохии и он не видел ее с тех пор, как господин возвратился из Парфии.

— Зачем ты ее вызвал в Сирию, когда еще неизвестно, куда мы отправимся?

— А разве господин не поедет в Египет? — с удивлением спросил Эрос.

Антоний не ответил. Долго он ходил взад и вперед возле жертвенника Гестии и что-то шептал.

«Молится богам или совершает заклинания? — спрашивал себя вольноотпущенник и не находил ответа, — А может быть, решает, что лучше: Италия или Египет?»

— Зиму, а может быть, и весну проведем в Азии, — сказал наконец Антоний, останавливаясь перед жертвенником. — Знаешь, Лепид низложен, триумвират не существует.

Эрос растерянно смотрел на Антония.

— Что молчишь? Лепид предлагает мне триумвират с привлечением на нашу сторону Секста Помпея.

— Дай подумать, господин мой!.. Не знаю, что и посоветовать. Октавиан страшно могущественен, Италия против тебя...

— Италия любит Секста...

— Это так. Но Лепид? Чем он, эпикуреец, поможет тебе? Нет, господин мой, не иди против Октавиана, пощади супругу свою...

— Которую?

— Я говорю, господин мой, об Октавии...

Опять Антоний ходил взад и вперед, а Эрос думал о Сексте Помпее. Если Азия, Италия, Африка и Египет присоединятся к новым триумвирам и на море помогут им пираты, Октавиан не выдержит. Однако он не высказал вслух своих мыслей.

— Посоветуйся, господин мой, с мужами более зрелыми и более умными, чем я. Глубоко уважая твою супругу Октавию, я не могу бросить в нее камня. Пусть Йоги смягчат твое сердце!

Пользуясь тем, что неудача завоевания Парфии подорвала авторитет Антония на Востоке и многие царьки отшатнулись от него, Секст Помпей задумал изгнать триумвира из Азии, захватить ее и объединить против него все государства, в том числе Парфию, Армению и Поит. Но опасаясь открыто выступить против Антония, Секст решил обмануть его: он завязал с ним переговоры о мире и дружбе, уверяя его, что победа над Октавианом обеспечена, если Антоний не будет колебаться в выборе сподвижников.

«Расторгни старый триумвират и заключи новый. Ты, я и Лепид сделаем для республики гораздо больше, чем жалкий демагог Октавиан». Так писал Секст Помпей Антонию. А сам тайком послал Лицинию в Азию в сопровождении нескольких контуберналиев. Она должна была договориться с царьками о союзе и согласованности действий против Антония, а Секст должен был собирать в это время корабли и вербовать воинов.

Средств у него было достаточно: еще во время бегства из Сицилии он разграбил храм Юноны, находившийся на Лацинийском мысе, и взял все сокровища, а в Митилене, объявленной Помпеем Великим свободным городов, получил большие средства для борьбы с Октавианом. Даже римские магистраты, зависевшие от сената, поддерживали Секста и не препятствовали ему готовиться к войне, которую считали справедливой, а месть за Помпея Великого — божьим воздаянием.

Собрав войска и корабли, Секст высадился в Азии и двинулся к Ламлсаку. Взяв его, он проник в Вифинию. Дожидаясь Лицинию с известиями от царьков (а она не ехал а), Помпей стал уже отчаиваться в успехе переговоров, но в это время прискакавший разведчик сообщил о выступлении против него Тития, наместника Сирии, с легионами и кораблями.

Секст понял, что замысел его разгадан Антонием, и, стиснув зубы, стал готовиться к борьбе.

Положение было тревожное. Впереди была беспощадная война, но Помпей готов был перенести всевозможные лишения.

Лициния прибыла внезапно в один из мягких зимних дней. Шел крупными хлопьями снег, садясь на ее фригийскую шапку и на пеплос. Лицо ее было усталое — много дней и ночей ехала она по скользким горным тропам и ухабистым дорогам, ночуя у пастухов и земледельцев в дымных и закопченных хижинах.

Увидев Секста, вышедшего из домика, находившегося на окраине города, она проворно спрыгнула с коня, вспыхнула, как девочка, и бросилась к нему.

Помпей удержал ее и спросил:

— Какие вести?

— Неопределенные, — ответила она со вздохом. Секст обнял ее, и снег с ее шапки посыпался на его одежду, мягкий и влажный.

Лициния рассказала, что царьки колеблются: одни боятся Антония, который, несмотря на неудачный поход в Парфию, кажется им сильнее Помпея; другие считают, что египетский царь и римский проконсул могущественнее Октавиана, а так как дуумвиры находятся в родстве, то, несомненно, помогут друг другу; третьи утверждали, что Цезарь, начавший войну с Секстом, будет продолжать, ее, и указывали на согласованность действий Антония и Октавиана: разве Антоний не отправил уже сирийских легионов против Помпея?

Секст спокойно выслушал Лицинию. Опять он один должен был противостоять натиску озверелых дуумвиров, которые, лишив сына Помпея Великого родины и очага, преследовали его, как волки. Где выход? Что делать? Сдаться им на милость, как Лепид? Нет, Секст Помпей — римлянин и не покорится произволу тиранов и продажных разбойников с большой дороги: он будет бороться до конца, как Аристоник, вождь рабов и пролетариев, он поднимет невольников против угнетателей и тогда...

Слушая его, Лициния вскричала, воздев руки к хмурому небу:

— Неужели всегда будет на земле рабство и угнетение бедного богатым? О, если так, то не лучше ли было бы женщинам не рожать вовсе, а мужчинам стать евнухами? И когда люди вымерли бы — некому и не над кем было бы издеваться!

XXVI

Неудача Антония в Парфии обрадовала Октавиана, и он свысока смотрел на своего коллегу по управлению восточной половиной государства. Победа у Навлоха вскружила ему голову, и власть над народами казалась естественным завершением «трудов», положенных на «восстановление республики». Все, что он ни делал, все действия, соединенные с демагогией, подкупам, лицемерием, обманом, ложью, вероломством, насилием, растлением и иными подлостями, отвечали стремлениям его низкой души. Агриппа возмущался честолюбием, мстительностью, жадностью и завистью молодого тирана.

Октавиану было двадцать семь лет, но характером он напоминал старика: не любил роскоши, был скуп, расчетлив и бережлив. В Риме говорили, что в нем живет душа велетрийского ростовщика, готового на разные низости, чтобы скопить лишний асе.

Его угнетало то, что Секст Помпей готовился к новой войне, Антоний, женившийся на египтянке, мог отомстить ему разводом с Октавией, недовольные легионы требовали денег, обещанных еще во время Мутинской войны, а средств не было — трудно было содержать сорок три легиона. У него явилась мысль распустить восемь легионов и дать им земли. А где взять денег на покупку земель и уплату жалованья ветеранам?

Он боялся бунта легионариев, измены друзей и дрожал при малейшем шуме, точно каждый час могла решиться его участь. Не мог спокойно спать, и Ливия спрашивала по ночам, что его беспокоит. Временами его охватывало отчаяние, и он молился божественному Юлию, умоляя о совете. Ливия успокаивала его; вместо Юлия Цезаря совет давала она, и Октавиан, доверяя ей больше, чем даже Агриппе, действовал нередко по ее указаниям — как она решала женским умом, неподготовленным к политическим делам. Она посоветовала ему прочитать «Об обязанностях» Цицерона, побеседовать с Дидимом Ареем, проповедывавшим умеренность и воздержание, и Октавиан послушался ее. Следствием «пения и бесед были уступки, которые он сделал обществу. Были возвращены магистратам права, отнятые 1рп ум вирами, проявлена забота о собственниках, отлупи но и наделено землями двадцать тысяч воинов. Однако и тут врожденная подлость разрешилась вероломством: распуская восемь легионов Секста Помпея, которые были из

сицилийских рабов и беглых италийских невольников (по Мизенскому договору они стали свободными), он объявил, что Мизенский договор расторгнут: вы должны вернуться к своим господам.

«А кто не вернется, — кричали глашатаи на площадях италийских городов, — тех приказано разыскивать и препровождать силою».

Агриппа был против такого решения и сказал Октавиану, выходя с ним из сената:

— Ты совершил ошибку, Цезарь! Эти люди станут твоими врагами, и в случае борьбы кого-либо из полководцев они пойдут против тебя.

— Не пойдут, — свирепо выговорил Октавиан, — а пойдут, я применю к ним децимацию, распну на крестах вниз головой, как пиратов.

И, помолчав, спокойно добавил:

— Пролетарии волнуются, требуя работы, и я решил, чтобы успокоить крикунов и заткнуть рты подстрекателям бунтов, строить на Палатине храм Аполлону. Кроме того, я отпущу средства, чтобы ускорить постройку храма Цезаря и Марса Виндикатора на Капитолии.

— Все это было бы хорошо, — одобрил Агриппа, — если бы ты не обидел помпеевых воинов. Я с радостью поздравил бы тебя со счастливым началом твоей деятельности.

...Октавиан был убежден, что эти дни нельзя считать счастливым началом его единовластной деятельности; пока живы Секст Помпей и Антоний (о Лепиде он не думал), борьба будет продолжаться, и лишь тот день будет счастливым, когда он станет единственным правителем Рима, всего государства, западного и восточного.

Эти мысли он хранил про себя, никому их не высказывал, даже Ливия и Агриппа не догадывались о дерзких замыслах сына Цезаря. А в тайнике его души дозревало грозное решение против Антония, были мысли и о Клеопатре, но они еще бродили, одинокие, неоформленные, пугая его самого; он отгонял их, боясь поражения и смерти от руки Антония, а они назойливо лезли. Тогда он становился угрюмым, уходил от жены и друзей, запирался в таблинуме и, улегшись, мечтал о еще большем могуществе, о еще большей власти.

Однако могущество Октавиана не было таким, как он о нем мечтал, — римское общество, возненавидевшее имя Цезаря-отца, смотрело на Цезаря-сына как на чудовище. Плебс и даже зажиточные люди, заразившиеся демократическими идеями, противопоставляли Октавиану доблестного мужа, о котором с любовью и нескрываемой горечью по поводу его поражения говорил весь Рим. Имя Секста Помпея было у всех на устах. Рабы повторяли это имя с надеждой отчаяния. Образ Спартака продолжал жить среди угнетенных, Спартак был знаменем и светочем борьбы, и страшная травля Октавианом освобожденных в Сицилии рабов предвещала новую борьбу, эти насилия были вероломством и издевательством над человеком. Рим знал, что рабы бежали вслед за Секетом в Азию. Их ловили, за ними охотились с собаками, а они сопротивлялись. Кому удалось пробраться в Азию, тот присоединился к Помпею, но многие погибли с оружием в руках.

Октавиан знал об этом, и беспокойство терзало его.

Проходя однажды по форуму, он остановился перед золотой статуей, изображавшей его верхом на коне, с занесенным мечом, и, вспомнив о даровании ему сенатом всех магистратур, спросил Агриппу:

— Ты считаешь, что желать мне больше нечего, точно я добился всего. Но всего ли? Ты хорошо подумал?

— Сенат декретировал тебе величайшие почести после победы твоей у Навлоха, несмотря на ропот народа, любящего Помпея, — смущенно ответил Агриппа, удивляясь в душе, как мог Октавиан присвоить себе чужую победу — его, Агриппы, победу. — Ты — господин на суше и на море. Чего тебе еще?

— Еще? Секст Помпей жив или умер? Жив, говоришь? Я должен был войти в доверие народа, противопоставить себя Сексту, и это мне удалось, но какой ценою!

«Он надел овечью шкуру, — подумал Агриппа, — собрал народ вне помериума и воссоздал трогательный случай из прошлого республики; сын Цезаря давал отчет народу в своих действиях, объясняя те или иные поступки. Народ был умилен. Клянусь Юпитером! я видел слезы на глазах многих магистратов и удивлялся доверчивой глупости старых ослов... Конечно, он сложил с народа все недоимки не из-за человеколюбия. Запретив богачам носить пурпур и введя в коллегию авгуров Валерия Мессалу Корвина, он добивался популярности, похвал, любви и уважения народа. Он жаждет низкопоклонства, а кто его любит? Он или одержим лаврами, или дик и безумен... А может быть, пал так низко, что для него составляет удовольствие делать подлости и лицемерить? О боги, можно ли после этих речей порицать в чем-либо Антония и Лепида? — И Агриппа тут же подумал о себе, — краска выступила на щеках, губы дрогнули: — Почему же я служу ему? Неужели оттого, что выгодно? Нет, нет! Я люблю родину и надеюсь, что сын Цезаря, восстанавливая республику, последует советам Дидима Арея, неопифагорейца. Дидим учит, что доброта, умеренность и воздержание правителя способствуют благоденствию народа».

Смеркалось. Форум пустел. Сторожа, с факелами в руках, зажигали светильни, но ветер тушил огонь.

— Что молчишь? — спросил Октавиан, взглядываясь в лицо Агриппы и стараясь угадать, какое впечатление произвела на него беседа. — Уж не осуждаешь ли ты меня?

— Я думаю, Цезарь, как сложен и труден путь к власти, — уклончиво ответил Агриппа. — Пойдем к Дидиму Арею и послушаем, одобрит ли он твои речи. Я же, Цезарь, плохой политик; я больше привык к войне и стратегическим хитростям.

— К старику не пойду, — резко сказал Октавиан, отвернувшись от Агриппы, — а не пойду потому, что старость нередко отстоит от детства на расстоянии толщины волоса.

И зашагал к Палатину, оставив друга далеко позади.

XXVII

Весной следующего года Титий, военачальник сирийских легионов, сообщил Антонию, что с Секстом бороться трудно: освобожденные Помпеем рабы препятствуют продвижению войск, и, если не будут приняты своевременно необходимые меры, освобождение невольников может перекинуться на целые области Азии и значительно затруднить военные действия.

Обеспокоенный письмом Тития, Антоний тотчас же приказал ему завязать переговоры с Секстом о перемирии и пригласить его в небольшой городок, где Помпей встретится с Антонием и точно договорится об условиях прочного мира.

«Намекни ему, — писал Антоний, — что, поскольку триумвират распался, возможны дальнейшие переговоры в Эфесе о возобновлении триумвирата с заменой

Октавиана Секстом Помпеем и привлечением Лепида.

Поезжай в условленное место раньше Секста, там ты его встретишь и точно исполнишь мое приказание, изложенное в прилагаемой записке, каковую по прочтении немедленно уничтожь. Не откладывай дела, действуй быстро».

Письмо повез Эрос.

Антоний задумался. Не так ли погубил он Кассия, который при Филиппах мог вместе с Брутом отнять у него победу? Недозволенными средствами и способами расчищал он себе дорогу, не жалея жизней.

Вошел легат и положил перед Антонием письма из Рима, Александрии, Афин и нескольких азиатских городов.

Октавия писала, что едет к нему с двумя тысячами вооруженных легионеров, с военной одеждой, выючными животными, деньгами и подарками для его военачальников и друзей. Она спрашивала, куда ей следовать из Афин, и сообщала, что брат желает начать с ним переговоры о сложении с себя власти триумвира, если Антоний поступит так же; что в речи, произнесенной в сенате, Октавиан говорил: «Гражданская война кончена, и триумвират больше не нужен».

Читая письмо, Антоний досадовал на Октавию, выехавшую из Рима, а еще больше — на Октавиана.

— Ловушка на крупного зверя, — бормотал он. — Имея мое согласие, он объявит об этом в сенате и заставит отцов государства умолять его остаться во главе республики. Проклятый ростовщик!

Один из друзей сообщал, что Цезарь решился, наконец, несмотря на свою скупость, удалить гнилые зубы и вставить золотые.

«Египтяне и греки стараются превратить гнилозубого в золотозубого, как будто возможно таким действием превратить волка в ягненка? Золотыми зубами он будет не менее жадно перегрызать глотки квиритам, как делал это гнилыми. С какой радостью — будь я зубным лекарем — вонзил бы ему меч через раскрытый рот в самое горло!»

Из Афин писали гетеры; письма их были остроумны, местами веселы, не лишены непристойных намеков, слог ярок, цветист. Читая их письма, Антоний старался припомнить себе лица этих гречанок, но не мог, — Ламия, Потимния, Клеис сливались в одно бесформенное изображение с туманным обликом: глаза, улыбки, губы и волосы — все перепуталось, ион, вздохнув, отложил письма. Так много было у него афинянок, спартанок и азиатских гречанок, что он не помнил, когда и при каких обстоятельствах встречался с ними: приводил ли их Эрос или сам Антоний после бесед с философами, риторами и стоиками?

Послание от Клеопатры вызвало улыбку. Он ждал царицу, а она опаздывала; писала, что едет, и умоляла бросить войны ради прекрасной жизни с любовью и наслаждениями.

«Живем только один раз, — читал Антоний, — и все нужно взять у жизни. Торопись же, господин мой, царь и супруг!»

— Она не спешит, а я должен торопиться, — усмехнулся Антоний, пожав плечами.

Со скучающим лицом перебирал он письма, и вдруг щеки его вспыхнули, как у юноши: он держал небольшой свиток, догадываясь, от кого он. Уже однажды Антоний получил похожее письмо и весь день ходил, как очарованный. А теперь опять такое же послание — клочок папируса, неумело свернутый и завязанный, и полуграмотные

письмена.

— Атуя, — прошептал Антоний, поспешно разворачивая папирус. — Письмо необычно, как необычна вся Атуя.

Читал, улыбаясь, погрузив руку в бороду:

«Атуя — Антонию.

Все ждут тебя: царица, слуги, народ, рабы, вся земля Кем. А больше всех ждет тебя Атуя».

Антоний послал письмо Октавии, приказывая ей не ехать дальше Афин, ибо он намерен отправиться в поход. А сам решил дожидаться Клеопатру в местечке Левкоме.

Он тосковал по ней и, чтобы забыться, много пил. Удалив от себя певиц и плясуний, он беспрерывно посылал гонцов в Верит и Сидон и рабов на улицу, даже ночью, узнавать, не едет ли она.

Царица приехала однажды утром, когда он, усталый от ожиданий и полупьяный, еще спал. Она не велела будить его и занялась распределением одежд, привезенных для легионариев.

Проснувшись, Антоний вскочил с ложа, протирая глаза: в кресле сидела Клеопатра, рядом с ней стояла Атуя.

— Сплю я или вино туманит мою голову? — прошептал он. — Это ты, моя царица?

Клеопатра со смехом бросилась к нему.

— Я знал, что ты приедешь, как всегда, неожиданно, — говорил Антоний, сжимая ее в объятиях и поглядывая на Атую. — Как ехала? Как здоровье? Дети? Все ли благополучно?

— Хвала богам! — певучим голосом сказала Клеопатра. — Я слышала, что к тебе едет Октавия... Говорят, она в Афинах. Поедешь ты к ней?

— Я сообщил ей, что отправляюсь на войну.

— Ты не уйдешь с нею?

— Зачем? Ты — моя жена... Клеопатра притворно вздохнула.

— Увы! Ты говоришь, что твоя жена, а Октавии не посылаешь разводной... Неужели тебе доставляет удовольствие мучить обеих — любимую и нелюбимую? Скажи откровенно: кто из нас любимая — царица или матрона?

— Зачем ты меня спрашиваешь об этом? Ответ мой — в моих глазах, объятиях, поцелуях и в сердце, которое бьется для тебя!..

— Все вы, мужи, говорите так, испытывая желание, ниспосланное Афродитой, а потом начинаете обращаться дерзко и грубо...

Антоний нахмурился. Подойдя к Клеопатре, сидевшей в кресле, он заглянул ей в глаза.

— Что с тобой, моя царица? — сказал он, прижимая ее голову к своему большому животу. — Ты устала, и оттого черные мысли терзают тебя. Ляг, отдохни. Пусть божественный сон сомкнет твои вежды, которые я так люблю, пусть...

Клеопатра оттолкнула его.

— Поезжай к своей Октавии! Римлянка, пропахшая чесноком и луком, милее тебе дочери Лагидов! Что так смотришь? Завтра же уезжай в Афины, а я вонжу себе в грудь это отравленное лезвие!

Антоний бросился к ней, отнял кинжал и, упав на колени, уткнулся лицом в ее

хитон.

— Клеопатра! Чего ты хочешь — говори, и все будет, как скажешь. Но пощади меня...

— Поговорим позже. Встань, супруг мой, и вели раздать легионариям военные одежды, которые я привезла. Не забудь также разделить между ними деньги. Семнадцать мешков серебра я сдала в Сидоне твоему квестору.

Антоний вышел. Во дворе кто-то дернул его за тогу. Он схватил вытянутую из-за колонны руку, и смеющееся личико Атуи выглянуло и скрылось.

— Ночью в саду, — зазвенел ее голос, и шаги зашуршали по мозаичным плитам.

XXVIII

Напрасно прождав Антония несколько недель в Афинах, Октавия послала ему грустное письмо, в котором, не выражая ничем оскорбленного самолюбия, мягко спрашивала, куда послать привезенные одежды и вещи для воинов, кому сдать на хранение деньги и подарки. Гонец, которому было приказано дожидаться ответа, вернулся без письма от Антония. Не желая расстраивать униженную госпожу, он солгал, заявив, что триумвира не нашел уже в городе, а письмо передал его вольноотпущеннику, который должен был догнать Антония далеко за Сидоном.

Октавия заплакала и, приказав сделать опись вещам и ценностям, сдала их греческому меняле, взяв от него расписку.

Быстро собравшись в путь, она выехала из Афин, направляясь в Брундизий. В душе она порицала Антония за невнимание и дерзкое обращение, предчувствуя, что брат использует поступок Антония во вред ему.

Так и случилось. Увидевшись с сестрой, Октавиан сказал:

— Он еще раз оскорбил тебя и меня, и я приказываю жить тебе в моем доме... Ты должна отказаться от вероломного супруга и от забот о его детях...

Октавия живо прервала его:

— Брат мой, не причиняй мне горя, заставляя выехать из его дома, Я люблю мужа и не могу отказаться от него... Кто знает, чем кончится эта холодность? Может быть, он вернется ко мне раньше, чем мы думаем, и что он скажет тогда о жене, покинувшей мужа, не известившей его о своем решении? Прошу тебя, если ты не помышляешь о войне с Антонием, — а я молю богов только об этом! — не обращай внимания на мое положение, ибо оно ничто по сравнению с тем, что два величайших императора враждуют между собой, — один из ревности, а другой — из любви к женщине...

Октавиан ответил, скрывая раздражение:

— Так любить, так поступать, как это делаешь ты, достойно похвалы и порицания. Такое постоянство — добродетель, украшающая матрону, но коль скоро эта добродетель становится во вред тебе, я принужден осудить и ее и тебя, дорогая сестра. Супруг, ставший восточным царем, вступил в брак при жизни жены и помышляет больше о наслаждениях, чем о добродетельнейшей из женщин. Он свысока смотрит на Рим, на нас с тобой и не заботится о своих детях...

— Я о них позабочусь, брат мой...

— Великодушие, равное безумию!

— Не сердись, не мешай жить спокойно. И не начинай — заклинаю тебя

богами! — войны с Антонием.

Речи Октавии изумили триумвира. Он гордился сестрой и еще больше возненавидел Антония. Исподтишка он наблюдал за Октавией: она жила в доме Антония, заботилась о своих детях и детях Антония от Фульвии, принимала друзей мужа, приезжавших в Рим по делам и добивавшихся кандидатур на общественные должности, и ходатайствовала за них перед Октавианом.

Общество презирало Антония за оскорбление Октавии, «редчайшей из матрон», и величало Клеопатру гетерой, женщиной продажной и бесстыдной.

— Отнимать у жены мужа, с умыслом иметь от него детей, чтобы оправдать себя в глазах приближенных и египетского народа, — не есть ли это подлость, соединенная с обманом? — говорил Меценат, возбуждая Октавиана против Антония и забывая, что сам Октавиан поступал не менее подло по отношению к своим прежним женам.

— Тем более гадок его поступок, — вмешался Агриппа, — что Октавия — олицетворение кротости, незлобия и доброты. О, если б я был смелее с женщинами, я бы посватался к ней еще до ухаживаний Антония! Она казалась мне неприступной, недосыгаемой, как богиня. И я упустил, друзья, олицетворенную добродетель по своей робости и глупости!

Октавиан встал.

— Все эти похвалы и сожаления заслуживают похвалы и сожаления, — насмешливо сказал он, — но больше их меня занимает Секст Помпей. Я поручил Антонию продолжать с ним борьбу, а как она протекает — не знаю. Агриппа так и не послал наблюдателей в Азию... Ты, кажется, хотел что-то сказать, Марк Випсаний?

— И повторю, что послать их не поздно и теперь, — ответил Агриппа.

— Ты думаешь? Впрочем, я кое-что знаю: Титий выехал в некий городок, и туда же вызван Секст Помпей.

Агриппа и Меценат с удивлением смотрели на Октавиана, опрашивая себя, как могло случиться, что такие важные события прошли мимо них.

— Изумление ваше, дорогие друзья, доказывает, что вы мало помышляли о Сексте, опаснейшем из всех мужей. А я, понадеявшись на вашу прозорливость, не послал во-время наблюдателей. К счастью, халдей, предсказавший мне великую будущность — не тот старик, которого я хотел наказать на пиру у Секста Помпея, а другой, — проезжал через городок именно в то время, как туда прибыл Титий, и узнал, что римский военачальник ожидает Секста. Халдей поторопился в Рим, и сегодня утром я уже знал о делах Антония.

— Счастливая случайность! — воскликнул Агриппа, плохо скрывая свое смущение.

— Тем более счастливая, — добавил Меценат, — что если бы я, Цезарь, находился все время при тебе, я не допустил бы того, что допустил Агриппа.

Толстые красные губы Агриппы дрогнули.

— Замолчи, низкий лицемер! — выговорил он, едва владея собою. — Хвастовство твое оскорбляет стены этого дома. Чем ты проявил себя, служа нашему господину? Чем? Зато о себе я могу сказать: я помог Цезарю разбить Секста Помпея на море, изгнать его из Сицилии и иных островов...

Меценат молчал.

— Я мог бы еще напомнить о победах моих в Аквитании, — продолжал Агриппа, — но не хочу уличать тебя в происках против меня. Пусть господин наш Цезарь скажет беспристрастно, кому он больше обязан — мне, другу своего детства,

или тебе, жалкий выскочка?..

Октавиан засмеялся,

— Тише, друзья, тише! Оба вы нужны мне, обоих вас ценю, и не время ссориться и оскорблять друг друга! То, что я сказал вам, должно быть сохранено в тайне, и только письмо Антония снимет печать молчания с наших уст.

И он приказал вошедшему рабу позвать Ливию. Меценат и Агриппа поторопились уйти.

XXIX

Меценат, покровитель искусств и литературы, ходил взад и вперед по таблинуму и диктовал рабу стихи, которые сочинял «по наитию свыше», как он любил утверждать в спорах с Горацием, Вергилием, Галлом и иными поэтами. Он готовил книгу, которую назвал «Гетеры» и которая, по его мнению, должна была жить в веках, в потомстве, как украшение правления молодого Цезаря. Эти гекзаметры он создавал четверостишиями, стараясь в каждое из них включить определенный смысл.

— Пиши, — обратился он к скрибу и, остановившись, стал говорить нараспев, отбивая ногою размер:

XX

В рое сошедших на землю богинь страстнооких Милета
Славилась между гетер ты, о Аспазия-мать!
В гордых Афинах великие мужи вселенной с тобою:
Фидий, Перикл и Сократ, злой Теоды кумир!

XXI

Светлая в блеске божественных дев, о супруга Перикла!
Как ты сумела вовлечь Грецию в войны? Самос
С бурной Мегарой в мечи нарядились и в шлемы и в латы:
В звонах кровавых шумит ратная доблесть племен!

XXII

Смертные! Фрину кто зрел совершенно нагую в цистерне,
Может на стогнах сказать: «Гелиос бросил копье,
Встала из пены рожденная девушка, нимфа Нептуна,
Вышла на берег. Легла. Пена струится с волос»...

Заставив раба перечитывать стихи, он напрасно искал хотя бы одного слова, чтобы придаться к нему, заменить иным, более звучным или ярким, и — не находил. Он думал, что эти стихи не заимствованы им у Невия, Энния, Ливия Андроника, Катутла, ни у Гомера, Гезиода, Сапфо и иных поэтов, и гордился ими больше, чем мог гордиться Вергилий десятью своими «Эклогами», которые он, Меценат, считал скучными, растянутыми и маловыразительными.

В этот день он был в том приподнятом настроении, которое называл вдохновением, не думая, что оно было следствием общения Октавиана накануне на пиру у Агриппы. Цезарь обещал ему поддерживать не только начинающих поэтов и писателей средствами и подарками, но даже выявившихся и известных не оставлять без вознаграждения. И в доказательство того, что его обещания не пустые разговоры, Октавиан написал тут же, за фиалом вина, записку своему аргентарию с приказанием выдать Меценату на «литературные расходы» сто тысяч сестерциев. «Это только для начала, — добавил триумвир, — лишь бы ты употребил их разумно, с пользой и представил мне доказательства, что дело, задуманное тобою, стоит твоих трудов и моих денег». Обрадованный вниманием Цезаря, Меценат не спал почти всю ночь, обдумывая, как употребить эти деньги, и чуть свет принялся за работу над книгой стихов, которые давно уже хотел предложить как образец начинающим поэтам и как произведение, достойное соперничества с Горацием и Галлом (Вергилий большую часть года жил в Неаполе и на Капрее).

Он остановился возле невольника и сказал:

— Пиши.

XXIII

В храме Дианы в Эфесе — из золота статуя Фрины.

Славься, ваятель-маг и богоподобный творец!

Сладостно Фрину любил ты, прекрасную Фесписа музу;

Имя Триферы веками в пламени роз подарил.

Раб доложил, что некто хочет видеть господина, и добавил, как бы извиняясь за пришельца:

— Только он одет, как нищий.

— Чего ему нужно? — нетерпеливо спросил Меценат, недовольный тем, что часы творчества нарушены и вдохновение исчезает.

— Господин, он говорит, что пишет стихи...

— Пусть войдет! — вскричал Меценат, предвкушая удовольствие дать совет, как нужно писать, и заодно прочесть свои стихи, которые считал образцовыми.

Вошел бледный юноша, в лохмотьях, с гордым выражением лица, и Меценат невольно подумал: «Сын одного из бывших нобилей или всадников». Чувствуя, как неприязнь захлестывает душу, он, едва сдерживаясь, указал ему на кресло.

— Сядь. Говорят, ты пишешь стихи. Что же ты принес с собою?

— Много наслышавшись о тебе как тонком ценителе изящного и покровителе наук, искусств и литературы, я не мог отделаться от желания, внушенного мне, несомненно, самим Аполлоном — клянусь его именем! — и решил обратиться к тебе. Ты спрашиваешь, что я принес? Сперва послушай, а потом оцени.

— Стихи?

Поэт кивнул и вынул из одежды завернутые в тряпку навощенные дощечки.

— Господин позволит?

И прочитал звонким юношеским голосом:

Памятник в белом Коринфе на площади города шумной;
Львица барашка терзает — алчно на части казнит...
Женщины дивной Фессалии жрицу Лаису убили —
Жрицу любовных истом, жрицу сверхпламенных нег!..

Поэт прочитал еще несколько четверостиший. Меценат молчал, не зная, к чему придаться. Он испытывал чувство поэта, который считал свои стихи лучшими, непревзойденными и внезапно наткнулся на соперника, который пишет не хуже, если не лучше его.

Улыбнувшись принужденно, Меценат похвалил его стихи и сказал:

— Я рад, друг, что ты работаешь и преуспеваешь в этом деле. Позволь же поощрить тебя деньгами, чтобы ты еще лучше мог работать и немного приоделся. Приходи завтра вечером — у меня будут Гораций и Вергилий.

Юноша ушел, унося с собой одну тысячу сестерциев.

А на другой день, когда пришли смуглолицый Галл и краснощекий Гораций, а юноша не явился, Меценат, рассказав им с возмущением о неблагодарности поэта, воскликнул:

— Вместо того, чтобы быть признательным мне за то, что я слушал и похвалил его стихи, а Цезарю — за его деньги, он пренебрег моим приглашением! О молодежь! достойна ли ты милостей Цезаря и внимания истинных поэтов?

Галл и Гораций переглянулись с лукавыми огоньками в глазах.

— Действительно ли хороши его стихи? — спросил Гораций.

— Хороши, — ответил Меценат, вспоминая строчки о знаменитой гетере Лаисе.

— Лучше твоих?

— Не знаю... Не мне судить, — смутился Меценат.

— Однако ты не порицаешь их...

— Я хвалю их.

— А так как ты хвалишь их, то не подумал ли ты, что этот юноша может быть твоим соперником?

— Соперником?

— Клянусь Аполлоном! Разве он не пишет, как и ты, о гетерах? Ведь сам же ты сказал, что это так...

Заметив огорчение на лице Мецената, Галл сказал:

— Не печалься, боги часто награждают людей неожиданной радостью...

Меценат поднял голову, оглядел поэта с подозрительной внимательностью. Галл и Гораций захохотали.

— Успокойся! — закричал Галл. — Соперник не юноша, а мы! Мы написали стихи, похожие на твои, и подослали юношу к тебе...

Меценат вскочил с гневом на лице.

— Вот тебе доказательство, — со смехом добавил Гораций, — что можно подражать стихам любого поэта, перенять у него слог, обороты речи, даже мысли. А ты — помнишь — спорил, что это невозможно?

Меценат нахмурился.

— Если бы это сделал кто-либо другой, — вымолвил он трясущимися губами, — то — клянусь Аполлоном и музами! — я жестоко бы расправился с ним.

Опасаясь западни, Лициния умоляла Секста не ездить на свидание с Титием.

Точно предчувствуя, что они больше не увидятся, Помпей ласкал и целовал Лицинию.

— Не удерживай меня, — говорил он, — если я погибну, не отказывайся от борьбы, не хорони республику, не клади на могиле ее камень. Продолжай мое дело, пока будет возможно...

Он прижал ее к груди, стегнул коня и поскакал по дороге, впереди отряда всадников, не оглядываясь, дрожа от нетерпения добраться поскорее до Мидизона, где ожидал его Фатум, от которого, как он думал, никуда не уйти и законы которого непреложны, как законы движения звезд и планет, смены ночи и дня, времен года.

Издали он увидел храм, черепичатые кровли домов и поскакал к форуму. Остановив коня неподалеку от агоры, он послал рабов узнать в тавернах, не приехал ли еще Титий, военачальник Антония.

Уже смеркалось, и в тавернах зажигались огни. В прилегавших к форуму улицах появлялись тени, сгущаясь в черные пятна. И вдруг эти пятна придвинулись к Сексту, стали окружать его и всадников. Кто-то крикнул: «Измена!» Чей-то голос, яркий и пронзительный, прокатился по улицам, повис страшной угрозой. Помпей ударил коня, крикнул всадникам следовать за ним и помчался по направлению к форуму. Черные всадники загородили ему дорогу, резкий голос прокричал:

— Сдать оружие — именем Цезаря и Антония! Секст оглянулся на отряд, крикнул: «Вперед!» и, взмахнув мечом, помчался, пригнувшись к шее коня, на черных всадников. Они расступились, пропустив его, и тотчас же сомкнулись. Секст слышал позади себя сечу, лязг мечей, крики, стоны и, работая мечом, уже пробивался на дорогу к мосту.

— Стой! — послышался тот же резкий голос, но Секст, не оглядываясь, продолжал наносить удары, понукая коня.

И вдруг пошатнулся: камень ударил по шлему, все закружилось перед глазами, темнота сгустилась. Падая с коня, он успел подумать, что нужно поскорее выдернуть ноги из бронзовых башмаков, и уже не помнил, как упал на землю, как его схватили и потащили к Титию.

Очнулся на форуме. В темноте чадили светильни, раздуваемые ветром, и военачальник Антония сидел на возвышении, покрытом пурпуром. Кое-где толпился народ. Форум был оцеплен легионарями. Секста подвели к Титию.

— Ты Помпей? — спросил военачальник, бритый муж с отвислыми щеками.

Секст молчал, чувствуя, как омерзение и ненависть к злодеям терзают его сердце.

— Спрашиваю, ты ли Секст Помпей? — повторил еще резче Титий.

— Я. А ты — Титий, сторожевой пес развратного Антония?

Титий вскочил, челюсть запрыгала — хотел что-то сказать, но не мог. Наконец выговорил хриплым голосом, задыхаясь:

— Заковать в цепи. Секст плюнул ему в лицо.

— Проклятая собака! Обманом ты заманил меня в этот гостеприимный город, и пусть Зевс Ксений обратит на тебя мою кровь и свои громаы за погранное гостеприимство.

Шум битвы привлек внимание фригийцев. Узнав о предательском нападении на Помпея, население Мидиэона вооружилось, чем попало; сбежались и рабы на выручку Секста. Титий растерялся. Отряд был невелик и продержаться долго не мог. Титий соображал, как поступить. И вдруг решение созрело у него в голове — бежать!

Приказав нескольким надежным всадникам выехать незаметно с Секстом Помпеем из городка и мчаться по дороге на Эфес, он объявил фригийцам, что произошло столкновение не с Секстом Помпеем, а с разбойниками, внезапно напавшими на его отряд. Переночевав в Мидиэоне, Титий на другой день выступил в путь, направляясь в Эфес.

Обманутое население успокоилось, и Титий размышлял, как много значит в жизни своевременная находчивость и хитрость.

В Эфес прибыли ночью. Луна освещала величественный храм Артемиды с ионическими колоннами, серебрила воды Каистра. Отряд направился к гимназию и театру, прилегавшим к форуму, которые находились за мостом.

Титий приказал привести Секста на форум. Кругом было тихо, безлюдно. Титий торопился. Повелев принести бревно, он распорядился казнить немедленно Секста Помпея.

Когда его схватили и потащили к черному бревну, он тряхнул плечом, и легионарии посыпались с него, как желуди с дуба. Поднявшись, они толпой набросились на него, стремясь сбить с ног, но он закованными руками разбивал лица, сворачивал челюсти, а двух-трех человек убил наповал, ударив их огромными кулаками, как молотом.

Удивляясь геркулесовой силе Помпея, Титий, с сожалением в душе, повелел сбить его с ног: приказ Антония был точен — «казнить».

Секст геройски защищался. На нем повисли люди, падали ему под ноги, хватались за них, и он чувствовал страшную тяжесть, от которой, казалось, никогда не освободится.

Перестал защищаться. Фатум был неумолим, как закон, как вековечное предначертание. Тем лучше! Он умрет, как подобает римлянину. Его подвели к бревну, и палач приказал ему опуститься на колени.

— Мне, Помпею Великому, на колени? — вскричал Секст и ударил его в зубы с такой силой, что палач упал замертво.

Помпей яростно отбивался от легионариев. Он пробился было к помертвевшему от ужаса Титию и едва не убил его — подоспели воины и оттеснили Секста.

Он был опять окружен.

Титий кричал хриплым голосом:

— Связать ноги, связать!

Помпеем овладели, пытались его связать, но он лежа отбивался ногами. Рядом с ним валялись трупы, стонали раненые, — он видел их и говорил воинам, тащившим его к срубам:

— Кого хотите казнить?.. Переходите на мою сторону, и вы получите земли, дома, деньги... Казните злодея Тития...

Легионарии колебались, перешептывались. Подбежал центурион и стал хлестать их виноградной лозой. Они не посмели послушаться его и вновь овладели Секстом.

Голову Помпея положили на бревно. Он отбивался связанными ногами, и его держали несколько человек. Центурион схватил секиру и с размаха ударил Секста по шее. Голова отделилась от туловища. В темноте она казалась большим черным мячом.

Титий приказал бросить голову в кожаный мешок и отвезти Антонию. А на другой день объявил в Эфесе, что произошла ужасная ошибка; в темноте вместо беглого невольника убит легионариями Помпей. Однако эфесяне не поверили Титию: зная, какой любовью пользовался Секст в Италии и Азии, они поняли, что Антоний, боясь ненависти италиков, прибегнул к обману, чтобы избавиться от вождя республиканцев и заодно отвлечь от себя гнев народа.

Известие о смерти Секста Помпея быстро распространилось по Азии. Рабы и бедняки оплакивали мужественного вождя.

Лициния, узнав о смерти Секста, не находила себе места: ей казалось, что жизнь остановилась и жить не стоит. С болью в сердце она села на коня и поскакала в Эфес, чтобы в последний раз взглянуть на Секста, почерпнуть у него мужества и непреклонности, обдумать у его трупа, как жить, что делать.

Медленно ехала по шумным улицам Эфеса. Толпы детей, занятых играми, мешали уличному движению. Здесь играли в остракон — слышался возглас: «Ночь или день!» — и пойманный мальчик становился ослом, нес на своей спине победителя; там играли в медную муху — мальчик кружился с завязанными глазами на месте и кричал: «Иду охотиться на медную муху», а ему отвечали: «Не поймаешь» — и били его бичами из коры папируса; дальше дети ходили на руках, на ходулях, катили медные обручи, девочки играли в мяч. Шум, крики, возгласы носились над улицами.

Лициния рассеянно смотрела на игры детей. Мысли ее были далеко: вспоминала дни, проведенные с Секстом, его любовь, и слезы заволакивали глаза.

Недалеко от форума, в грязной улочке, она спешила и пошла вперед. Навстречу ей шел лысый старик, и она смутилась, подумав: «Встреча с плешивым несет неприятности». Она поостереглась вступить с ним в беседу и, привязав коня к изгороди, вошла в таберну. Здесь было несколько моряков, два-три горожанина, старая блудница. Все были пьяны и пели вразброд, не слушая друг друга.

Лициния подозвала раба, прислуживавшего посетителям, и стала расспрашивать о Помпее. Невольник сообщил, что обезглавленный труп Секста выброшен за Магnezийские ворота и лежит, должно быть, между холмом и болотом.

Лициния заплакала. Секста Помпея Великого выбросили из города, как падаль, по приказанию Тития, и эфесяне равнодушно отнеслись к надругательству над трупом!

Она сунула рабу горсть монет и велела нанять людей, которые помогли бы ей похоронить славного мужа. Вскочив на коня, она отправилась в южную часть города. За Магnezийскими воротами Лициния нашла раздетый донага, обглоданный собаками труп и, горестно всплеснув руками, опустилась на колени: «Он ли это?» — думала она.

Взяла его руку и по шраму, полученному Секстом в бою, поняла, что это он, надежда угнетенных, ее любовь, и, рыдая, билась в отчаянии головой о влажную землю. Подходили люди. Лициния повелела воздвигнуть погребальный костер, облить его маслом и зажечь.

Когда вспыхнуло пламя и охватило труп, она вспомнила слова Секста о борьбе и решила, не мешкая, отправиться в Рим: мысль о покушении овладела ею с необычайной силою.

«Там сидит трусливый паук, вредное насекомое, терзающее тело римского народа, — думала она, — и я не успокоюсь, пока не поражу презренного тирана в самое сердце!»

Костер догорал. Она ждала, когда можно будет собрать в урну (Прах и кости, — его дух должен незримо пребывать с нею до самой смерти и воодушевлять к борьбе за

республику, за свободную жизнь, за человеческое достоинство.

Все разошлись. Она осталась наедине с прахом доблестного мужа. За эти несколько дней она поседела и как-то сразу состарилась — появились морщины, щеки обвисли, но глаза остались те же — горячие, живые, непреклонные.

Собирая прах и кости в урну, она уже не плакала. Зачем скорбеть, когда он здесь, рядом с нею? Его душа соединилась с ее душой, и они теперь — кажущаяся Альфа и Омега жизни в круговороте времен и вечного возвращения в мир.

«Разве он умер? Нет, он живет, все видит и слышит, но не так, как мы, а по-иному; он воплотился в меня, а когда и я умру, мы войдем в тела, родственные нам по духу, в тела мужей, стойких и мужественных, и будем продолжать борьбу».

В Эфесе она села на судно, отплывавшее в Брундизий, и смотрела на земли и острова, мимо которых проходил корабль, с горячей верой в торжество правды и справедливости.

Книга третья

I

Двум мужам не давали покоя мысли о власти, и каждому из них она представлялась как единственная цель жизни, как завершение войн, преступлений, убийств и подлостей, которые стоили многих усилий, душевных волнений, бессонных ночей и которые давали уже свои плоды. Но по-разному смотрели дуумвиры на власть и по-разному вели свою политику. Иначе и быть не могло, — мужи отличались друг от друга: один был изнеженный воин, помышлявший о пирах и восточных наслаждениях, другой — холодный, рассудительный эгоист, мечтавший о власти человека над человеком, о подчинении его своей воле, порабощении его духа.

По мнению Антония, народы должны были удовлетворять потребности правителей, содержать их, пополнять ряды легионов и поддерживать в борьбе за власть против врага внутреннего и внешнего. На людей, выступающих против власти, он смотрел как на злодеев, строящих козни против богов, и готов был оправдывать демагогию и низменные цели правителей. Он любил роскошь, золото, драгоценности, вина, великолепный разнообразный стол, а больше всего женщин — не душу, а тело, не ум их, а ласки, не строгость, а податливость, и не очень верил тем, которые уверяли его в своей любви; он придерживался восточного взгляда на любовь, не признавая духовной ее стороны.

Легко поддающийся женскому влиянию, Антоний находился сперва под властью Фульвии, а затем Клеопатры. Обе женщины были властолюбивы, обе стремились — одна к власти фамилии Антониев, другая — к власти Лагидов, но главной целью Клеопатры было спасение Египта от поглощения Римом. Антония мало занимали эти стремления: важнее всего была жизнь в роскоши и удовольствиях, накопление

богатств, а остальное, как и власть фамилий, казалось в этот век обманов и насилий совсем ненужным.

— Имея средства и драгоценности, — говаривал он Клеопатре, — лучше всего отказаться от власти, чем положить жизнь свою за нее, и я бы это сделал, если бы не опасался насмешек римского общества. Скажут, что я струсил перед Октавианом. А боюсь ли я его в действительности? Нет, я смел, готов вступить в единоборство, готов на бой не только с гигантами, но и с богами. Моя мысль верна, и никто не разубедит меня. Стоит ли играть из-за власти своей головою? Ради чего? Ради нескольких лет царствования и насильственной смерти в Мамертинской темнице?

Клеопатра возражала, стараясь смягчить его сердце нежными словами о детях:

— Разве ты не хочешь, чтобы наши дорогие близнецы Клеопатра и Александр царствовали после нашей смерти? Или маленький Птолемей? А Цезарион, сын мой от божественного диктатора? Подумай, как разгневается на тебя Юлий Цезарь, если ты пренебрежешь его сыном! Нет, Марк Антоний, ты должен добиваться для них диадемы и царского пурпура.

Обыкновенно споры кончались быстрым примирением, но однажды зимой, когда царица отговаривала Антония от мысли о парфянской войне, которую он мечтал возобновить, и настаивала на разводе его с Октавией, проконсул вспылил. Произошла страшная ссора.

— Я не верю в счастливый исход войны и потому не дам денег из сокровищницы Лагидов! — кричала разъяренная Клеопатра.

— А я тебя заставлю... уеду к Октавии... помирюсь с Октавианом!..

— И уезжай! Я считала тебя мужем, а ты...

Багровый, с налитыми кровью глазами и растрепанными волосами и бородой, Антоний наступал с кулаками на Клеопатру.

— Еще слово, и я не посмотрю, что ты царица! Ты не царица, а проститбула, и я кулаками выбью из твоих куриных мозгов мысли о разврате! Да, да! Думаешь — не знаю? Кто этот Алекс из Лаодикеи? Что он делает у тебя во дворце? Не забывай, что ты — мать моих детей, и, если я услышу малейшую сплетню или увижу насмешливую улыбку придворных, ударю тебя при всех!

И хотя в этот день он не ударил ее, Клеопатра боялась, что наступит время, когда он в бешенстве или отчаянии свалит ее с ног ударом кулака, обезобразит ее лицо, и она решила действовать лаской и хитростью.

Октавиан был иным. Ни роскошь, ни богатство, ни женщины не привлекали его так сильно, как власть, но власть не денежная, хотя он был скуп, а власть человека над человеком — самая страшная форма власти, когда один муж имеет право властвовать над миллионами граждан, издеваться над ними, отбирать у них жен и дочерей, презрительно плевать на законы. Ничто не могло поколебать в нем неукротимого стремления к притеснению квиритов: он презирал подвластных ему людей, смотрел на плебеев свысока (он называл их полулюдьми) и не делал различия между квиритами и вольноотпущенниками. А рабов, за исключением греков, считал домашними животными. Народ в его глазах был стадом скота, которое должно бояться бича и слушаться окриков пастуха.

Октавиан любил философию и женщин не настолько, чтобы пожертвовать для них стремлением к могуществу и славе; впрочем, философия надоедала, греческий язык был труден, и Октавиан ненавидел его только потому, что он плохо ему давался, а ласки женщин утомляли и надоедали. Кончилось тем, что он невзлюбил и

философию и женщин. Брак с Ливией был устроен скорее для того, чтобы унижить Нерона, показать свою власть над обоими супругами, над сенатом, и все же ему было мало. Подчинить себе Антония, а затем Клеопатру было его заветной мечтою; казнить старшего триумвира как изменника, поправшего римские законы (допустимо ли, чтобы проконсул был царем?), и повести пленную Клеопатру, в цепях, у своей колесницы! Супруга Юлия Цезаря! Жена Марка Антония! Оба оказались двоеженцами: у Цезаря была Кальпурния, а у Антония — Октавия.

Видя ненависть народа, он стал заискивать перед ним. Демагог возымел мысль восстановить республику, даровать народу отнятые права. Октавиан и Антоний объявили народевластье единственно справедливой формой государственного управления, чтобы со временем отнять ее и расправиться с магистратами-плебеями. Октавиан хотел заслужить любовь народа, чтобы сильнее и полнее владычествовать над ним.

Если Антоний был равнодушен к нуждам народа, то Октавиан говорил откровенно:

— Я не выношу потных, пропахших луком и чесноком плебеев. Я готов отпускать им фессалийский мел как средство от пота и запретить продажу лука и чеснока.

Друзья знали, что он не договаривает: не залах лука и чеснока был причиной ненависти Октавиана к плебеям, а низкая натура ростовщика, привыкшего с детства к презрительному отношению знати к беднякам. Беднота внушала ему отвращение, пугала его исхудалыми лицами, голодными глазами, и он ненавидел ее, боясь и презирая, готовый бежать, чтоб не видеть ее кулаков, не слышать угроз, оскорблений и злобного смеха. Он решил ладить с плебсом, пока плебс сильнее его. После окончательной победы над Секстом Помпеем открывались иные возможности. Он захотел их использовать. Считая себя кормилом Рима, он круто повернул бег своего судна и направил в тихие воды гавани, которую назвал «Человеколюбием». Лицемер и демагог действовал хитро: нужно было усыпить злобу народа, возбудить к себе любовь, а затем продолжать борьбу за единовластие.

Власть! Она была для него выше всего, и за нее он легко мог пожертвовать Октавией, Ливией, Агриппой, Меценатом, Вергилием, Галлом, Горацием, всеми друзьями. Ради нее он готов был на подвиги, на годы мрачной нужды и народных проклятий, лишь бы добыть ее и стать властителем жизни и смерти всего Рима с его людьми, рабами и животными... Он задыхался, думая о могуществе, равном могуществу Александра Македонского, и с нетерпением ждал, что принесет следующий год.

Так мечтали два мужа о неограниченной власти: один — знаменитый полководец, развращенный и изнеженный Востоком, а другой — бездарный военачальник, умный, холодный и жестокий муж, упрямый в достижении намеченной цели.

II

Антоний веселился, как легкомысленный юноша. В кругу «неподражаемых» (так называлась изысканная придворная молодежь) он предавался утонченной восточной чувственности. Однако ни разврат, ни празднества, ни пиры не могли отвлечь его от упорной мысли, не дававшей покоя: он мечтал о повторении похода на Парфию,

советовался о нем с друзьями, но они отговаривали его от похода, помышляя о возвращении в Италию, и, опасаясь новой гражданской войны, не желали развода Антония с Октавией.

Клеопатра, окруженная вольноотпущенниками и евнухами, вела борьбу с враждебно настроенными к ней друзьями Антония: она боялась, что римлянин бросит ее ради Октавии и уедет в Италию, а тогда Египет был бы обречен, и дети остались бы без царского наследия, потеряли бы египетский престол.

Так размышляла однажды Клеопатра, раздраженная слухами о происках приближенных Антония. Она знала, что супруг колеблется в выборе между ней и Октавией, и это усиливало ее злобу против римлян, которых она считала своими личными врагами, в особенности Домиция Агенобарба.

«Я хочу объявить Марка Антония египетским царем, а он колеблется», — думала она, искоса поглядывая на голубоглазую Ирас и румянощекую Хармион, двух девушек, допущенных лишь недавно к ее особе: одна убирала ее волосы, а другая покрывала ее ногти бледнорозовым лаком. Раньше на их обязанности было сопровождать царицу в палестру и гимназий, прислуживать ей во время телесных упражнений и одевать ее после них. А теперь Клеопатра, недовольная Атуей, которую подозревала в ночных любовных похождениях с молодыми вольноотпущенниками (она была беременна), отстранила ее от себя, а вместо нее сделала своими приближенными, подругами и советницами Ирас и Хармион. Царица поручила им следить за Атуей и узнать, кто ее любовник. Попытки девушек оказывались все время тщетными, и только накануне случай помог им: в саду они подстерегли Атую, пришедшую на свидание, и увидели, как она обнимала Антония. Ошеломленные, не зная, что делать, Ирас и Хармион боялись сказать об этом Клеопатре, зная ее мстительность, однако неприязнь к Атуе? и боязнь, что царице вздумается вновь приблизить к себе девушку, взяли верх, и они решили сообщить Клеопатре о ночном свидании.

— Великая царица, — прервала молчание Ирас, — ты, заботящаяся о земле Кем с материнской любовью, поручила нам подсмотреть за Атуей, и вчера мы увидели ее соблазнителя...

— Кто? — отрывисто спросила Клеопатра, и глаза ее потемнели: она не любила мужей, заглядывавшихся на других женщин, считая, что только она одна достойна любви и обожания; завидовала счастливым любовникам и готова была на все, чтобы разлучить их, внести рознь, недовольство, возбудить их ревность. — Кто? — повторила она, схватив шпильку.

Девушки отшатнулись.

— Марк Антоний, — доложил высоким пискливым голосом кривой на левый глаз евнух Мардион. — Прикажете принять?..

Расширенными глазами, с искаженным лицом смотрела царица на девушек. Мардион выкрикнул имя, которое не смел вымолвить язык Ирас.

Клеопатра ожидала ответа. Девушки молчали.

— Он? — шепнула она.

Побледнев, Ирас наклонила голову. Царица засмеялась хриплым горловым смехом.

— Пусть войдет, — сказала она.

Антоний вошел с улыбкой на губах, нарядный, легкий, несмотря на свою тучность. На голове у него был лавровый венок, борода тщательно завита,

великолепный гиматий спускался с плеч, и ровные строгие складки красиво выделялись на его грузной фигуре.

— Привет царице, да хранят ее Озирис и Изиды!

— Привет и тебе, Марк Антоний, — со смехом ответила Клеопатра и обратилась к Хармиону: — Посыпь мои ноги фессалийским мелом и надень золотистые сандалии с жемчужинами. День опять будет жаркий.

Антоний сел в кресло, услужливо пододвинутое Ирас, и непринужденно заговорил:

— Не совершить ли нам сегодня прогулку по морю? Посейдон дремлет, а Гелиос и Эол позаботятся, чтобы было тепло и не так жарко, как в городе или даже в садах Лохиаса. Дети будут довольны. Мы можем поехать всей семьей.

— Всей семьей? — с изумлением спросила Клеопатра, и в ее голосе он уловил насмешку.

— Что тебя удивляет? Кроме нас двоих, поедут Цезарион и Антилл, а меньших детей мы не возьмем — пусть останутся с кормилицами и няньками...

— Ты назвал четверых взрослых, а почему бы тебе не пригласить пятого — кого-нибудь из приближенных?

Антоний с недоумением посмотрел на нее.

— Я говорю об Атуе, — продолжала царица, небрежно обмахиваясь веером из павлиньих перьев.

Антоний почувствовал ловушку («Знает», — подумал он), но не смутился.

— Атуя... Атуя, — выговорил он, как бы припоминая. — Это та маленькая девушка, которая тебе прислуживала? Скажи, почему я ее у тебя не вижу?..

— Почему не видишь? Она, подлая, имеет любовника, забеременела, и я прогнала ее!..

— Она... любовника?.. Не может быть!.. Но я не понимаю, отчего ты заговорила о ней?

Клеопатра вскочила: прекрасное лицо исказилось, рот кривился, и она с ненавистью смотрела на спокойное лицо Антония.

— Пусть Изиды сядет и успокоится, — сказал римлянин. — Озирис терпеливее и мудрее своей божественной супруги.

Это была насмешка. И царица, не владея больше собой, крикнула:

— Ты ее любовник, ты!.. И бери ее с собой, если посмеешь... если не стыдно тебе взрослых детей., если ты, мерзкий пес, собираешь всех сук...

— Молчать! — громовым голосом крикнул Антоний. — Еще слово..

Но Клеопатра, терзаемая обидой, ревностью и злобой, не помнила себя от ярости. Подбежав к Антонию, она ухватила обеими руками за его гиматий и повторяла, брызгая слюною:

— Блудливый пес, падаль!.. Подожди, я...

Антоний легко освободился от ее рук. Повелев девушкам уйти, он сказал царице:

— Ты оскорбляешь меня, забывая, что дозволенное мужу не дозволено женщине. Ты, египетская блудница, лагерная простибула, блудила со всем Египтом и Римом, а я забыл об этом и снизошел до тебя! Ты, продажная тварь, позорила меня не раз на глазах моих, а я закрывал глаза — не видел этого! Ты...

Он шагнул к ней, суровый, угрожающий, и вдруг, размахнувшись, ударил по щеке. Вскрикнув, она мягко упала на ковер, обливаясь кровью.

Вбежали Ирас и Хармион, а за ними — Цезарион.

Бледное лицо юноши подергивалось. Он бросился к Антонию:

— Как смеешь, проконсул, поднимать руку на царицу, мою мать, вдову божественного Цезаря? Как смеешь...

— Замолчи, — свистящим шепотом сказал Антоний. — Ты, сын, не знаешь своей матери и лучше уйди. Иначе ты услышишь о ней...

— Какое ты имеешь право так поступать? — отшатнувшись от него, вымолвил Цезарион.

— Право ее супруга. Теперь понял, сын мой?..

Опустив голову, Цезарион вышел. Он давно догадывался о связи матери с Антонием, и признание проконсула неприятно подействовало на него. Он не знал, как теперь относиться к Клеопатре и Антонию, и сдерживаемые слезы душили его.

Выбежав в сад, он бросился в гущу деревьев и упал на траву. Нужно было что-то решить, а что именно — не знал. Мысли проносились быстро, и он лежал в траве, глядя в голубое небо.

А проконсул, не взглянув даже на Клеопатру, которую девушки приводили в чувство, вышел из дворца. Он решил бросить Клеопатру и выехать из Египта с Антиллом, сыном от Фульвии, и с друзьями.

Ш

С рассеченной губой лежала Клеопатра на ложе, придумывая, как отомстить Антонию. Убить его? Нет, без него Египет не устоит — велетрийский ростовщик бросится на богатую добычу с жадностью, присущей этой наглой породе людей, растерзает народ, как волк, разграбит сокровища Лагидов и храмов, как дикий варвар, и продаст в рабство тысячи людей, Антоний — опора Египта, и убивать его нельзя. Нужно так отомстить ему, чтобы он почувствовал боль в сердце, чтоб она была мучительнее удара кинжалом и терзала его день и ночь. И вдруг мелькнула мысль об Атуе. Антоний любит ее, ждет от нее ребенка. Нужно нанести двойной удар — девушке и ему, и тогда он, Антоний, пожалеет, что связался с Атуей и ударил ее, царицу и супругу.

Кликнула Ирас и Хармион.

— Разыщите Атую, пошлите за Олимпом.

Олимп был придворный врач, астролог и прорицатель, и девушки подумали, что Клеопатра посылает за ним для того, чтобы он осмотрел ее и приготовил лекарство.

— А зачем ей нужна Атуя? — спросила Ирас, выходя из царской спальни. — И где ее искать?

— Атуя живет в беседке под присмотром повивальной бабки, — сказала Хармион, хитро прищурившись, — я узнала об этом случайно от садовника, внука которого бегают к повару за остатками царских кушаний. Мы возьмем двух человек из дворцовой стражи и приведем Атую к царице.

Ирас остановилась.

— Тебе не жаль ее? — вздохнула она. — Атуя беременна, Клеопатра зла. Боюсь, как бы царица не велела...

— Жаль, жаль... А тебе нас не жалко? Почему ты заступаешься за любовницу Антония? Ведь обе мы могли бы занять ее место...

— Хармион!

— Что, Ирас? Стыдно, скажешь? Госпожа узнает? Нет, не узнает Клеопатра, — я не Атуя! А если бы и узнала...

Лицо ее стало жестоким, в глазах мелькнула искорка.

Ирас побежала за Олимпом, а Хармион отправилась к начальнику дворцовой стражи и, потребовав двух воинов, повела их в сады Лохиаса,

Обширные, они тянулись на много плетров в длину и ширину. Дорожки, усыпанные нильским песком, причудливо переплетались, всюду виднелись беседки, живая изгородь, ковры цветов, художественно вытканые руками молодых невольниц. Под платанами, сикоморами и мимозами, отбрасывавшими от себя тени, стояли мраморные скамьи, а в отдалении белела аллея сфинксов, увитых плющом и диким виноградом.

Атуя одевалась, ожидая посещения Антония, когда Хармион крикнула ей с порога:

— Привет! Царица велит тебе идти во дворец... Атуя, тяжело переваливаясь с ноги на ногу, бросила хитон на ложе и подошла к девушке.

— Не могу... Видишь, я больна? Скажи царице, что я...

— Нет, ты пойдешь. Такова воля царицы. Не отговаривайся, Атуя, не навлекай гнев ее на свою голову...

— Я не пойду...

— Не пойдешь?... Нет, пойдешь... Стража, сюда!.. Атуя отбивалась от воинов, но они грубо повалили ее на пол, закутали с ног до головы в широкий пеплум, связали и понесли. Она кричала, призывая на помощь садовника и рабов, обкладывавших навозом молодые плодовые деревья, однако ни один не осмелился пойти против воли царицы. И Атуя покорилась, чувствуя, что сопротивление бесполезно, зная, что Клеопатра жестоко отомстит ей за любовь Антония.

Хармион приказала воинам идти полосой, усаженной фруктовыми деревьями. По запаху зреющих плодов Атуя догадывалась, в какой они части сада. Ее несли небрежно: грубые руки обхватывали ноги и туловище, было неудобно, в животе появились боли. Она хотела крикнуть, — рука Хармион поспешно зажала ей рот. Атуя укусила руку, и Хармион, вскрикнув, хотела ударить девушку, но за кустами послышались голоса, и она отказалась от своего намерения.

У входа в царскую спальню Хармион остановилась, повелев воинам подождать, и поспешно вошла к Клеопатре.

У изголовья царского ложа стоял, нагнувшись, седобородый Олимп в длинной широкой одежде, в остроконечной шапке астролога с вышитыми на ней звездами; из-за пояса торчали у него дощечка писца и свиток папируса. Он покрывал розовой мазью рассеченную губу Клеопатры, Ирас бросала благовония на жертвенник Афродиты, и синеватый дымок струился вверх волнистой линией.

Царица говорила лекарю:

— Ты должен сделать, как я сказала... Потом она отойдет в черный Аменти, и Озирис решит, как поступить с ее душой... Что тебе? — обратилась она к Хармион. — Привела?

— Она здесь.

— Пусть подождет. Так ты говоришь, Олимп...

— Я говорю, великая царица, что святая земля Кем не видела еще того, что ты от меня требуешь... Неужели ты не боишься суда обитателя Запада и мучений в Аменти?

Всюду о тебе говорят дурно, а в Канопской таберне я слышал...

— Что слышал, скажешь позже. Хармион, веди Атуя.

— О, сжался, царица, над нею! Твоя доброта... Клеопатра приподнялась на ложе.

— Еще слово, Олимп, и гнев мой...

Не договорила — воины внесли закутанную в пеплос девушку и, положив на ковер, развязывали ее.

— Сопротивлялась? — тихо спросила царица.

Хармион кивнула. Ирас, испуганно моргая, смотрела на Клеопатру и Хармион. Предчувствие страшного не покидало ее, и она пыталась угадать по лицам обеих, что замыслила царица и знает ли об этом Хармион. Но подруга, нисколько не волнуясь, выдержала ее взгляд, и успокоенная Ирас смотрела на Атуя, которая, кряхтя и жмурясь, подымалась с пола.

— А, это ты, любовница Антония! — заговорила Клеопатра, как будто лишь сейчас увидела ее. — И беременная — возможно ли? Конечно, от него... Что молчишь, точно в рот воды набрала? А может быть, ты онемела? Скажи, какими сладкими словами и обещаниями ты сумела увлечь непостоянного Антония? Красотою? Но я красивее тебя. Юностью? Да, у меня нет ее. Что же ты молчишь? Отвечай царице, госпоже святой земли Кем, иначе я прикажу...

— Не знаю, о каком Антонии ты говоришь? Если о своем супруге, то разуверься...

— Ты еще лжешь, подлая развратница!

— Развратна та, кто любит многих, — смело ответила Атуя, — а я люблю одного, и ты не смеешь, царица, оскорблять меня.

— Молчи, блудница!

— Нет, не я блудница, а ты, осквернившая нашу святую землю непотребством. Вся твоя жизнь — насмешка над любовью, издевательство над женской добродетелью...

— Пусть воины выйдут, — свистящим шепотом сказала Клеопатра. — Разденьте эту тварь и кликните палача: пытка развяжет ей лживый язык.

Нагая, Атуя стояла перед царицей, сжимая обеими руками живот и повторяя:

— Меня, беременную, пытать? Меня пытать?..

— Назови его имя... Атуя молчала.

— А не назовешь, — продолжала с жестокой улыбкой Клеопатра, — я прикажу вскрыть тебе живот, чтобы узнать, на кого похож твой плод...

Распахнулась дверь: вошел косоглазый грек с орудиями пытки; в руках он держал костедробительные щипцы, длинные иглы, деревянные колодки, железные зажимы для рук и ног, а через плечо была у него перекинута веревка с узлами и петлями.

Атуя упала на колени. Ирас тихонько выскользнула из спальни.

— Вспомни, царица, как я служила тебе!

— Олимп, достаточно ли отточен нож для вскрытия живота?

Седобородый врач вынул из кипарисового ларца изогнутый нож, большим пальцем тронул лезвие и молча наклонил голову.

Атуя заломила в отчаянии руки.

— Пыток я не выдержу... Ты погубишь, царица, ребенка... О, сжался над ним! Ведь ты мать, у тебя были дети...

— Назови его имя... Атуя молчала.

— Я знаю, кто он, — продолжала Клеопатра, — но я требую, чтобы ты созналась

и раскаялась! Я должна уличить его... Говори. Не заставляй меня прибегнуть к пытке.

Атуя плакала.

— Мне надоели твой слезы... Человек, — обратилась она к палачу, — возьми эту тварь и заставь ее говорить. Палач схватил Атую за волосы и поставил на ноги, Он собирался заключить в колодку ее шею, но дверь распахнулась — на пороге стоял Антоний, а из-за спины его виднелась голова Эроса. Лицо Антония было гневно,

Клеопатра вскрикнула, закрыла глаза, губы ее дрожали.

— Что здесь делается? — услышала она голос Антония.

— Атуя, ты? Пытка? Прочь, злодей! — и Антоний ударил палача в зубы с такой силой, что тот отлетел от него на несколько шагов и ударился головой о стену. — И ты, Олимп?

Антоний вырвал из руки старика нож и, схватив его за бороду, шепнул: — Беги, иначе кровь твоя зальет этот ковер...

Ирас легкой тенью скользнула позади них и остановилась у треножника. Ни Клеопатра, ни Хармион не заметили ее отсутствия. Олимп бросился бежать, насколько позволяли его старые ноги, а палач, стена и охая, подымался с пола. Лицо его было залито кровью.

Эрос тронул Антония за плечо.

— Я узнал этого человека, — шепнул он, указывая на палача. — Это Пиндар, вольноотпущенник Кассия.

— Не может быть! Пиндар получил деньги и...

— Господин мой, он разорился на скупке блудниц для порнеи и стал палачом...

— Удави его, — спокойно сказал Антоний, — он, наверно, болтает про старое...

— Да ты же сам, господин, повелел ехать ему в Александрию...

— Делай, как приказано.

Эрос ушел. Антоний повернулся к бесчувственной Атуе и поручил ее заботам девушек. Ирас принялась брызгать ей в лицо водой, Хармион — обмахивать опахалом. Вскоре Атуя открыла глаза, узнала Антония и протянула к нему руки.

Антоний не видел ее — повернувшись к Клеопатре, он говорил:

— Ты хотела отомстить мне, но боги святой земли Кем не с тобой, а со мною. Если бы ты убила ее, — взглянул он на Атую и, склонившись к ней, погладил ее лицо, — я не пожалел бы ни тебя, ни детей от тебя, ни Египта, ни подвластных ему земель! Я не хочу тебя видеть...

Клеопатра молчала, — глаза ее были закрыты. Казалось, она спала: лицо ее лучилось — неотразимая Красота и дивное Очарование невидимыми нитями тянулись к Антонию, и он чувствовал, как гнев утихает, безволие опутывает его душу, и сердце бьется сильнее и сильнее, покорное этой божественной Красоте.

Ирас коснулась его руки.

— Господин и царь, Атуя одета. Что прикажешь? Антоний очнулся, взглянул на девушку и, полуобняв ее, направился с ней к двери.

IV

Поручив Атую заботам Эроса, Антоний спросил:

— Где думаешь укрыть ее? Нужно спрятать от взоров соглядатаев, — я уверен,

что Клеопатра будет искать ее.

— Господин мой, если у тебя есть время, то убедись сам, хорошо ли убежище для твоей возлюбленной. Надень рабскую одежду и следуй за нами...

— Ты не ответил на вопрос.

— Я укрою ее, господин мой, у Халидонии. Жена живет рядом с Нильской башней, у ворот Солнца, и если твоя милость...

— Я пойду с вами, — согласился Антоний, — нужно торопиться, иначе евнухи нас выследят...

Переодевшись, они встретились у дворцовых ворот. Здесь стояла гармамакса, крытая повозка о четырех колесах, и возница кормил сеном запряженных в нее мулов.

— О-гэ, друг, — толкнул его Эрос кулаком в бок. — Поедем?

Египтянин обернулся.

— Я тебя не знаю, — проворчал он. — Меня наняли отвезти труп за город и бросить его на съедение псам... Вот и дожидаясь я, когда труп вынесут из дворца.

Антоний переглянулся с Эросом. Страшная догадка мелькнула у обоих.

— Кто тебя нанял? — спросил Антоний.

— Прислужницы царицы.

— Успокойся, друг. Ты отвезешь не труп, а живого человека,

— А куда ехать? Антоний подумал и решил:

— Отвезешь, куда я укажу.

Из ворот вышла Атуя, закутанная в пеплос, и Антоний помог ей взобраться на гармамаксу.

— А теперь — в путь.

Гармамакса выехала, сопровождаемая Антонием и Эросом, которые шагали по обеим сторонам ее, с оружием под плащами.

Не доезжая нескольких плетров до Нильской башни, белокаменной, возвышавшейся над белыми зданиями, гармамакса остановилась среди людной улицы. Рассчитавшись с возницей, Антоний пошел вслед за Атуей и Эросом.

У солнечных ворот, где возвышались два испещренных иероглифами обелиска в виде фаллусов, Эрос сказал:

— Видишь, господин мой, этот домик и сад? Здесь живет Халидония. Войдем?

Антоний колебался. Халидония... Как давно он ее не видел! Прошли годы с тех пор, как он отнял ее у Фульвии и она стала вольноотпущенницей. Он любил ее, а потом она надоела ему, как надоедали десятки и сотни женщин и девушек, ибо она не обладала тем, чего он искал у девушек, — солнечной красотой, радостью, страстным самоотречением, — и только у одной женщины он нашел это — у Клеопатры.

Вздыхнув, он переступил порог дома. Перед ним стояла женщина и приветливо приглашала войти. Халидония? Возможно ли? Да, это была она. Как она пополнила! Он припоминал глаза прежней Халидонии и не мог вспомнить: такие ли, как теперь, были они тогда?

Он назвал себя, протянул ей руку. Растерялся, когда Халидония, вспыхнув, как девочка, опустилась перед ним на колени и целовала его руки.

С недоумением и тревогой он хотел поднять ее, но она не отпускала его рук, и он понял сердцем, что не забыт ею, что прежняя девичья любовь тлеет где-то в глубине ее сердца и теперь вспыхнула с необыкновенной силой и что он поступил нехорошо, войдя в ее дом, нарушив покой ее души.

— Встань, госпожа, — молвил Антоний, склонившись к ней. — Я привел к тебе

девушку... И твой супруг Эрос скажет тебе...

Халидония вставала с трудом, — затуманенные глаза ее обратились к Эросу:

— Муж мой, чем прикажешь чествовать высокого гостя и царя?

— Подай, что есть.

Спустя несколько мгновений рабыни поставили на стол кубки с вином, подали кушанья.

Атуя не сводила глаз с новой покровительницы: Халидония не понравилась ей. Встреча Халидонии с Антонием взволновала Атую; она недоумевала, почему Эрос отнесся с равнодушием к жене, откровенно выражавшей свои чувства к Антонию, и задавала себе вопросы, не была ли Халидония любовницей Антония и знает ли Эрос об этом.

«Нет, не знает», — решила она, посматривая на спокойное лицо Эроса, и вдруг услышала радостный возглас Халидонии:

— Слава Зевсу Ксению, приведшему тебя в наш дом!

— Слава богам, способствующим дружеским встречам, — ответил Антоний, возлегая рядом с Эросом. — За здоровье хозяев и благополучие этого дома! — поднял он фиал. — Обещай, Халидония, позаботиться об Атуе, стань для нее матерью и сестрой.

Халидония молчала. Наконец, вымолвила дрожащим голосом:

— Прежде чем ехать в Египет, по зову моего супруга, я побывала на родине, чтобы спросить дельфийского оракула, какова будет моя жизнь на чужбине, и получила ответ: «Когда, возвратясь к прошедшему, станешь преступницей, мыть тебе окровавленные руки после долгих скитаний — в Стиксе, с ладьи Харона». И вот, господин мой, размышляя об этом, я боюсь себя... Не оставляй у меня этой девушки.

— Негде нам ее приютить, и мы оставим ее у тебя, — прервал ее Эрос — А предсказаниям оракула давно уже никто не верит: лицемерные жрецы обирают легковерных паломников... Сколько денег оставила ты в Дельфах?

— Муж мой, я оставила там свои сбережения...

— Сколько?

— Полталанта.

— Не говорил ли я? — вскричал Эрос — Лицемеры поживились на твой счет.

Когда проконсул уходил, Халидония вновь припала к его руке. Антоний почувствовал, как слезы закапали на его руку, и — смутился. Халидония плакала. Неужели он растравил рану ее сердца? Неужели она любит его? Нет, это невозможно. Сравнивал ее и Атую, Атую и Клеопатру. Халидония и Клеопатра казались ему спутницами Атуи, обе пожилые женщины, давно утратившие юность. И только одна Атуя, олицетворение скромного девичества, казалась наиболее желанной. Однако это только казалось, — назойливая мысль не давала покоя — мысль о Клеопатре, виденной на ложе, с лучившимся лицом, безмолвной, смиренной и такой прекрасной.

Он обнял Атую и Эроса и вышел на улицу. Было темно — ночь окутывала черным плащом Александрию; смутно белея, едва выделялись мраморные здания. Кое-где светились огоньки, а он шел, думая, что Эрос, отпущенный на несколько дней, убедит Халидонию в необходимости беззаветно ухаживать за беременной девушкой.

Антоний не ночевал во дворце Лохиаса, скитаясь по винным лавкам набережной. Он проводил время в обществе разноплеменных моряков, смотрел на пляски нагих женщин, которых в тавернах оценивали и покупали моряки, но сам не сближался с блудницами. Они были грязны, и брезгливость мешала ему провести время как

хотелось. Зато пил он много: в его кожаном мешочке было немало золотых и серебряных монет. Дважды хотели его подпоить и ограбить: выпив вино, он притворился пьяным и, когда грабители попытались овладеть его деньгами, он двоих сбил с ног, а третьему изуродовал лицо; второй раз пробовали взять его при помощи оружия, но Антоний, защищаясь, схватил стол и, работая им, как тараном, одного человека убил, — остальные разбежались. К нему подослали блудниц с кинжалами; разгадав коварный замысел, Антоний отогнал их, а одну из них, самую наглую, схватил за волосы и вытащил из них искусно спрятанный кинжал. Обезумевшая от ужаса женщина созналась, что кинжал отравлен. Антоний стал осторожнее.

...Здесь нашел его Эрос и убедил после долгих увещаний возвратиться во дворец. Он уверял, что Антония ожидала письма, а друзья хотели с ним видиться.

— Хорошо, я вернусь, но сперва я должен постричься и помыться...

— Да, господин, по тебе ползают вши... Ты обовшивел, общаясь с нищими, блудницами, ворами и убийцами. Почему ты ушел из дворца? Скучаешь по Атуе? Или по...

Голос Эроса дрогнул.

— Да, я скучаю по Атуе, ты угадал... и по Клеопатре... Я люблю ее и ненавижу... Я хочу ее и готов погрузить меч в ее грудь...

Эрос повеселел: страшный вопрос (он чуть не вымолвил имя жены) исчез, и жизнь, как разлившаяся река, опять вернулась в свои берега.

— Как ты, господин и царь, мог переносить такую жизнь? — с удивлением говорил Эрос, шагая с Антонием по направлению к баням. — Ты привык к иной жизни...

— Не забывай, Эрос, что я — воин.

— Это так. Но ты...

— Я сумею, если понадобится, стать нищим, моряком, другом воров и убийц... А теперь ступай за одеждой, пока я буду мыться и упражняться в гимназии.

Он прошел в раздевальню, освободился от грязных одежд, которые приказал рабам выбросить, и легко побежал, несмотря на тучность, в тепидарий, а оттуда к цистерне, наполненной горячей водою. Окунувшись, он позвал рабов и приказал натирать тело галльским мылом, скрести гладкими костяными скребницами. Затем его умастили, посыпали тело песком, чтоб оно, если бы пришлось бороться, не могло выскользнуть из рук противника, и Антоний отправился в эфебеион, где юноши упражнялись в искусстве борьбы.

Бородатые учителя узнали его и громко приветствовали. Юноши, прекратив борьбу, прокричали громкое славословие и ожидали, кого из них выберет Антоний. Большая часть юношей отличалась искусством борьбы, и Антоний предложил учителям назначить самых ловких, потому что считался в гимназии непобедимым борцом,

— Увы, я мало занимаюсь гимнастикой и старею, — притворно вздохнул он, — и оттого не уверен в своих силах.

Противником его был маленький коренастый грек. Антоний без труда повалил его на землю при одобрительных криках борцов.

Вышел худой, среднего роста юноша и, низко поклонившись, сказал:

— Позволь, господин, померяться мне с тобой силами. Антоний с недоумением оглянулся на учителя.

— Не удивляйся, господин наш, предложению этого борца и не сочти

выступление его за дерзость. Он — самый искусный атлет.

Долго продолжалась борьба Антония с юношей. Повалив его на землю, Антоний напрягал все силы, чтобы победить его: дважды он подвергался неожиданным нападениям противника и, наконец, осилил его. Лицо Антония лоснилось от пота, все тело было в песке.

Протянув руку юноше, он вымолвил, задыхаясь:

— Поздравляю тебя с победою.

— Господин мой, — с удивлением ответил атлет, — все мы должны поздравить тебя...

— Нет, — покачал головою Антоний. — Слышишь, как я задыхаюсь? Это Пиррова победа. Победителем я считаю тебя.

Он обнял его и пригласил прийти во дворец за наградой.

Пройдя в помещение, где любители кулачной борьбы, нагие и веселые, прыгали вокруг кожаного меха, наполненного песком, и наносили ему по очереди удары, Антоний присоединился к ним. Дважды учитель остановил его, указав на неправильность удара, и Антонин со вниманием выслушал его замечание.

— Твое учение достойно похвалы, — сказал он. — Но объясни мне, почему удар, которым я недавно сбил, с ног человека, достоин порицания?

— Оттого, господин мой, что ударил ты хотя и сильно, но не в цель. Если бы ты ударил сюда, сюда или сюда (он указал кадык, висок и темя), ты, несомненно, уложил бы негодяя на месте. А так как ты ударил в челюсть, то негодяй, потеряв несколько зубов, мог, придя в себя, уйти без посторонней помощи.

— Так оно и было, — сознался Антоний, вспомнив Пиндара, и прошел в баланеион, паровую баню, затем опять в тепидарий.

Помывшись и умастившись, он направился в раздевальню, где уже дожидался его Эрос.

— Теперь, — сказал Антоний, — можно отправиться и во дворец, хотя у меня было искушение посидеть среди зрителей и посмотреть на состязания бегунов.

— Не оставайся здесь, господин мой, — попросил Эрос, — без тебя жизнь замерла во дворце. Царица расстроена, дети твои и придворные в большом унынии.

— Как здоровье Атуи?

— Здорова.

— Жены?

— Тоже.

— Письма от кого? Не посмотрел?

— Не посмел, господин мой! Вот они.

И он протянул Антонию навощенные дощечки, которые были скреплены тесемками и припечатаны воском.

Это были письма из Италии: одно от Лелида, другое — от Октавии. Сообщая о мятеже в Паннонии и приготовлениях Октавиана к войне с далматами и иллирийцами, Лепид указывал на возможность успеха в случае внезапного нападения на Рим.

«Ты отказался от союза с Секстом Помпеем, когда сама Фортуна посылала тебе счастье, а теперь представляется второй случай: легионы будут оттянуты далеко от Рима, Октавиан и Агриппа отправятся с ними, а если даже один из них и останется в Риме — прикажи выступить восточным царям...»

Поморщившись, Антоний отбросил от себя дощечки:

«Зачем мне власть? Надоела. Клеопатру люблю и ненавижу, а Октавию люблю,

жалею и уважаю. И все же не покину Египта, останусь у ног царицы я, супруг ее и царь».

Вскрыл письмо от Октавии и, читая его, плакал. Она, отвергнутая и оскорбленная, даже на намекала на полученную обиду, а сообщала о детях: его дочери болели, теперь здоровы, а ее дочери и сын увлекаются гимнастикой, плаванием и верховой ездой. Он почувствовал сердцем грусть за ее словами, грусть бедной, одинокой женщины, прекрасной телом и душой, и проклял себя за измену...

— И ради кого, кого? — вскричал он, сдерживая рыдания, а они вырывались из его груди с неудержимой силою, и он уже не мог сдержать их. — Ради кого, кого? — повторял он. — Ради блудницы, продажного тела для стока нечистот всего мира...

Им овладело желание бросить Египет, Клеопатру, сесть на судно и вернуться с друзьями в Рим. Он откажется от власти, возвратится к частной жизни и будет жить в своем имении с любящей женой и детьми, жить на лоне природы, писать свои «Достопамятности».

Выходя из гимназия, он сказал Эросу:

— Готовься. Завтра вечером выезжаем в Рим. Но никому — ни слова.

— Ты это твердо решил, господин? — с сомнением спросил Эрос.

— Не веришь?

— Хочу верить.

— А все-таки не веришь?

Эрос молчал. Антоний вздохнул, но не настаивал на ответе.

Власть тела была сильнее политической власти, и Антоний вскоре убедился в этом. Его возвращение во дворец было встречено с радостью юношами, мужчинами, девушками, женщинами, рабами и невольницами.

Казалось, огромное событие всколыхнуло дворец, и обитатели его не находили слов, чтобы выразить свою радость. Одна Клеопатра была невозмутима: тусклое лицо, безжизненные глаза. Антоний испугался, увидев ее такую; он успел заметить незажившую губу, и ему стало стыдно; раскаяние овладело им: он ударил ее, любимую, царицу и супругу, мать его детей, защищая Атую...

О, зачем боги вложили в его тело сердце, жадное к женскому телу?

Молча смотрел на Клеопатру, — не видел ни Ирас, ни Хармион. Вчетвером они находились в той же спальне, в которой он ее ударил. Он не мог говорить. Страшная тоска сжимала сердце. Он повернулся и направился к двери. И вдруг мягкий грудной голос — ее голос — тронул его сердце:

— Останься.

Он повернулся. Волнение охватило его с небывалой силой. Лицо Клеопатры сияло. Он опустился на колени у ее ног и в исступлении целовал их, вдыхая запах кинамона, мирра и нарда.

— Сядь.

Она привлекла его к себе и, улыбнувшись (выступили на щеках ямочки), заглянула в глаза:

— Зачем ты это сделал? Он понял и ответил:

— Я хотел спасти человека... А ты задумала отомстить мне...

— Нет, ты ошибся. Я знала, что ты придешь, и хотела испытать тебя... Ты любишь ее?

— Зачем спрашиваешь о том, чего я сам не знаю? Я не мог жить без тебя... Я хотел покинуть навсегда землю Кем и забыть о ней и о тебе...

— Почему же ты не уехал? Собирайся в путь... В Риме ждет тебя Октавия, дети... А наши дети пусть останутся сиротами... Отец хотел бросить их...

— Нет, я хотел взять их с собою...

— И ты думаешь, что я отдала бы тебе детей? Антоний встал.

— Зачем ты говоришь все это? Если желаешь, я уеду. Мне тяжело жить, чувствуя твою неприязнь. Я иногда сомневаюсь, что ты меня любила...

— Замолчи и уйди. Побеседуем позже.

Антоний вышел с тяжестью на сердце, зная, чем кончится ночное объяснение с царицей, — она победит, а он подчинится.

V

Несколько месяцев находилась уже Лициния в Риме и не могла приняться за дело, которое считала целью своей жизни: ее пугали не трудности, а неумение связаться с лицами, враждебными Октавиану. Что такие люди были и, притаившись, выжидали удобного момента для выступления, она не сомневалась, но не знала, где их искать. Прежних друзей и популяров она не нашла в Риме: думала, что они умерли или выехали в провинции, и отчаяние овладевало ею. Несколько раз отправлялась она с кинжалом под одеждой на улицу «К бычьим головам», находившуюся вблизи Палатина, и подстерегала Октавиана; видела, как он выходил из домика, расположенного в саду, и его окружали верные телохранители-каллагурритяне и шли с ним с обнаженным оружием до его дома, находившегося близ форума, над Лестницей золотых дел мастеров.

При такой обстановке попытка покушения была бы безумием, и Лициния стала следить за Октавианом. Она узнала от рабов, что в домике на улице «К бычьим головам» Октавиан бывает часто — здесь жил некий мальчик Сермент. Убить можно было в саду или в доме, но как проникнуть в сад, охраняемый каллагурритянами и цепными собаками? Как пробраться в дом, крепко запираемый рабами? Она пробовала наняться в этот дом в качестве поварихи и уверяла атриенсиса, что умеет стряпать римские и любые восточные блюда; атриенсис отказал и, посмеявшись, похлопал ее по плечу: «Стряпай себе на здоровье, а нам не нужно».

Возвратившись домой на улицу сукновалов, она села на пороге и задумалась. Вечерело. Люди возвращались с работы — они молча проходили мимо нее; преимущественно это была молодежь — сыновья сукновалов, горшечников, кузнецов, угольщиков; одни из них мостили дороги, другие строили дома, третьи рыли землю и укладывали трубы для водопровода. Работа была тяжелая, оплачивалась скудно, несмотря на уверения Агриппы, что плебеи останутся довольны... Лициния знала об этом. Несколько раз она беседовала с молодыми квиритами о необходимости добиваться лучшей жизни. «Нужно бороться, — говорила она. — Октавиан вас поработил. На вас жаль смотреть, и я спрашиваю себя: «Это ли римская молодежь? Где ее смелость и самоотверженность? Неужели вы забыли о борьбе Гракхов, Сатурнина, Клодия, Сальвия и Секста Помпея? Они погибли, растерзанные и убитые злодеями. А вы притихли и верите Агриппе, другу Цезаря!» Она видела, как у плебеев сжимались кулаки, в глазах вспыхивала злоба; а вождей не было, и она одна, без поддержки, без верных людей, не знала, как и через кого закупить оружие, как

образовать коллегии, поднять их на борьбу.

Если убить Октавиана, в столице начнется анархия, и тогда легче будет возбудить народ против тиранов, перебить продажный сенат, выступить во имя охлократии, но не той, которую лицемерно навязали римлянам Антоний и Октавиан, а во имя охлократии истинной, не зависящей от сената и олигархов.

Мимо проходил молодой продавец, толкая перед собой двуколку, на которой стояли боченок, кувшин и оловянные кружки.

— Поска, поска! — кричал он. — Кому налить?

— Милихий, — остановила его Лициния. — Как дела? Ты весел...

— Как не радоваться, госпожа моя? — сказал он, кланяясь. — Все продано, я выручил много ассов...

Милихий был писец, отпущенный Аттиком на волю. Получив от патрона денежную помощь, он, к изумлению господина, занялся продажей народного напитка из уксуса, воды и яиц. Поску он приготавливал сам, добавляя в нее немного меду. Его поска пользовалась известностью во многих кварталах, и он продавал ее на унцию дороже, чем другие торговцы, и потому зарабатывал если и не достаточно, чтобы прожить, то во всяком случае больше торговцев, державших нескольких продавцов: в течение дня он не раз возвращался домой, чтобы наполнить свой боченок. Дела шли неплохо, и он часто бывал весел и велеречив. К Лицинии, поселившейся в доме, снятом сукновалами, он относился с уважением; сразу признав в ней не плебеянку, а матрону из высшего сословия, он слушал ее речи о борьбе с восхищением и радостью. Остановившись перед Лицинией, он рассказывал о покупателях поски: как всегда, это были плебеи, вольноотпущенники и рабы, но сегодня к нему подошел человек в дорогом гиматии и новых башмаках и попросил кружку поски.

— Однако, госпожа моя, он не успел выпить, — говорил Милихий, — и уронил кружку на землю. Я заметил, что на левой руке у него не было среднего пальца.

Лициния встрепелась. Вспомнила Понтия, веселого коллегу Сальвия, беспалого популяра, всю жизнь боровшегося с нобилями, и подумала: «Это он».

— О, если бы ты привел его ко мне, — шепнула она. — Я знаю его и хотела бы с ним увидеться.

Прошло несколько недель, а беспалый муж не появлялся, и Милихий каждый день говорил Лицинии:

— Не вижу его. Может быть, это было привидение. Однажды утром, когда Лициния собиралась выйти из дому, Милихий привел беспалого. Взглянув на него, Лициния вскрикнула:

— Понтий! Почему ты исчез? Я искала тебя в цирке, искала там твоих коллег, и ни одного не нашла.

— Я уезжал в Элладу.

— Зачем?

— По делам, — уклончиво ответил он, — прибыл недавно и вновь поступил на работу в цирк.

— Один?

— Людей прибавилось.

Лициния повеселела. Она поняла, что Понтий ездил собирать единомышленников и возвратился с ними в Рим. Она размечталась: при цирке будет образовано ядро популяров, она и Понтий начнут объединять плебеев. Понтий привез новости. Он рассказал о завоевании Антонием Армении, взятии в плен армянского царя и захвате

его сокровищ. Он утверждал, что Октавиан возбуждает сенат и народ против Антония, обвиняя его в том, что египетский царь и римский проконсул отпраздновали армянский триумф в Александрии, что было оскорблением Рима, верховного города мира. А затем Антоний основал на Востоке новую династию — отнял у Италии и отдал своим детям от Клеопатры римские провинции: Клеопатра была провозглашена царицей царей и получила египетское царство с присоединением Кипра и Келесирии, Цезарион был объявлен законным сыном Цезаря и соправителем Клеопатры, двухлетний Птолемей — царем Сирии, Финикии и Киликии, шестилетние близнецы Александр и Клеопатра получили: первый — Армению) и Мидию, вторая — Ливию и Киренаику до Большого Сирта.

— Октавиан в бешенстве, — говорил Понтий, — разрыв между дуумвирами неминуем. Его раб слышал, как тиран говорил Агриппе о Цезарионе: «Антоний противопоставляет мне соперника, второго сына Цезаря, легионы склонны признать Цезариона сыном божественного Юлия, а сам Антоний помышляет воспользоваться римскими силами в пользу династии Птолемеев. Но не бывать этому — клянусь Олимпом и Аидом! Двуликий Янус хитрит: царь Египта, он не порывает с Римом; супруг Клеопатры, он не разводится с Октавией; римский проконсул, он набирает воинов в Италии для Парфянского похода, чтобы присоединить потом Парфию не к Риму, а к Египту, так как он обещал ее своему сыну Александру».

— Знаю, Октавиан вернулся недавно из Далматии, — сказала Лициния.

— Он оставил одного из друзей завоевывать страну, а сам поспешил в Рим. Очевидно, его беспокоит деятельность Антония.

Понтий засиделся до полуночи. Лициния обсуждала с ним, как создать ядро борцов и начать работу по восстановлению коллегий Клодия. Дело было трудное. Понтий сообщил, что кое-кто из друзей уже находится в Риме, а коллеги, переселившиеся в муниципии, поддержат, без сомнения, работу популяров,

— Нужны средства, — сказал он, — а у популяров нет ни одного асса. Я уже пытался вовлечь в наше дело какого-нибудь всадника или разбогатевшего плебея, который стал сенатором, но все мои попытки кончались неудачей. Всадники выгоняли, а новые сенаторы говорили: «Ты, очевидно, без винта в голове, как говорил Цезарь. Чего нам еще нужно? И неужели мы будем помогать черни на свою голову?» Как видишь, плебей стал господином и презирает чернь, к которой сам принадлежал недавно.

— Стыд и позор! — воскликнула Лициния. — Я давно подозревала, что выскочки способны на подлость. — И, помолчав, добавила: — Как думаешь, много ли нужно денег на покупку оружия и разьезды?

Понтий стал считать, загибая пальцы: по его расчетам, необходимо было вначале не менее двухсот тысяч сестерциев; он с жаром доказывал, что четвертая часть этих денег будет израсходована на подкуп магистратов и оружейников.

— Сама понимаешь, любой магистрат закроет глаза на покупку и провоз оружия, а оружейник поделится с ним, лишь бы избежать неприятностей. Ты скажешь, что мужи зажиточные и образованные не такие, как я говорю, и непременно начнешь утверждать, что они мечтают о древних временах республики, когда простота и суровость украшали квиритов. Увы! Все это так, да не так. Можно говорить о древних временах, рядиться в тогу добродетели и простоты, как Катан, и в то же время складывать потихоньку сестерции и динарии в ларец,

Он засмеялся, взглянул на Лицинию.

— Я дам двести тысяч сестерциев, — сказала Лициния, — завтра получишь половину этих денег, а остальные через неделю. Свяжись с популярами, собери верных людей и приведи их в домик, находящийся в садах Виминала — между платанами и кустами акаций и розмарина. Пропуском будет слово «Свобода». Только выбирай людей надежных, иначе наше дело рухнет, а мы погибнем.

— Не беспокойся.

— Помни, завтра я переселюсь на Виминал: там ты меня найдешь днем и ночью. Не приводи с собой оружейников и богачей, ставших бедняками. Прежде чем выбирать людей, изучай их.

— Все будет сделано, как ты сказала.

— Помощью нашей в борьбе будет дух Секста Помпея, незримо присутствующий среди нас.

— Да будет так, — кивнул Понтий и подумал: «Неизвестно еще, согласился ли бы Помпей на это дело? А если бы и согласился, то целью борьбы была бы, наверно, не охлократия, а древняя аристократия».

VI

Взволнованный признанием Цезариона законным сыном Юлия Цезаря, Октавиан был уверен, что Антоний этим действием противопоставлял Цезариона ему, Октавиану: если сын от Клеопатры законен, то имя Цезаря, которое носил Октавиан, равно как и имущество диктатора, полученное им в наследство, присвоены. Он знал, что Клеопатра желает отнять у него наследство Цезаря и передать его Цезариону, а это обстоятельство задевало его больше, чем присоединение римских провинций к Египту.

Непокладистый Агриппа, несмотря на ярость Октавиана, утверждал, что не время думать о Цезарионе, а нужно возбуждать патриотические чувства римского народа и ненависть против египетской царицы и римского проконсула-царя, отнявшего у Рима провинции. Напрасно Октавиан кричал, что он не может спокойно перенести противопоставления себя гибриду (так он величал Цезариона), Агриппа неизменно отвечал:

— Я не согласен с тобой, Цезарь! Хочешь — поставь вопрос на голосование сената и народа, но берегись, если предпочтение будет оказано Цезариону...

— Гибриду!

— Пусть так, но все же имеющему некоторое право...

— Право? Клянусь богами, я давно замечал, что у тебя нет винта в голове...

— И все же ты сделаешь так, как я говорю... Октавиан злобно засмеялся и повернулся к Меценату, избегавшему принимать участие в споре.

— Твое мнение?

Меценат начал издали: он говорил о Юлии Цезаре и Клеопатре как о влюбленных супругах, намекнул на Цезариона и вдруг вымолвил как бы в раздумьи:

— Какая разница между сыновьями законными и усыновленными? Кому должно отдать предпочтение? Я думаю — законному.

— Цезариону? — бледнея, спросил Октавиан.

— Ему. Поэтому нужно доказать, что Цезарион — гибрид, даже не гибрид, а сын Клеопатры от кого угодно, только не от Юлия Цезаря.

— А как доказать?

— Это можно сделать. Примирись с Клеопатрой, стань ее любовником.

Октавиан с бешенством взглянул на него.

— Друг, ты несдержан на язык. Если бы эти слова были сказаны мне другим, я приказал бы у него отрезать язык.

— А так как это сказал я...

— ...то ступай на форум к храму Сатурна и возвращайся не раньше, чем придумаешь выход из положения.

— Ты хочешь, чтобы ночная стража помяла мне бока?

Октавиан улыбнулся — гнев уже прошел.

— Надень пенулу, помолись манам и ступай, — молвил он, искоса поглядывая на него. — Только не сочиняй, заклинаю тебя Аполлоном, напыщенных стихов, похожих на древние стихи, иначе мы назовем их надушенными завитушками. Делай, что приказано. Торопись медленно.

Когда Меценат ушел, Октавиан сказал Агриппе:

— Думай и ты. Жаль, что нет Вергилия: бедный, где он теперь? В Капуе, Неаполе или на Капрее? А он дал бы добрый совет...

— Тебе понравилась II книга «Георгик»? Октавиан пожал печами.

— Восхваление трудолюбия, суровости, скромности и благочестия похвально, — говорил он, — но вот Гораций... совсем нетерпимы его нападки на культуру и богатства. Зачем нападать на то, что ты приобрел или чем сам пользуешься? А ведь Гораций культурен и богат...

— Меценат иного мнения, — сказал Агриппа, — он подарил Горацию виллу в Сабинской области с несколькими рабами и большим участком леса.

Агриппа медленно ходил по атриуму, рассматривая изображения на стенах: на одной была воспроизведена битва при Заме и бегство Ганнибала, на другой Сулла, вступающий в охваченные огнем Афины. Агриппа думал об Октавиане, который, повидимому, был польщен похвалами Вергилия и досадовал на сдержанность Горация.

Он остановился, смотрел несколько мгновений на Октавиана.

— Рассердишься ли ты на меня, Цезарь, или нет, но я скажу тебе правду: народ стонет от налогов, ропщет, проклинает тебя... Я слышал, как на конциях чужестранцы насмехались над плебеями, величая их охлократами; они кричали, что объявленная тобой и Антонием охлократия — новая форма рабства, и спрашивали, долго ли плебс будет терпеть тиранию дуумвиров. Выступали некие Понтий и Лициния и призывали народ к борьбе с тобою.

— Когда это было? Почему ты не сказал мне в тот же день?

— Говорить тебе, Цезарь, все равно, что толочь воду в ступе: ты упрям...

— Избавь меня от этих обвинений: упрямство и непокладистость скорее свойственны тебе, чем мне... Пока ты ходил и рассматривал картины, а Меценат размышляет у храма Сатурна, я придумал, что делать: я воспротивлюсь в сенате восточной политике Антония, несмотря на то, что он страшно могущественен. Я выступлю борцом народного движения против расчленения Рима и буду возражать против дарений, сделанных Антонием в Александрии. Для этого я решил добиться консульства и выступить в сенате против Антония.

— Ты идешь на разрыв с ним?

— Срок триумvirата кончается в будущем году...

— Ты думаешь вернуться к частной жизни? Помолчав, Октавиан тихо сказал:

— Неужели ты мог подумать, что после такой борьбы, стольких лишений и волнений я смирюсь перед Антонием? Никогда. Нужно изменить общественное мнение в мою пользу и разжечь его против Антония, нужно привлечь народ на мою сторону... Ты хотел строить, и вот в будущем году, когда ты станешь эдилом, — дай работу беднякам, заткни им рты. Общество и чернь будут нашей опорой...

— А ты?

— Я уступлю консулат одному из друзей и вернусь в Далмацию. Ты же останешься в Риме, чтобы решить дело в мою пользу...

Вбежал Меценат, радостный, улыбающийся.

— Я придумал, Цезарь! — воскликнул он. — Ты останешься доволен.

— Придумал быстрее, чем спаржа сварилась, — это хорошо. Что же ты придумал?

Меценат стал развивать свою мысль. По его мнению, единственным выходом был прочный мир с Антонием, возобновление триумvirата еще на пять лет, с привлечением Цезариона: Египет будет присоединен к римской республике, Цезарион станет наместником или, вернее, союзным царем, правителем Египта, Антоний — правителем Востока и Парфии, которую он стремится завоевать, а Октавиан — правителем Запада.

— Таким образом, — заключил Меценат, — ты получишь сокровища Лагидов и власть над Египтом, свергнешь потом Цезариона и Клеопатру и уравнишь свое могущество могуществом Антония.

— Ты еще не киснешь? — с улыбкою спросил Октавиан.

— Я хорошо себя чувствую. Почему ты заботаешься о моем здоровье?

— Пусть о нем заботится добрая богиня Валетудо. Слушай: я не желаю возобновлять триумvirат, не хочу вступать в союз с гибридом и не имею намерения делиться с ним Египтом. Твой совет плох, и я сам решу, что делать.

Глубоко задумавшись, Октавиан ходил по атриуму, прихрамывая на левую ногу, часто останавливаясь. Он пожимал плечами, разводил руками и что-то бормотал. Вдруг обернулся к Агршше:

— Я должен получить консульство на следующий год, понимаешь? Поручи дивизорам позаботиться о нужном количестве избирателей, не жалея денег — мое будущее зависит от консулата.

Когда друзья ушли, он направился в таблинум и долго стоял у стола, на котором лежали свитки папирусов и пергаментов. Позвонив, он приказал вошедшей рабыне позвать госпожу.

Ливия была не так прекрасна, как говорили о ней в обществе, желая, очевидно, польстить Октавиану и его друзьям. Уступая в красоте и обаятельности Октавии, супруге Марка Антония, она, однако, не была лишена миловидности и скромности, которые выгодно отличали ее от многих матрон, занятых только своей наружностью: она не стремилась нравиться мужам, случайно возвысившимся, и их сыновьям, соперничавшим в изящности и обхождении с несколькими фамилиями, оставшимися от исчезнувшей знати. Одета она была в легкий хитон, под которым угадывался стянутый шнуровкой тонкий стан, обута — в соломенные сандалии, а ростом казалась выше мужа.

— Что ты делала? — спросил Октавиан, перебирая свитки папирусов. — Может быть, я помешал тебе?

— Нисколько. Я принимала от рабынь заданный им накануне урок. Ковер для спальни хорош — можешь взглянуть: на нем изображен Дионис среди виноградных гроздий и две-три менады. Шерстяная тога для тебя готова — нужно только примерить. Туника — тоже.

— Я хотел спросить, не желаешь ли пойти с мной вечером на пир к Марку Випсанию? Гостей будет много — я поручил Агриппе созвать виднейших сенаторов и всадников...

— И, конечно, будут Аполлодор Пергамский и Арей с сыновьями?

— Да, но почему ты не любишь сыновей Арея? Дионисий и Никанор...

Ливия перебила с упреком в голосе:

— Разве ты не замечал, как они нагло смотрят на матрон? Бьюсь об заклад, что у них своя философия относительно женщин.

— А это тебя пугает? — пожал плечами Октавиан. — Всяк волен думать, что ему угодно... Нет? Нравственность и порядочность? Увы, это понятия относительные: что нравственно для одного, то безнравственно для другого, и наоборот. Успокойся же, милая Ливия, и не морочь себе голову пустяками.

— Если ты защищаешь философов, то я молчу. Еще кто будет? Октавия? Я рада и пойду непременно. Обещай после пира исполнить любую мою просьбу.

Октавиан наморщил лоб, сросшиеся брови сдвинулись, образовав выпуклость, и он подумал, стоит ли давать обещание, если он не сможет его исполнить. Однако, зная Ливию как рассудительную женщину, он решил ей не отказывать и сказал, улыбнувшись:

— Слово Цезаря. Ты довольна?

Ливия ласково улыбнулась — лицо ее стало почти прекрасным, и Октавиан не мог удержаться, чтобы не обнять ее.

— Скоро новый год, — возразила она со смехом, — и рано еще спрашивать о том, довольна ли я. Когда я буду получать от тебя подарки, ты увидишь по моим глазам и лицу.

— Конечно, будешь довольна, так как я выполню свое обещание.

И Октавиан, усадив Ливию, сел рядом с нею.

VII

Улицы были наводнены толпами египтян, греков, римлян, иудеев, сирийцев и рабов. Пестрые одежды женщин, белые тоги, богато расшитые гиматии, хитоны, хламиды, опояски вокруг бедер — все это мелькало перед глазами Атуи и Халидонии, когда они, с пропуском в руках, пробирались к портику Помпея. Пока городские стражи устанавливали порядок и громкими голосами приказывали очистить середину улицы, из-за портика высыпали дворцовые стражи в коринфских шлемах, украшенных перьями, с отверстиями для глаз. На них были панцири, состоявшие из двух металлических частей — передней и задней, — соединенных ремнями: в одной руке они держали продолговатые щиты беотийского образца с буквой К, что означало название страны Кем, а в другой — длинные копья. За ними шли лучники с деревянными луками в руках, с кожаными колчанами, из которых торчали длинные перистые стрелы. Наконец появилась золотая колесница, запряженная белыми

лошадьми, покрытыми пурпурными чепраками. Мягко ступали лошади по мостовой, — на копыта их были надеты кожаные башмаки.

На колеснице сидела царица святой земли Кем, а по обеим сторонам стояли две девушки в греческих одеждах, обмахивая ее опахалами.

Клеопатра казалась богиней, сошедшей на землю: на ее голове чешуей переливалось покрывало Изиды, блестели золотые рога, а между них — серп месяца с уреусом, обвитым вокруг головы. А сквозь покрывало Изиды просвечивала золотая шапочка, из-под которой виднелись черные косы. На шее царицы ярко сверкало ожерелье, на руках — золотые браслеты с крупными драгоценными камнями. В одной руке она держала крест жизни, в другой — скипетр. Ее одежда была усыпана мелкими хризопрасами.

Приветственные крики огласили улицы:

— Слава царице земли Кем!

— Слава дочери Лагидов!

Клеопатра приветливо кивала направо и налево.

— Помнишь, Хармион, жреца Сераписа? — шепнула она, обратившись к румянощекой девушке с локонами. — Он уверял, что египтяне меня ненавидят... Но это ложь! — возвысила она голос. — Слышишь, как меня встречает, как приветствует народ?

— Госпожа и царица, — опуская глаза, ответила Хармион. — Вижу, слышу и недоумеваю.

— А твое мнение, Ирас?

— Я тоже недоумеваю, — ответила гречанка, переглянувшись с Хармион. Девушки знали, что, по приказанию Антония, были подкуплены сотни людей, которые должны были кричать приветствия царице, и только эти люди были допущены на улицы, по которым проезжала Клеопатра, а остальное население отстранено от встречи с царицей.

Колесница проехала. За ней шли крепким тяжелым шагом римские легионарии, бородатые ветераны, пожилые и седые, с гордо поднятыми головами, а за ними важно шествовали слоны, окруженные римскими всадниками. На слоне, выступавшем впереди, сверкала золоченая беседка, и из нее выглядывал Антоний: глаза его смеялись, и белые зубы сверкали на фоне черных усов и бороды.

Атуя вскрикнула, узнав господина, и радостно замахала обеими руками. Халидония, с искаженным лицом, дёрнула ее за плащ.

— Тише, — молвила она, задыхаясь.

Но Атуя не слышала, — Антоний узнал ее и посылал поцелуи, как озорной мальчишка. Она зарделась и смущенно обернулась к Халидонии.

— Что с тобой? Тебе нездоровится?

— Отстань, — резко ответила Халидония: лицо ее было бледно, губы подергивались, глаза потемнели.

— Куда ты? — вскричала Атуя. — Подожди. Пусть господин наш проедет...

Халидония, не слушая ее, зашагала по улице. Атуя осталась, продолжая смотреть на царский выезд. Из беседы городских стражей она узнала, что Клеопатра переезжает из Лохиасекого дворца во дворец, находящийся против острова Антиррода, и думала: «От дворца недалеко до храма Посейдона и до театра: я увижусь с Антонием, буду чаще встречаться». Она последовала за всадниками, замыкавшими шествие.

У дворцовых ворот Атуя увидела Эроса. Он беседовал с начальником стражи.

Атуя, дрожа от нетерпения, подбежала к нему, не слушая непристойных шуток воинов, указывавших на ее большой живот.

— Господин мой, я хочу видеть царя. Эрос обернулся, узнал ее.

— Привет тебе, госпожа моя! — тихо сказал он. — Ты неудачно выбрала время — царь отправился во дворец.

— Господин мой, найди его, ради богов, и он отблагодарит тебя...

Подумав, Эрос шепнул:

— Завернись получше в плащ и следуй за мною. Они прошли в ворота, и Эрос, остановившись у садовой ограды, вызвал главного садовника.

— Проводи госпожу в зеленую беседку, но никому не говори, что она там, — так приказал царь.

Долго ждала Атуя. Изредка она слышала голоса женщин и забивалась в темную глубину беседки, боясь, что ее узнает кто-нибудь из приближенных царицы. Наконец послышались тяжелые шаги, мужские голоса, и она увидела на дорожке Антония и Эроса.

— Здесь? — спросил Антоний.

— В беседке.

Антоний поднялся по ступенькам и в ту же минуту ощутил теплые губы на своей руке. Отдернув руку, он поднял Атую.

— Я рад тебя видеть, Атуя. Я тебе нужен?

Она испугалась, что он рассердится, и бросилась перед ним на колени.

— Прости меня, господин! Но я соскучилась по тебе... Я не хочу жить с Халидонией... Я боюсь ее...

И она рассказала, захлебываясь рыданиями, что Халидония ненавидит ее, ревнует к господину, повторяет его имя и сквозь сон проклинает ее, называя сукой.

«Возможно ли? — думал Антоний. — Бедный Эрос! Сказать ему? Или умолчать? Куда отправить Атую?»

Мысли прыгали в голове. Он торопился к Клеопатре, и торопились мысли.

Приласкав наспех Атую, Антоний приказал Эросу вывести ее из сада и в лектике отправить домой.

— Проводи ее сам, Эрос! Сегодня ты мне не нужен. Можешь спать со своей женою. А завтра я наведаюсь к вам и поговорю с тобой, Атуя!

В лектике, несомой сильными понтийцами, Эрос старался выведать у Атуи, зачем она виделась с Антонием. Стоя у беседки, он слышал обрывки ее речей и понял, что Атуя жаловалась на Халидонию, которая ревновала ее к господину.

«Неужели к Антонию? — думал он. — Следовательно, не меня, а его любит она... А я ей верил... Она не забыла его и, видя любовь Антония к Атуе, ревнует. О, боги! Если это так, пусть скажет, и я прогоню ее — лучше сразу узнать правду, чем узнавать ее постепенно, мучаясь и догадываясь...»

Всхлипывая, Атуя рассказала ему все, что знала и предполагала.

— Ничего, — улыбнулся Эрос, чувствуя, как голос застревает у него в глотке. — Ничего, — повторил он, — она образумится и не будет тебя преследовать. Говоришь, не преследует? Тем лучше, у нее есть муж, и жена, помышляющая о другом при живом муже, достойна порицания или наказания. Но не бойся, госпожа, я не буду пенять на нее за любовные сновидения, пусть грешит во сне, лишь бы не допускала себя наяву до непотребства.

— О, нет, господин мой! — вскричала Атуя. — Пощади ее и не гневайся. Она

хорошая женщина...

Лектика остановилась перед домиком.

— Войдем, — сказал Эрос, отпуская понтийцев. — Она еще не спит, хотя уже ночь.

Халидония встретила мужа и Атую не приветливо. Лицо ее было сумрачно; она избегала смотреть на мужа, а на Атую и вовсе не обращала внимания.

Ужинали молча.

— Что с тобою, жена? — спросил Эрос, допивая вино и ставя на стол фиал. — Ты нездорова?

— Нездорова.

— Если заболела, я сбегая к воротам Солнца за лекарем.

Халидония подняла голову: лицо ее то хмурилось, то вспыхивало злобной радостью. Эрос с недоумением смотрел на нее. Атуя испуганно мигала ресницами.

— Сходи за египтянином, — согласилась Халидония и растерялась, когда Атуя вышла из-за стола.

— Я пойду с тобою, господин мой, — сказала Атуя. — Ночь теплая, и я хочу подышать воздухом.

Халидония вскочила, швырнула сковороду на очаг.

— Не нужно! — крикнула она. — А ты, Атуя, избегаешь меня... Может быть, боишься?

— Боюсь.

Халидония с ненавистью взглянула на нее.

— Я ушла от тебя, когда народ встречал царицу, — сказала она. — Ты вела себя, как блудница, и мне стыдно было за тебя. Люди оглядывались, когда ты махала руками Антонию...

— Что мне за дело до людей? Пусть оглядываются...

— А ты побольше махай руками. Уж не думаешь ли на крыльях любви улететь к своему возлюбленному? Увы! он оттолкнет тебя, и ты, как Икар, упадешь на землю...

— Молчи. Ты его не знаешь...

— Не знаю?.. Пусть скажет мой супруг... Эрос схватил ее за волосы.

— Что тебе нужно, сварливая женщина? Весь вечер я терплю твоё злобное брюзжание и нападки. Мне надоело это — понимаешь? Ступай в спальню и приготовь ложе...

Халидония не тронулась с места.

— Слышишь?

Она взглянула на него с усмешкою.

— Мне тоже надоели твои крикливые придирки. Зови рабынь, пусть стелют тебе, а я...

— Женщина!

Подбоченившись, она смотрела на подходившего Эроса.

— Будешь таскать за волосы? Бить? Бей. Только вольноотпущенник способен на это. Благородный муж не позволит себе...

Занесенная рука Эроса опустилась.

— Не посмел? Я так и знала. Моим телом владел Антоний, царь Египта, опоганил его и оттолкнул, как падаль. То же будет и с тобой, глупая Атуя, сколько не бегай за ним и не целуй его ног...

— Лжешь! — вскрикнула Атуя.

— Спроси его, — указала Халидония на Эроса. — А, он молчит... Скажи, супруг мой, хоть одно слово, поведай глупой любовнице, как мне сделали выкидыш и как потом некий вольноотпущенник женился на мне, зная, что я подержанная женщина, шелуха от плода, испорченная вещь...

— Молчать!

Но она, не слушая, продолжала говорить, захлебываясь от злобы, дрожа всем телом, с искаженным лицом. И, когда, наконец, замолчала, Эрос сказал:

— Я терпеливо выслушал тебя, хотя следовало поступить с тобой, как с неблагодарной собакою. Разве попрекнул я тебя хоть один раз, что ты была любовницей другого? Разве я обращался с тобой по-скотски, избивая, как многие мужья? Разве я бросил тебя в Италии, когда мог это сделать? Нет, я вызвал тебя в Сирию, а затем перевез в Египет, потому что, Халидония, я полюбил тебя и мне казалось, что и ты меня любишь. Но ты лгала, ты обманывала меня... Сегодня я узнал об этом. И я думаю, как поступить с тобой, подлая тварь, какую кару придумать тебе не за то, что ты не любила меня, а за то, что обманывала и только что оскорбляла...

— Я не лгала тебе, Эрос! Когда я увидела его, я поняла, что ошиблась: не тебя любила, а его... Кто ты? Кто я? Оба мы — его вещи, а он — царь...

Эрос плюнул ей в лицо.

— Подлая тварь! Да, ты вещь, но я — не вещь, я — человек... понимаешь?.. Я — сенатор, я друг Антония... я... я...

Задышавшись, опустился в кресло.

— Нет, и ты вещь! — издевалась Халидония. — Захочет он — и лишит тебя сенаторского звания, повелит раздеть и бичевать, а затем и распять, даже вниз головою, потому что он само могущество, а ты — пыль под его ногами, падаль, дерьмо...

Эрос вскочил, схватил ее за волосы и, не помня себя от ярости, таскал по полу.

Атуя оттащила его от Халидонии.

Халидония долго лежала на полу, потом приподнялась на руки и, как собака, поползла в спальню.

VIII

Всю ночь шел крупными хлопьями снег, и сады Виминала нарядились в белую пушистую одежду. А к полудню выглянуло солнце, деревья сбросили с себя снег, засверкали лужи.

Прикрыв рукою глаза, Лициния следила за тучками, собиравшимися у солнца, и ожидала друзей.

Несколько недель, пролетевших после встречи с Понгием, были использованы разумно: Понтий закупил оружие и создал два-три немногочисленных отряда, однако плебеи неохотно вступали в них; главной причиной нежелания было отсутствие авторитетного вождя, — Лицинию не знали, женщина вождем быть не могла, это противоречило укоренившемуся обычаю, когда во главе народного движения стояли мужи, люди сильные. А как могла руководить отрядами воинов слабая женщина, посылать их на борьбу, отдавать приказания, следить за всеми участками, на которых должны произойти битвы или волнения? По понятиям плебеев это было немислимо, и

Лициния не могла стать вождем.

А Понтий и Милихий? Кто их знал? Чем они себя проявили, что дали народу? И можно ли было верить им? Нашлись люди, которые утверждали, что Понтия и Милихия следует остерегаться, и шептались, высказывая опасение, не сторонники ли они демагога Октавиана, подсланные им, чтобы вызвать среди плебса волнения, которые послужили бы предлогом для уничтожения «власти народа»;

В действительности демократии не существовало, — все решали дуумвиры: Октавиан на Западе и Антоний, на Востоке. Римская республика распадалась, государство только называлось республикой, хотя сенаторы уверяли, что Рим достиг вершин справедливости, потому что им управляли представители народа, Слово «охлократия» склонялось во всех падежах, произносилось с гордостью, но люди, твердившие это слово по всякому поводу, не верили, что охлократы управляют государством, хотя называли его «охлократической республикой». Тем более не верили популяры. Они стремились к иной форме власти — не к демагогической, а к демократической. Плебс, уставший от столетней гражданской войны, слушал с недоверием зажигательные речи Лицинии, Понтия и Милихия, вспоминая прошедшие времена, когда истинные вожди боролись, гибли и были не в силах опрокинуть власть олигархов.

Лициния знала историю. Борьбу начали сицилийские рабы; Эвн, Ахей и Клеон создали рабское государство, боролись и погибли; выступили Гракхи, Аристоник, Спартак, и опять страшная неудача постигла их. Почему они не сумели сладить с Римом?

Лициния взглянула на небо: тучи сгустились и закрыли солнце, пошел снег, налетел ветер, закружил снежинки. Стало холодно. Она вошла в дом и села погреться у очага.

— Почему постигла их неудача? — шепнула она и тотчас же ответила: — Оттого, что они боролись разрозненно. О, если бы рабы перебросили силы в южную Италию, связались с земледельцами и вождями их — Тиберием Гракхом и Блоссием, если бы они присоединились заодно к Аристонику, к союзникам, поработанным Римом, — наша победа была бы полная... Новый Рим, свободный, Рим охлократов, вознесся бы над миром, и народы, в общем труде и содружестве с ним, создали бы светлую изумительную жизнь...

Грустно улыбнулась: «Мечты, мечты! Разве человек, кровожадное животное, может жить в мире с другим человеком?» Это была мысль отчаяния, и Лициния, потрянула головой, вымолвила:

— Нет, человек может и должен жить в мире с человеком. Наступит время братского единения народов, когда не будет больше войн, когда государства не будут держать наготове легионов и когда весь мир станет Государством Солнца, как этого хотели Аристоник и Блоссий.

Вошли Понтий и Милихий, а за ними бородатые мужики в заснеженных плащах. Атриум наполнился шумом шагов, голосов и смеха.

Поступила тишина, Понтий откашлялся и начал рассказ.

Первого января семьсот двадцать первого года от основания Рима, после веселых песен и музыки на площадях города, когда проезжали всадники на лошадях, приходили слоны с золочеными беседками на спинах, носились хороводы вакханок, а сам Вакх ехал на козле с золотыми рогами; когда проезжали в легких плетеных колесницах, запряженных страусами, красивые матроны с дочерьми, а впереди них

трусил на осле непристойный Приап, а за ним Фавн верхом на баране, к рогам которого были привязаны бубенцы; когда легкомысленные толпы веселились, позабыв о своем тяжелом положении, — в римском сенате решались важные дела: новый консул, тиран и демагог, худший из псов, какие существовали когда-либо на земле, произнес речь, направленную против своего коллеги, развратного Антония; он обвинял его в том, что в Александрии произведены римским проконсулом самовольные раздачи земель, принадлежащих римскому народу, и что восточная политика Антония направлена против республики.

— Следовательно, друзья, Октавиан подготавливает сенат, высшее общество и народ к войне с Антонием. Я предвижу возражения: Октавиан находится в родстве с Антонием etc. А между тем это не будет служить помехой разрыву между ними. Антоний уже царь. А кто такой Октавиан? «Сын Цезаря», демагог и трус. Он не хочет подчиниться Антонию, мечтает о единодержавии, жаждет власти.

— По-твоему, — прервал Милихий, — борьба с Октавианом и союз с Антонием?

— Клянусь Валетудо! Тебе нужно полечиться. Муж в здравом уме не скажет таких слов. Наша цель — выступление против дуумвиров, борьба с ними, и тот, кто поддержит одного из них, изменник делу народа!

Понтий рассказал о приобретенном оружии и наметил плебеев, которые должны были распределить его среди людей. Никто не возражал, кроме одного старика-гончара.

— Зачем совать мечи людям, которых мы вербовали, не зная их вовсе? Кто может поручиться за свой отряд? Ты, Милихий? А всех ли ты знаешь людей? Нет? Они унесут оружие, чтобы продать его, или же нас предадут.

Милихий стал возражать. Лициния перебила его:

— С оружием можно подождать. Выдать успеем и позже. А с людьми необходимо познакомиться, слышишь, Понтий? Изучи их, подружись с ними, узнай, преданы ли они нашему делу...

— А если я обнаружу врага — как с ним поступить? Оставить в отряде? Все дело испортит. Изгнать? Выдаст нас.

Вопрос был неожиданный. Лициния молчала. Всякий вождь, не задумываясь, уничтожил бы врага, — так поступал Клодий. А ей не хотелось проливать кровь, пятнать руки до начала вооруженного столкновения. Однако она колебалась недолго.

— Таких людей нужно уничтожать во имя блага сотен и тысяч, — твердо выговорила она.

— Этого ответа мы ждали от тебя, — слышались голоса ремесленников.

— Мы будем изучать людей и поступать, как ты сказала, — добавил тот же старый гончар.

Лициния испугалась, что единичные решения могут быть ошибочными, и предложила плебеем осуждать врагов на смерть лишь после совещания и одобрения нескольких человек и в том случае, если враждебность будет доказана. Она боялась также, что они будут сводить личные счеты и убивать неповинных людей.

— Без нашего ведома, — указала Лициния на Понтия и Милихия, — ни один человек не должен быть казнен. Мы будем обсуждать вместе с вами, как поступать с изменниками.

Вопрос о привлечении новых людей в отряды обсуждался долго. Плебеи плохо шли, об этом все знали, но Лициния настаивала на широкой вербовке, указывая, что легче всего выбирать людей на конциях, независимо от того, свободнорожден ли

человек, раб ли он, чужестранец или женщина.

— Мне известно, — сказала она, — что Агриппа избран эдилом этого года и обещает дать работу ремесленникам. Правда ли это? Вероятно, правда. Но не есть ли эта правда хитроумное деяние эдила: заткнуть рты недовольным, отвлечь безработных от вредных мыслей и злодеяний Октавиана, заставить их громкогласно поддерживать Агриппу? Так оно, должно быть, и есть. Подумайте, друзья! Богач Агриппа пожалел обнищавших плебеев и пожелал стать опекуном бедняков! Возможно ли, чтобы волк отечески заботился об овце или паук о мухе?

Все засмеялись.

— Или Меценат, заботящийся об искусствах, — продолжала Лициния. — Я хочу обратить ваше внимание на его деятельность: выдаются премии за лучшие стихи, сотни молодых людей пишут и несут свои произведения, чтобы получить награду. Что это? Забота о поэзии или затемнение мозгов стихами, направление мыслей подальше от политики к воспеванию богов и природы?

Понтий смущенно возразил: — Не преувеличиваешь ли ты? Если это действительно так, то эта троица — большие злодеи, нежели был сам Сулла с его клеветами.

Совещание затянулось до поздней ночи. Снегу выпало так много, что Лициния не могла открыть дверь на улицу. Понтию и Милихию пришлось разгрести снег лопатами.

Светила тусклая луна, и одинокие снежинки кружились еще в воздухе, когда Лициния прощалась с друзьями.

Все ушли. Лициния стояла на пороге, прислушиваясь к удалявшимся голосам. Давно уже она же чувствовала себя одинокой, а теперь, когда предвиделась борьба, сердце ее билось сильнее, и четче вырисовывался в памяти образ Секста Помпея.

IX

Эрос и Атуя молча просидели всю ночь у жертвенника Гестии. Эрос думал о Халидонии и о поруганной любви, о невозможности не только жить, но и встречаться с женою; Атуя — об Антонии, бросившем без сожаления Халидонию, и тоже — о своей любви и о том, что ожидает ее впереди.

«Неужели он и меня отвергнет? — размышляла Атуя, и ужас заползал в ее сердце. — А я так люблю его!»

Она знала, что Антоний должен приехать, и дожидалась рассвета, томясь, терзаясь, сдерживаясь от слез. Изредка она посматривала на Эроса, безучастного ко всему, даже забывшего об ее присутствии, и ей становилось жаль этого человека: жизнь его была скомкана, выхода не было. А кто нарушил мир в семье, растерзал, как коршун, обе жизни? Антоний. Скоро он приедет, пошутит, по обыкновению, и скажет, что мир полон девушек — выбирай любую. А на разбитую жизнь и нарушенный семейный мир взглянет, прищурившись: «Что такое жизнь и семья?» и начнет философствовать, подкрепляя верность своих мыслей изречениями Платона, Аристотеля, Карнеада, Посейдония и десятков выдающихся мудрецов, не понимая, что слова его оскорбительны.

«Так же поступит он со мною, — подумала Атуя и всхлипнула. — Кто я для него?»

О Венера, смягчи его сердце и обрати ко мне».

Эрос очнулся, поднял голову.

— Отчего плачешь, госпожа? — спросил он. — Разве Халидония обидела тебя?

— Нет, нет... Я боюсь господина, — простодушно ответила Атуя, — боюсь, как бы он не поступил со мной так же, как с Халидонией...

— Такова участь, госпожа, многих девушек.

— Ты одобряешь его?..

— Нет, но таковы римские и эллинские нравы. Теперь древнюю нравственность осмеивают и живут, следуя примеру богов...

— Богов? — вскричала она. — Ты шутишь, Эрос!

— Нет, госпожа, — сказал он, и горечь послышалась в его голосе. — Вспомни, как Юпитер изменял Юноне с Ледой, Данаей и иными девами, как Венера...

Атуя не слушала. Впервые она поняла подневольное положение женщины, бесправной и забитой, собственности мужчины, и ей стало страшно. Право было на стороне мужа, а жена, бесправное существо, должна покориться ему до самой смерти: так захотели боги и возвестили волю свою через жрецов.

Прислушалась к словам Эроса. А он говорил с грустью в голосе:

— «Зависимые люди независимы и наоборот», — утверждают софисты, и они правы: ты, госпожа, и я — мы зависимы от нашего господина, а Халидония — от меня. Мы зависимы в том, в чем зависимы...

Эрос замолчал: он поймал себя на том, что на мгновение забыл о своем горе и увлекся туманными рассуждениями софистов, но тут же забыл и об этом.

Тусклый рассвет просачивался сверху. Угольки на жертвеннике Гестии потускнели, и утренняя прохлада вползала в дом. Просыпались рабы — сначала послышался шепот, потом открылась дверь и ворвались голоса.

На пороге стояла старая рабыня и с удивлением щурила глаза на Эроса и Атую. Она приветствовала господ низким поклоном и хотела поцеловать у них руки, однако Эрос воспротивился.

— Буди госпожу, — повелел он.

Невольница подошла к двери спальни и хотела ее открыть, но дверь не поддавалась ее усилиям.

— Странно, — пробормотала старуха, — госпожа никогда не запиралась, и это первый раз...

Постучи, — приказал Эрос и подумал: «Делает назло, издевается. Видно, я мало ее бил».

Рабыня колотила кулаками в дверь, прося госпожу открыть. Халидония не откликнулась.

— Может быть, госпожа заболела и не может встать, — с беспокойством в голосе сказала невольница. — Что делать, господин мой?

— Кликни садовника.

Спустя несколько минут перед Эросом стоял грузный, бородатый раб, и хозяин приказывал ему взломать дверь.

Садовник уперся плечом в дверь, и она затрещала.

— Сильнее! — кричал Эрос, испытывая безотчетный страх.

Раб двинул плечом, и дверь сорвалась с петель, рухнула.

Эрос бросился вперед и тотчас же вернулся.

— Огня!

Он вбежал в спальню при свете факелов и — отшатнулся: в глубине, между статуй Приапа и Афродиты, висела Халидония — в одной тунике, с голыми ногами: лицо ее почернело, из раскрытого рта торчал длинный язык, точно она дразнила мужа.

— Удавилась! — крикнул Эрос и грохнулся на колени. — Прости.

Он стукнулся лбом о пол и лежал без движения, не видя, как снимали Халидонию. Очнулся от прикосновения женской руки.

— Встань, господин мой, сядь и подкрепись, — говорила Атуя, наливая ему вина. — Не горюй — такова воля богов...

— Удавилась, — зарыдал Эрос, — а я ее бил... бил, как собаку... Атуя, — шептал он, не замечая, что называет ее по имени, — я любил ее... клянусь богами...

Он не мог говорить и, уронив голову на руки, дрожал всем телом.

— Выпей, — услышал он голос Атуи, — согрейся и успокойся.

Он не стал пить и сидел в каком-то оцепении, не слушая, что говорила Атуя, отталкивая фиал, расплескивая вино.

Вопли плакальщиц оглашали уже дом, когда Эрос прошел во двор, где толпился народ.

— Обмыта и умащена, обол положен в рот, — шепнула старая рабыня, и он наклонил голову.

Покрытая белым саваном, Халидония покоилась на ложе, устланном подушками, с миртовым венком на голове. Пожилая женщина держала над ней зонтик, чтобы умершая не могла взглядом осквернить Гелиоса. Рядом стоял стол, на котором находилась посуда, мешочек с астрагалами, рукодельные принадлежности и иные предметы; их нужно было положить в гроб. А женщины, оплакивая Халидонию, жаловались на скорбную участь человека, унесенного Мойрами. Флейты тихо жаловались; три женщины причитали каждый раз при поторах, а четвертая била себя по лицу и царапала его.

— Царь, царь! — слышались голоса: входил Антоний в пурпурной одежде, с мечом на боку.

Он растерянно остановился, взглянул на умершую, затем на Эроса. Вольноотпущенник не тронулся с места, — только лицо его исказилось, губы задергались.

Антоний положил ему руку на плечо. Эрос грубо освободился от него и отступил с вызовом в глазах.

— Почему она умерла? — шепнул Антоний, взяв Эроса за руку.

Вольноотпущенник вырвал руку, оттолкнул господина. Антоний побледнел. Ужас изобразился на лицах присутствующих, — плакальщицы умолкли, флейты затихли. Нее ожидали, что царь выхватит меч и уложит на месте дерзкого слугу. Однако этого не случилось: Антоний молча прошел в простас.

У жертвенника Гестии сидела Атуя. Антоний сел рядом с нею и стал расспрашивать, что произошло в этом диме, Атуя рассказала, как было дело, и заплакала.

Антоий опустил голову. Он не заметил, как вошел Эрос, пал перед ним па колени и, припав лицом к его коленям.

Наконец он очнулся, и его тяжелая рука опустилась на голову вольноотпущенника. Он поднял Эроса и, поставив рядом с собой, прижал.

— Я любил ее, господин мой, шепнул Эрос, — я виновен перед нею. Как я искуплю грех свой, как я... Он не мог говорить — Он задыхался.

— И я любил ее, — услышал он слова Антония. — Возьми себя в руки, мужайся. Хоронить будем ее пышно. Денег не жалея — бери у меня, сколько нужно. Вызови старых жрецов подземных божеств, чтобы замаливали наши грехи.

Когда Эрос вышел, Антоний сказал Атуе:

— Оставаться тебе здесь нельзя. Отправишься со мной к женщине, которая позаботится о тебе.

На другой день Халидонию хоронили чуть свет, по греческому обычаю. Впереди шли флейтистки, за ними — друзья и вольноотпущенники Антония в черных и серых одеждах; дальше Эрос, Антоний и несколько друзей несли на носилках труп, а за ними выступали шестидесятилетние женщины, как предписывал закон Солона.

Узнав, что сам царь несет погребальные носилки, население Александрии приняло участие в похоронах. Толпы, высыпавшие на улицы, провожали умершую жену вольноотпущенника до самого кладбища, и Эрос подумал, оглядев народ, остановившийся у ограды: «Вся Александрия хоронит Халидонию, лучшую жену худшего мужа».

Потребность самоуничужения не покидала его во время погребального обряда; он готов был броситься на колени перед гробом и кричать на всю Александрию, на весь Египет, на весь мир о дурном обращении с женою, о грехе перед богами, и сказал господину, что желает произнести речь, но Антоний остановил его:

— Излить свою душу успеешь. Дома, у жертвенника Гестии, ты будешь беседовать со своей женой, когда египетские маги вызовут ее душу. Она скажет тебе, что любовь и смерть сопричастны... А речь произнесу я.

И, взяв Эроса под руку, направился с ним среди расступившегося народа к друзьям, стоявшим у кладбищенской ограды.

Х

Сложив с себя консулат, Октавиан отправился в Далматию.

Агриппа, оставшийся в Риме, ревностно принялся за исполнение обязанностей эдила. Он сдержал свое обещание и дал работу плебейам: тысячи людей мостили и расширяли улицы, отстраивали разрушенные здания, в большинстве общественные, очищали стоки, прокладывали и водопроводные трубы, исправляли обрушившийся кое-где водопровод *Aquae Marciae*, продолжали сооружать на Марсовом поле начатую Цезарем мраморную ограду, называемую *Septa Julia* и там же строили, на Козьем болоте, судаторий — лаконскую паровую баню, бесплатную для плебса.

Безработные стекались в Рим, число их увеличивалось, и Агриппа принужден был шире развернуть работы: началась постройка Пантеона, величественного храма, посвященного Марсу и Венере, божественным покровителям Юлиевой фамилии. Агриппа не жалел денег — постройка зданий, как и раздача беднякам хлеба, масла и соли, производилась за его счет; он платил цирюльникам и брадоброям за стрижку и бритье плебеев, считаясь с невероятной нищетой народа. И бедняки, восхваляя его доброту, недоверчиво относились к речам Лицинии, Понтия, Милихия и иных популяров, призывавших плебс к восстанию.

Агриппа проводил дни, а иногда и ночи (работы производились в две смены) на улицах: он осматривал здания, водопровод, мостовые, делал указания архитекторам,

рабочим, торопил отстающих, приказывал записывать имена наиболее старательных рабочих, чтобы выдать награды. Говорили, что он подражает Гаю Гракху, некогда лично наблюдавшему за работами в столице, и величали его «мудрым строителем» и «другом плебеев», хотя находились шутники, утверждавшие, что пышно украшенная глупость может прослыть мудростью, а искусно скрытая вражда — дружбою, и что за «мудростью» Агриппы скрывается жажда славы, и за «дружбой» — тонкая демагогия Октавиана, преподавшего своему другу начала новой науки — науки хитрости, обмана и коварства.

Весною Агриппа получил письмо от Цезаря. Сообщая, что мир с далматами заключен, Октавиан писал:

«Антоний стянул шестнадцать легионов в Армению, но внезапно выехал в Александрию. Меня беспокоит, не узнал ли он о моей речи в сенате и не готовит ли противодействие. Я не боюсь Антония, несмотря на его могущество, потому что чувствую себя окрепшим, даже сильнее его, благодаря плану действий, о котором сообщу тебе лично. Не хочу довериться даже таинственному письму, ²³ выработанному Тироном, так как опасуюсь хитрости врагов. Лучше не доверять, чем слепо доверять. Как твои дела? Мой вольноотпущенник, прибывший на днях из Рима, говорит, что столица похожа на вновь строящийся город. Если это так, если ты украсишь Рим и сделаешь его более приятным для глаз, а народ привлечешь на мою сторону, я отблагодарю тебя достойным образом. Сообщи, как здоровье Ливии, Октавии и твое? Неужели жена твоя продолжает хворать? Вероятно, прав был врач, нашедший у нее признаки вшивой болезни. Что может быть отвратительнее насекомых, покрывающих все тело? Говорят, этой болезнью страдал вождь рабов Эвн и великий Сулла. Относительно Эвна я не сомневаюсь, ведь он был рабом. Что же касается Суллы, то не верится. Не подумай, прошу тебя, что я сравниваю твою жену с невольником. Нет, нет, но она много общалась с рабами, ухаживала за больными и, конечно, заразилась от них. Как видишь, не всегда доброта приносит хорошие плоды. Утешься же и верь в мою дружбу и расположение: они заменят тебе домашние горести. Прощай».

Прочитав письмо на улице, недалеко от водопровода *Aquae Marciae*, Агриппа приказал гонцу зайти к нему на следующий день. Озабоченный тем, что глиняные трубы лопнули в нескольких местах и вода просачивалась, он спрашивал начальника работ по водопроводу, отчего могли лопнуть крепкие обожженные трубы, и грек-водопроводчик объяснял, что причин могло быть несколько: недоброкачественность труб, небрежность прокладки, влажность и состав почвы, тяжесть земляного покрова, и тут же, ткнув ногой трубу, сказал:

— Как видишь, господин мой, оболочка чересчур тонка, а диаметр мал. У нас, в Элладе, и в греческих колониях трубы значительно прочнее: оболочка втрое толще, а поперечное сечение больше почти в два раза.

— Будем изготавливать такие трубы, как ты укажешь. Принеси завтра чертеж, и мы закажем по твоему указанию.

Плебеи копали глубокие рвы для труб: над землей виднелись головы, заросшие затылки, потные лица. Выбрасываемая лопатами земля мягко ложилась у ног Агриппы.

— Надеюсь, — сказал он, обращаясь к греку, — работы будут производиться без

²³ Шифр.

меня так же, как если бы я здесь присутствовал. Достаточно ли у тебя людей? Требуй, сколько нужно.

— Когда будут изготовлены трубы по чертежу, я попрошу у тебя еще сорок или пятьдесят человек. А теперь обойдусь и с этими.

Улегшись в лектике, Агриппа приказал рабам нести себя к *cloaca maxima*,²⁴ принимавшему воды родников, стекавших с Капитолия и Палатина, и соединявшемуся с Тибром. Работы по расчистке были кончены, и Агриппа смотрел веселыми глазами на широкий водоем.

— Хорошо, — кивнул он начальнику работ, который принимал у нескольких запоздавших плебеев кирки и лопаты, и повелел лектикариям отправиться на Марсово поле.

Козье болото, где строился судаторий, было засыпано, и на месте его возвышалось каменное здание, облицованное снаружи и внутри мраморными плитами. Это была лаконская баня, и пар валил из открывавшихся дверей.

Начальник судатория, пожилой вольноотпущенник, доложил Агриппе, что постройка бани была закончена накануне, поздно вечером, и с утра он стал пускать народ.

Агриппа вошел в судаторий. В облаках пара он различил нагие фигуры мужчин и женщин (бани, по обычаю, были общие), услышал возгласы и смех. Он торопился поскорее выйти наружу. Но вольноотпущенник удержал его.

— Ты не видел еще, господин мой, цирюльни. Зайди, прошу тебя.

В квадратном помещении сидели плебеи, дожидаясь своей очереди. Цирюльники и брадобрее стригли и брили людей, беседуя о политике. Они не заметили вошедшего Агриппы, и тучный брадобрее говорил художнику, как палка, цирюльнику:

— Бьюсь об заклад, что сам Гнилозубый не мылся в таком судаторий! Что его домашняя лаватрина?

— А ты видел ее?

— Говорят, в ней он не часто бывает. А иметь лаватрину и не мыться...

— Зачем мыться, когда фессалийский мел легко уничтожает пот?..

— Пот, а не вшей...

— А ты думаешь, что Красногубый...

— Тише.

Цирюльник и брадобрее испуганно замолчали, увидев Агриппу. Но тот, притворившись, что не слышал их беседы, обратился к цирюльнику:

— Скажи, друг, почему ты собираешь такие очереди? Меньше бы болтал — больше бы работал.

— Прости, господин, я стараюсь, напрягаю все силы...

— А ты? — повернулся Агриппа к брадобрее.

— Ко мне, господин, очередь меньше, — сказал толстяк, — конечно, хорошо бы было, если бы людям не приходилось ждать. Прикажи прислать в помощь нам еще двух цирюльников и двух брадобреев, и очередь исчезнет, как дым от ветра. Видишь, как обовшивели люди от нужды и голода? Все бреются или стригутся, даже старики и женщины.

Опустив голову, Агриппа молча вышел.

«А у меня, — думал он, — богатейшие сицилийские виллы, тысячи рабов, слитки

²⁴ Главный водоем.

серебра и золота, драгоценные камни, статуи, картины. И дома в Риме, Неаполе, Капуе, Верроне. Я богат. А умрет Аттик — оставит мне свое состояние».

В этот же день он послал в судаторий цирюльников и брадобреев и повелел глашатаям объявить на площадях и перекрестках улиц, что беднякам дополнительно будут выданы масло и соль, а также тессеры в цирк, театр и амфитеатр.

XI

Общественные игры приходили в упадок, и Агриппа придал им былой блеск и пышность. Добиваясь популярности, он не жалел денег, и его имя было на устах плебеев.

Чуть свет у его дома толпились клиенты и слабосильные старики, не имевшие средств к существованию. Агриппа никому не отказывал в помощи. Он даже помышлял составить списки бедных стариков и старух, у которых не было родственников или родственников которых были настолько бедны, что не могли содержать стариков, и представить списки Октавиану; он хотел просить его, чтобы государство помогало пожизненно этим беднякам, за счет увеличения налога с состоятельных фамилий.

С Меценатом он виделся изредка: покровитель наук и искусств, занятый своими гекзаметрами, витал в облаках и рассеянно слушал Агриппу; он даже сочинял греческие стихи, подражая Сапфо и Анакреону, но избегал читать их даже близким друзьям из опасения, как бы они не уличили его в заимствованиях.

Прежняя неприязнь между Агриппой и Меценатом постепенно сглаживалась.

...Оба они сидели в беседке, окруженной миртами и лаврами. Агриппа гордился своим садом: он много истратил денег на редкостные цветы и плодовые деревья и держал двух садовников.

Взяв Мецената под руку, он пошел по дорожке, усыпанной нильским песком, искоса поглядывая по сторонам на цветы. За клумбами белели стволы яблонь и груш, покрытые известью, сливовые и оливковые деревья. А впереди, как близнецы, стояли кипарисы и платаны, неразлучные друзья на жизненном пути, дальше — вишневые деревья, орешник и у каменной ограды — виноградник. Хитроумные садовники пытались получить плоды с пальм, посаженных в роце пиний, поливая их попеременно водой и различными винами — начиная с молодого и кончая лучшими винами Эллады и Архипелага. Они уверяли Агриппу, что добьются вкусных пальмовых плодов с запахом вина и фиг, напоминающих вкусом виноград. Агриппа пожимал плечами, не доверяя садовникам, однако средств не жалел, давая возможность производить садовникам опыты. И оба грека, изощряясь, скрещивали яблони с грушевыми деревьями, сливовые — с вишневыми и оливковыми, доходя в своих дерзаниях нередко до абсурда. Однако были два-три случая, когда они добились успехов, но плоды оказались безвкусными, водянистыми.

Остановившись перед статуей Венеры, Агриппа сказал:

— Эту статую мне подарил Лепид, когда он был еще триумвир. Вспоминая о нем, я каждый раз испытываю грусть от непостоянства Цезаря. У каждого человека — свои недостатки; они есть у Лепида и Цезаря; их не лишены и мы. Впрочем, Лепид счастливее нас; он, верховный жрец, живет спокойно, ведет годовую запись о

сверхъестественных явлениях, касающихся нашей веры, назначает, в каких местностях и в какие дни должны производиться молебствия и жертвоприношения, ведает книгой древних религиозных обычаев и составляет запись коллегий жрецов. Тихая жизнь... Я завидую ему. Что нужно для человеческого счастья? Покой, любовь, вино и окорока.

— Окорока? — засмеялся Меценат. — Да ты шутишь, Марк Випсаний!..

— Знаменитые лепидовские окорока. Ты не едал их? Жаль, очень жаль. У него был свиной загон: одних свиней кормили жолудями, других — орехами, третьих — яблоками и грушами, четвертых сливами и виноградом, пятых — фигами etc.

— Чрезмерная расточительность!

— Но ты не представляешь себе, что это было за мясо! Я обедался этими окороками, пренебрегая морскими ежами, пелорийскими и пурпуровыми улитками, дроздами, курами, почками серны, цыплятами, свиными выменами, рыбами, утками, зайцами, жареной дичью и иными яствами. Умирать буду — и не забыть мне этих окороков!..

— Ты, я вижу, любитель поесть...

— А кто не любитель? Может быть, ты?.. Я помню, как ты объелся и опился не так уж давно...

— Ха-ха-ха! Это было на свадебном обеде Цезаря и Ливии...

Меценат, смеясь, уселся на скамейку.

— Клянусь Вакхом! Ты все помнишь, а я забываю, — сказал он, — гексаметры одолели меня. Но я готов на время пожертвовать ими и устроить великолепнейший пир, если ты больше, чем постройками... удивишь Рим на Мегалезиях... Меня не так занимают театральные представления, как цирковые состязания...

— Если так, то — клянусь Великой Матерью! — я ничем не стану удивлять Рим. Как, ты отказываешься от сценических представлений? Они должны быть для тебя закуской перед обедом — *promulsis* перед ристаниями. Если я не сумею тебя убедить, то убедит претор, ведающий этими играми...

— Ты меня уже убедил! — засмеялся Меценат. — Согласен на все...

И он ушел, напевая непристойную песню.

XII

В последний день Мегалезий происходили конные состязания.

С самого утра толпы народа двигались к *Circus maximus*,²⁵ находившемуся между Палатинским и Авентинским холмами.

Стоя у левой башни цирка, смежной с карцерами, или помещениями для колесниц, Понтий дожидался друга, с которым должен был ехать в первой паре. Он принадлежал к *factio russata*²⁶ и не впервые вступал в состязание с *factio albata*.²⁷ Так назывались состязающиеся по цвету своих туник.

²⁵ Величайший цирк

²⁶ Красные

²⁷ белые

Беседуя с друзьями, которые собирались принять участие в ристаниях, Понтий говорил:

— Мы, красные, должны победить белых. Жаль только, что нам не разрешают надеть фригийских шапок. Если белые наденут недозволенную одежду, вы увидите меня в шапке вольности.

Друзья посмеялись, приняв его слова за шутку. Подошел Милихий, и Понтий, взяв его под руку, направился с ним смотреть лошадей и колесницы.

С того дня, как Милихий встретился у Лицинии с Пон-тием и узнал, что тот принимает участие в состязаниях, жизнь его изменилась: он перестал продавать поску и занялся цирковыми упражнениями под руководством опытных нумидийских наездников, которые мчались на лошадях, пересаживаясь на скаку с одной на другую, быстро носились, стоя на одной ноге на спине лошади или лежа у нее под брюхом и удерживаясь одними ногами. Милихий был ловок и вскоре принял участие в состязаниях колесниц. Он даже отличился первого января на играх в честь консула Октавиана Цезаря, устроенных Агриппой на свой счет, и получил в награду пальмовую ветвь и немок.

Входя с Милихием в карцеры, Понтий говорил:

— На днях распространился слух, будто против нас выступит неизвестный муж с забралом. Белые радуются. Кто он — не знаю. Вероятно, опасный противник.

— Какой бы он ни был, а мы его одолеем, — беспечно ответил Милихий. — Крылатая Победа нам поможет.

Колесница стояла на видном месте: дышло ее кончалось орлиной головой. Четверка запряженных каппадокийских коней, называемая квадригой, была опоясана лентами; служители надевали на дышловых коней легкую сбрую. Эта квадрига принадлежала Понтию, он любил ее, холил и больше надеялся на ее быстроту и выносливость, чем па нумидийских коней и испанских жеребцов, восхваляемых друзьями. Он знал своих скакунов по именам, и они знали его, встречая всегда ржанием, поворачивая к нему головы.

Квадрига Милихия, состоявшая из гирпинских скакунов, тоже была запряжена в колесницу. Милихий внимательно осмотрел ее и, следуя примеру Понтия, потрогал колеса и смазал их.

— Пора одеваться, — сказал Понтий. — Перед выездом напоить лошадей.

Подведя Милихия к бочке, он указал на ведра.

— Вино? Ты хочешь поить коней вином?

— Тише! Я узнал, что неизвестный муж намерен сделать то же. Левого коня напои меньше, чем остальных. А бочку вина я привез ночью.

— Да они разобьют колесницу, клянусь Эпоной!

— Хладнокровие — залог победы. Оденемся же возницами.

Каждый надел на себя красную короткую тунику, охваченную в верхней части тела ремной сеткой, соединенной с вожжами, сунул за сетку нож, при помощи которого можно было бы освободиться от вожжей, перерезав ремни, если бы лошади понесли. Затем каждый надел кожаный шлем.

— Готовиться к выезду! — прокричал служитель, пробегая мимо карцеров.

Напоив коней вином, Понтий и Милихий выехали одновременно с белыми.

На золоченой колеснице стоял неизвестный муж: лицо его было скрыто за забралом, и Понтий, взглядываясь в него, вспоминал, где видел эти глаза, и не мог припомнить.

Красные и белые строились впереди карцеров, по правую сторону входа. Кони их ржали, вожжи были натянуты.

Толпы зрителей теснились по обеим сторонам цирка. Впереди, на возвышении под пурпурной тканью, защищавшей от знойного солнца, сидели сенаторы и всадники. Почти во всю длину цирка тянулось длинное возвышение — спина, на обоих концах которого находились по три меты в виде колонн. Пространство между спиной и метой было украшено маленькими храмами и статуями богов.

— Спокойствие, — сказал Понтий, надевая на голову, при восторженных криках плебса, фригийскую шапку.

— Промчатся семь раз вокруг спины не так уж трудно.

— Не хвались.

Начальник, восседавший на выступе ворот, над главным входом, бросил кусок белой ткани. Она медленно закачалась в воздухе и упала перед колесницами. Это было безмолвное приказание начинать ристания. Одновременно с этим на двух угловых башнях заиграла музыка.

Колесницы двинулись. Кони рвались вперед, глаза их были налиты кровью. Понтий кивнул Милихию. Оба отпустили вожжи и через несколько мгновений мчались уже впереди белых. Песок, вздымаемый копытами опьяненных скакунов, ударял в лица, быстро проносились колонны спины, возникая и исчезая. А крики толпы возбуждали возниц и коней. Мелькала надпись на последней колонне: «Поворачивай» и на двух других: «Быстро» и «Торопись». А кони мчались. Понтий успел заметить, что служителем, стоявшим возле карцеров, снято уже пять деревянных яиц из семи, следовательно красным оставалось объехать спину только два раза, тогда как белые не объехали ее еще и четырех раз.

Вдруг кони Милихия понесли, бросились в сторону. Ловко взметнув рукой, он разрезал ножом ремни и, освободившись от вожжей, ожидал, когда встревоженные животные успокоятся... Они уже замедляли бег, когда он увидел промчавшегося мимо него неизвестного мужа: понял, что проиграл, и, спрыгнув со стесненным сердцем с колесницы, отвел лошадей в сторону. Теперь вся надежда была на Понтия.

Понтий пролетел, шестое яйцо было снято, оставался один объезд, — колесница его, казалось, взлетела на воздух. Народ вопил, рукоплеская, не спуская глаз с левого коня, на обязанности которого было ловко свернуть возле меты и вывезти колесницу из самого опасного положения: малейшее неловкое движение коня, боязнь его или неуверенность грозили смертью вознице.

В это время белый возница, опередивший неизвестного мужа, свернул недостаточно ловко у меты, где возвышалась колонна с надписью «Поворачивай»: он ослабил вожжу левого коня и натянул вожжу правого — послышался треск, дикий крик, ржание. Лошади упали, колесница разлетелась вдребезги, белая туника возницы, отлетевшего в сторону, окрасилась кровью. Две лошади лежали, не шевелясь, две другие пытались подняться и падали с ржанием — ноги их были переломаны.

Неизвестный муж приближался со страшной быстротою. Он хотел объехать колесницу и лошадей, но на пути лежал обагренный кровью возница. Милихий подумал, что он проедет по телу раненого, чтобы догнать Понтия (так поступил бы любой возница), но, к изумлению его, неизвестный муж остановил коней на скаку. Спрыгнув с колесницы, он побежал к товарищу, не заботясь о победе.

Толпа неистовствовала: рукоплескала Понтию, подъезжавшему к белой линии, проведенной мелом на земле, кричала: «Слава победителю, слава!» и осыпала бранью

белых, в особенности неизвестного мужа, склонившегося над окровавленным телом возницы. Белые уже бежали с носилками.

Когда они приблизились к неизвестному мужу, тот сказал:

— Он еще дышит, позовите врача. Я буду участвовать в следующем состязании.

— Марк Випсаний, ты играешь головою...

— Молчи. Так надо. Я обещал белым, которые нас поддерживают, победу, и добьюсь ее — клянусь крылатыми Победами!..

— Воздержись, Марк Випсаний!.. Слышишь, как насмехается толпа?

— Презренные игроки, поставившие на белых свои деньги и проигравшие их!

Агриппа возвращался, оскорбляемый народом: в него бросали огрызками яблок и груш, сливовыми косточками. А музыка играла, и Понтий с венком на голове и пальмовой ветвью в руках возвращался победителем к красным, которые среди рукоплесканий шли ему навстречу с подарком: они несли подушечку, на которой сверкал золотой перстень со смарагдом; на перстне были вырезаны пальмовая ветвь и венок, а на смарагде — крылатая Победа.

Тронутый и удивленный таким вниманием, Понтий спросил:

— Почему такая честь сегодня? Ведь я не впервые побеждаю на ристалище.

— Радуйся, друг! — сказал Милихий. — Сегодня ты победил Агриппу, который поклялся нас победить.

— Агриппу?.. Эти глаза... Я не мог припомнить, где их видел... Я не знал, кто он...

Внезапно музыка умолкла. Представитель белых выступил вперед, и глашатай возвестил:

— Слушай, римский народ! Неизвестный муж вызывает победителя на второе состязание.

— А ты поехал бы со мною? — шепнул Понтий Милихию.

— Я готов.

Понтий объявил, что согласен состязаться с неизвестным мужем, только не во второй, а в третьей скачке, и удалился с Милихием в карцеры. Вслед за ними прошли друзья — красные.

Усевшись на корточки, они обсуждали, выдержат ли кони вторую такую гонку и не следовало ли бы заменить их горячими нумидийскими жеребцами, мало еще объезженными. Одни советовали ехать на прежних конях, другие — на африканских, а нашлись и такие, которые тревожились за жизнь Понтия. Милихий сказал:

— Нужно сперва осмотреть коней, накормить и, если они способны вынести второй такой же бег, немного напоить их.

Оказалось, что кони сильно возбуждены; они не стали есть пшеницы.

«Вино жжет им внутренности, — подумал Понтий. — Ехать на них опасно. А поить еще вином — значит готовиться к смерти».

Задумавшись, он смотрел на коней.

Милихий дотронулся до его плеча:

— Тебя спрашивает Лициния...

— Лициния? Веди ее сюда.

Беспокоясь о Понтий и Милихий, Лициния посоветовала им быть осторожнее.

— Если можешь, — добавила она, обращаясь к Понтию, — сделай так, чтобы победа осталась за красными. Это подбодрит плебс, и расположение его будет на нашей стороне. А так как против нас выступает Агриппа...

— Ты знаешь? — вскричал Понтий.

— Многие знают. Если он потерпит поражение, белые со стыдом удалятся с арены, и завтра мы будем говорить на конциях о демагогии «неизвестного мужа», — понял?

— Да помогут нам боги, — потрянул головою Понтий, — бери, Милихий, нумидийских жеребцов, а я поскачу на своих. Напои коней опять вином.

— Берегись, они не выдержат. Пробежать более пятидесяти двух стадиев без передышки да еще второй раз — не значит ли загнать коней?

— Дашь вина втрое меньше, чем мы давали, — не слушая, возразил Понтий. — Торопись. Видишь — скачка кончается?

Лициния выглянула из карцера.

— Радуйтесь! — воскликнула она. — Красные победили.

Заиграла музыка, и Понтий побежал к своей квадриге.

Радостные и возбужденные, Понтий и Милихий первые достигли со своими колесницами белой линии. Получив награды, они не пожелали больше участвовать в состязаниях и поторопились уйти. Видели удрученного Агриппу, которого окружали белые: он медленно шел к карцерам. Милихий не удержался и крикнул: «Агриппа!» Неизвестный муж даже не повернул головы. Цирк внезапно замолчал, и вдруг где-то в отдалении возникли отдельные голоса, к ним присоединились десятки, и вскоре цирк зашумел, точно налетела буря: «Агриппа, Агриппа!» Понтий и Милихий вышли на улицу, а крики неслись и неслись.

— Еще неизвестно, кто победит, — сказал Милихий. — Не забывай, что состязания будут продолжаться долго, — всего десять или двенадцать ристаний.

— Знаю, но я надеюсь на красных... Впрочем... не возвратится ли нам в карцеры? В случае неудач наших коллег мы сможем принять еще раз участие в состязаниях...

Милихий покачал головою.

— Твоя смелость близка к безрассудству, — говорил он, шагая рядом с Понтием, — у меня болят руки и ноги от напряжения...

— Ничего, отдохнем. Хочешь, зайдём в таберну «Зеленый попугай»? Выпьем по кружке вина, закусим жареным мясом, а потом вернемся в карцеры.

В таберне они пробыли недолго и возвратились в цирк, когда происходило восьмое ристание. Оказалось, что белые победили три раза и, хотя перевес был на стороне красных, восьмое ристание обещало им опять успех. И, действительно, выиграли они. Опечаленный, Понтий подошел к красным.

— Сколько раз должны выезжать колесницы?

— Назначено десять выездов.

— Эти два ристания должны нам дать победу. Агриппа участвует?

— Нет, он отправился домой.

Понтий прислушивался к веселому говору белых.

— Победить должны мы, — повторил он и спросил распорядителя, какие лучшие кони остались в карцерах.

— Вот эта запряжка, — указал тот на низкорослых каппадокийских скакунов, — одна из лучших. Кони не принимали еще участия в скачке, и, если хочешь...

— Хочу ли я?

Он подошел к жеребцам и хотел погладить их, но они шарахнулись от него.

— Пугливые, — покачал он головою, — тем более нужно напоить. Трезвые, они

понесут, а возбужденные, может быть, забудут о своем норове.

Мишихий решил участвовать тоже в ристаниях.

...Скачка была бешеная. Понтий и Мишихий мчались в клубах пыли и песка, вздымаемого жеребцами, и дважды прискакали первыми к белой линии.

Победа красных была полная. Друзья поздравляли Понтия и Мишихия, а плебс кричал: «Слава, слава!» и бросал им полевые цветы, травы и зеленые ветки. А когда они вышли на улицу, толпа, возвращавшаяся из цирка, понесла их по улицам с радостными криками.

XIII

Видя сдержанность римского общества по отношению к Антонию, который считался мужем влиятельным и могущественным, Октавиан решил нападать не на него, а на Клеопатру. Египетская царица, ненавистная римлянам, должна была стать средством для враждебных действий против старшего триумвира, и Цезарь, выступая на публичных собраниях, обвинял ее, называя волшебницей, опоившей Антония афродизиастическими напитками.

— Слышите, квириды, что она сделала? — говорил Октавиан притворно-грустным голосом. — Она разлучила мужа с женой, а разве Октавия была дурной супругою? Египтянка заставила Антония отказаться от Октавии, объявить себя законной женой, а побочных детей, прижитых с Антонием, наделить римскими землями. И я спрашиваю вас, квириды, законны ли поступки Антония, действовавшего под влиянием египтянки? Я могу упрекать Антония во многих ошибках и незаконных действиях, но обвиняю Клеопатру, врага сената и римского народа. Она хочет завоевать весь Рим — Италию и провинции — и царствовать над вами, квириды, потомки Ромула!

Такие же речи распространялись во всех городах Италии.

Октавиан льстил популярам и старался привлечь на свою сторону римское общество. Больше всех друзей ему помогали Аттик и Агриппа: первый — деньгами, которые шли на подкуп плебса, второй — возведением в Риме построек, народными увеселениями.

Наступали *Ludi Romani*,²⁸ и Агриппа не пожалел денег, чтобы пышно отпраздновать их.

Лициния, Понтий и Мишихий во главе популяров участвовали в шествии, которое тянулось от Капитолия через Форум, людные улицы и площади к Величайшему цирку. Впереди шли пешком и ехали верхами юноши, в зависимости от общественного положения их отцов, за ними двигались колесницы: на первой находились Понтий и Лициния, на второй — Мишихий, а дальше — красные, участники состязаний. За колесницами шли атлеты и плясуны разных возрастов, в гривастых шлемах, в красных туниках и коричневых поясах, вооруженные мечами и копьями. За ними бежали вприпрыжку плясуны, одетые силенами и сатирами, с кривляниями, возбуждавшими смех у зрителей. А впереди шли флейтисты и музыканты, игравшие на струнных инструментах. Шествие замыкали жрецы с золотыми и серебряными кадилами; за

²⁸ Римские игры

ними несли на носилках изображения богов, а дальше — статуи Юлия Цезаря, Октавиана и Ливии.

Толпы народа наводняли улицы, провожая шествие криками и рукоплесканиями.

Появился Агриппа верхом на коне. За ним ехала повозка с трубачами и людьми в серебряных туниках.

Народ затих.

— Подарки, написанные на тессерах, можно получить завтра на форуме! — прокричал глашатай, и вслед за этим люди в серебряных туниках принялись бросать в толпу тессеры.

Началась свалка. С обезумевшими глазами, с дикой жадностью люди ловили тессеры, боролись за них, дрались. Одни ползали в пыли, другие спотыкались, падали. Взметнулись крики придавленных и упавших, которых топтал народ.

Агриппа взмахнул рукой, и тессеры перестали падать в толпу.

Загремела музыка.

Лициния говорила Понтию:

— Посмотри, что делается. Народ одичал. Эти подарки, конечно, от Цезаря, который очень изменился: его доброта и угодливость по отношению к народу пугают меня. Я не верю тирану и демагогу...

— Может быть, он не так плох, как о нем говорят...

— Понтий! Ты ли это говоришь? Муж, запятнавший себя убийствами лучших людей...

— Знаю. Но что бы ты сказала, если бы он действительно изменился, стал лучше, чем был?

Покачав головой, Лициния стала говорить о хитрости Октавиана: он что-то готовит, хочет заручиться поддержкой плебса, и доверять тирану нельзя. Он не спроста заискивает перед народом.

В это время шествие вступало в цирк: крики и рукоплескания народа, сидевшего на местах вдоль арены, усиливались, и беседовать было невозможно.

Шествие направлялось к последней мете. Крики и рукоплескания не утихали. Наконец участвующие заняли свои места, а колесницы направились к карцерам.

Наступила тишина. На боковых башнях у входа заиграла музыка. Начинались ристания.

Лициния смотрела на состязания, думая об Октавиане. Он покровительствовал красным, заботился о лучших лошадях для них, приказав приобрести в Африке и Каппадокии самых выносливых и необъезженных, поручил заботу о них первым объездчикам и осведомлялся каждый день, когда, наконец, кони будут годны для ристаний. Даже Агриппа, сторонник белых, заходил в карцеры и беседовал с красными, явно выражая им свое расположение.

«Демагоги, — думала Лициния, — Октавиан думает перехитрить нас, отвлечь от политики, склонить на свою сторону. Его речи против Клеопатры — начало борьбы с Антонием. Поймет ли плебс, что это так?»

Понтий и Мишихий вышли победителями: первый получил золотой, а второй — серебряный кубок.

Состязания кончились. Народу было приказано не расходиться. Служители вносили столы с подарками и ставили их на арене, вокруг спины, а у каждой меты — треножки с вазами, наполненными монетами; стоило только тронуть вазу, как она рассыпалась и деньги падали на песок.

— Квириты! — возгласили глашатаи один за другим в разных концах обширного цирка. — Эти подарки всемиловейший Цезарь Октавиан повелел отдать римскому народу в знак любви и расположения к нему!

Толпа безмолвствовала, не спуская глаз со столов, уставленных кубками, предметами домашнего обихода, статуэтками, картинами и различной посудой. На каждом столе красовалось по одному золотому или серебряному кубку, и глаза всех были устремлены на них.

— Слава Цезарю! — крикнул кто-то, но голос потонул в грохоте и шуме.

Народ ринулся на арену.

Первыми добежали к столам плечистые бородатые ремесленники. Овладев золотыми и серебряными кубками, они бросились к вазам.

Дождь медных и серебряных монет привел народ в исступление. На земле, в тучах вздымаемого песка, шла дикая борьба за каждый асе, за каждый сестерций. Слышались жадные приглушенные крики:

— Отдай сестерций! Он мой!

— Нет, мой!

— Получай, злодей!

Люди дрались кулаками, выбивали друг другу зубы, сворачивали челюсти. Из рассеченных губ и носов лилась кровь. Иные дрались ногами, отбрасывая противников от места, где лежали монеты. Женщины, позабыв стыд, не уступали мужчинам: полуобнаженные, простоволосые, в разорванных одеждах, они катались в песке, визжа, проклиная друг дружку, оскорбляя непристойными словами. Бородатые ремесленники яростно боролись за свои кубки. Они первые захватили их, но нашлись люди более сильные, и зависть пробудила в них желание отнять золото и серебро у счастливых.

Борьба переходила в смертельную битву. Два человека катались, воя и визжа, по арене, забыв о кубке, лежавшем в стороне. Пока они боролись, подкралась девушка и, схватив кубок, поспешно скрылась за колонною. Наконец бородатый ремесленник, убив своего противника, бросился к месту, где был оставлен кубок. Не найдя его, он помчался по арене в поисках вора. Наткнувшись на людей, оспаривавших горсть денег, он оглушил одного ударом кулака, а другого сбил с ног, отняв у него деньги.

Старуха и девушка оспаривали золотой перстень: старуха вцепилась девушке в волосы, требуя отдать перстень, а та пыталась ухватить ее за ногу. Наконец, обе упали на песок. Девушка очутилась верхом на старухе и била ее по щекам, царапала лицо, а старуха щипала ее и наносила удары в бока.

По-разному выражали свои мысли нобили и популяры, глядя на борьбу за подарки.

Октавиан, Агриппа и Меценат, стоя над входными воротами цирка, любовались дракой. Агриппа, не переставая, повторял:

— Смотри, Цезарь, на этих женщин: они утратили всякий стыд, — видишь тела? А эти люди? Взгляни, один впился другому зубами в горло!..

Октавиан молчал. Потом презрительно скривил губы:

— Разве это римляне? Нет, не римляне. Это варвары, наши слуги, рабы, животные. Я ненавижу их.

— Прикажешь бросить этим нищим горсть динариев? — спросил Меценат, подзывая движением руки раба с кожаным мешком.

— Брось, — сказал Октавиан. — Как жаль, что на динариях нет отравленных

зазубрин! Женщины издохли бы, не дойдя до своих берлог.

А внизу продолжалась драка. Октавиан отвернулся и направился вниз по лестнице.

...Лициния, Понтий и Милихий, стоя у карцеров, порицали действия Цезаря.

— Он это нарочно придумал, — говорила Лициния. — Жажда крови толкнула скупого ростовщика на расходы. Палачи, как пауки, любят кровь.

— Люди душат друг друга! — воскликнул Милихий. — Можно ли допускать, чтобы римляне уподобились варварам? Пойдем разнимем их!

— Увы, друг! — покачал головою Понтий. — Твои добрые намерения будут поняты превратно. Эти люди подумают, что мы посягаем на подарки Цезаря.

Борьба женщин за динарии, посыпавшиеся сверху, испугала Лицинию, — полилась кровь...

— Понтий, кликни красных. Пусть они разнимут этих бедных женщин!

Она понимала, что причиною драки была страшная нищета народа. Борьба за существование доводила людей до безумия: прожить бы хоть один день, а завтра покажет, что делать, — украсть, ограбить, продаться любителю тела, лишь бы выручить асе или сестерций, лишь бы не умереть с голоду.

Не означала ли эта нищета падения нравов, конца республики? Народ был бессилён остановить разложение общества, сам подпадал под влияние развращенных верхов, соприкасаясь с ними в обыденной жизни, и тлетворный дух заразы охватывал людей всех возрастов. Смерть в боях с варварами, смерть на гражданской войне, убийства из-за угла, казни — все это пахло кровью. Стоило ли жить, видя страшный распад, обнищавшие семьи, проституцию женщин, девушек и детей? Ничтожностью стало все — брак, семья, любовь, родственные чувства. Жить было страшно в хаосе обрушивавшегося здания республики; кое-где стены и потолок еще держались, но стены уже обваливались и дрожали при малейшем сотрясении, готовые каждое мгновение рухнуть, а потолок, покрытый многочисленными щелями, нередко зиял большими пробоинами. И некий муж ходил по крыше здания, неистовствуя и глумясь над обитателями, и вопил об охлократии и справедливости. Стоило только выбежать людям из здания и сбросить злодея с крыши, — тогда республика, может быть, устояла бы. Устояла ли бы? Нет, рухнула бы несколько позже.

Так думала Лициния, ожидая красных. Они вскоре возвратились. Впереди шел Понтий, что-то говоря подбежавшему к нему Милихию.

Она прислушалась.

— Народ удалился: кто добровольно, а кого пришлось разогнать. Ранено несколько плебеев и плебеянок, трое убито.

— Демагог захотел крови, — сказала Лициния. — Да будет проклят он со своими благодеяниями.

XIV

Эмиссары Клеопатры сообщали ей из Рима о происках Октавиана против лиц, стремящихся к возрождению египетского царства.

Понимая, что война неизбежна, Антоний рассчитывал начать борьбу как защитник свобод, попраных тираном. Убедив консулов семьсот двадцать первого

года от основания Рима, которые были его друзьями, что он желает уничтожить триумvirат и восстановить республиканские законы, Антоний предложил им назначить в следующем году преемника Октавиану в начальствовании над легионами, когда тот оставит Рим в должности проконсула. Одновременно он приказал Клеопатре готовить военное снаряжение, машины и деньги.

Едучи в Эфес, Антоний получал в дороге письма от царицы. Она писала, что деятельно собирает хлеб, одежды и все необходимое для войны. Наконец, Клеопатра отплыла из Египта, взяв из сокровищницы Лагидов двадцать тысяч талантов. Она решила помогать Антонию в борьбе против Октавиана, посягнувшего на египетское царство, и не допустить соглашения дуумвиров за счет независимости Египта.

Клеопатра ехала навстречу Антонию, стягивавшему свои корабли к Эфесу.

Лазурное море потемнело — был конец года. Вдали белели, как бы вздымаясь из волн; мраморные храмы Эфеса. Глядя на многочисленные суда, подплывавшие к пристани, царица слушала шутливые речи моряков о разгневанном боге морей Посейдоне, нахмурившем брови, и говорила Ирас и Хармион, которые стояли рядом с нею:

— Цезарь выехал из Рима — срок триумvirата кончился, римская республика восстановлена. Первого января консулы огласят заявление Антония о возвращении его к частной жизни и отрешат Октавиана от начальствования над легионами. Я уверена, что Цезарь прибегнет к насилию...

— Не волнуйся, госпожа и царица, — прервала ее Ирас, — не может быть, чтобы трус осмелился...

— Не трус совершит насилие, а Агриппа... Если Октавиан захватит власть, трудно нам будет бороться с ним...

— Ты хочешь сказать, — вмешалась Хармион, — что весь Рим станет на сторону Цезаря? Но ты забываешь, что консулы — наши друзья, и пока существует восстановленная республика, немыслимы враждебные действия против нас...

— Посмотрим, — с сомнением в голосе молвила Клеопатра, приказав готовиться к высадке.

Берег Азии приближался. Пристань, усеянная толпами народа, оживленно шумела. Накануне прибыли войска союзных восточных царьков, династов и тетрархов Азии и Африки, вытребованные Антонием, и город был наполнен разноплеменными воинами: здесь были храбрые мавры, прибывшие с царем Бокхом, ловкие низкорослые киликийцы — с династом Таркондиматом, суровые каппадокийцы — с царем Архелаем, свирепые пафлагонцы — с царем Филадельфом и комагенцы — с Митридатом, добродушные высокорослые фракийцы — с царями Садаласом и Ремиталпом, мрачные галаты — с царем Аминтой. По узким улицам проплывали над толпами лектики с гетерами, кифаридами, певицами, плясуньями и мимами. Мелькали прекрасные лица женщин и девушек, слышались их шутки, нередко двусмысленные, хохот юношей и мужей...

Клеопатра продолжала путь среди этого шума и суеты ко дворцу Антония.

Она застала проконсула в простасе. Окруженный римскими друзьями, он казался взволнованным и, держа в руке таблички, что-то говорил, когда в простас входила царица.

После приветствий и взаимных любезностей Антоний сказал Клеопатре, бросив письмо на стол:

— Октавиан совершил государственный переворот. Общество взволновано,

консулы бежали из Рима. Он позволил всем желающим покинуть его. У меня есть сведения, что к нам едут четыреста сенаторов.

— Следовательно, республика вновь не существует, — засмеялась царица, — и тиран опять у власти.

Антоний оглядел исподлобья друзей.

— Мой долг — выступить на защиту республики, — заговорил он. — Если бы Октавиан согласился удалиться к частной жизни, я поступил бы так же. Однако он не думает об этом, если допустил насилие над республикой.

— И все же, — вмешался Публий Канидий, — Октавиан, захвативший власть, безвластен. Он растерян, не может применять строгости к лицам, нарушающим законы (если только законы существуют при тирании), общество ему не доверяет...

— Все это так, — перебила Клеопатра, — но поскольку Октавиан в Риме и республика не существует...

— Пусть не существует! Октавиан не имеет права начальствовать над легионами, а ты, друг, — повернулся Канидий к Антонию, — законно стоишь во главе войск, имеешь средства, и многие легионарии, находящиеся в Италии, переходят на твою сторону... Сила на твоей стороне.

— Что же ты посоветуешь? — спросил Антоний.

— Будь я на твоём месте, я завтра же напал бы на Италию. Высадившись в Остии, я пошел бы на Рим, объявив Октавиана врагом республики.

Клеопатра, сидевшая в стороне, вскочила.

— Нет, нет! — вскричала она. — Мы еще не готовы, и начинать войну безрассудно. Дождемся, когда враг, находясь в окружении недовольного народа, выдохнется, а мы в это время усилимся.

— Как бы не случилось обратное, — возразил Публий Канидий, а когда Клеопатре прикрикнула на него, резко добавил: — Не женское дело вмешиваться в стратегические соображения полководцев.

— Клянусь Озирисом, он оскорбляет царицу! — с гневом воскликнула Клеопатра. — Разве я, давшая средства на ведение войны, не имею права участвовать в военных совещаниях и высказывать свои соображения? Скажи, проконсул, так ли я говорю? Я полагаюсь всецело на твою справедливость.

Она встала и с оскорбленным видом направилась из простаса в сад, окруженная толпой нарядных юношей, девушек и евнухов.

XV

Если Публий Канидий желал начать войну внезапным нападением на Италию, то римские друзья Антония думали о примирении Антония с Октавианом и возвращении его в Рим. Полный разрыв проконсула с Клеопатрой способствовал бы, по их мнению, благоденствию государства; народ не стал бы резко выступать против дуумвиров, если бы они управляли Римом.

Клеопатра и ее сторонники тоже требовали войны, но не немедленной, боясь примирения дуумвиров и опасаясь, что Антоний вернется к Октавии; а для того, чтобы начать войну, нужна была причина, и царица потребовала у Антония развестись с Октавией, предполагая, что Цезарь не стерпит оскорбления и выступит против

Египта. А война с Египтом — это война с Антонием: царь Египта и римский проконсул станет на сторону Клеопатры, чтобы защитить жену и детей, а также и римскую республику от тирании Октавиана.

Когда прибыли бежавшие из Рима консулы, сторонники Антония требовали, чтобы Антоний отправил Клеопатру в Египет; они говорили, что присутствие ее и денежная и иная помощь опровергают утверждения проконсула, будто бы он ведет войну за республику. Они избегали величать Клеопатру царицей и обращались к ней по имени, в особенности легат Антония, гордый аристократ Домиций Агенобарб, которого поддерживали Планк, Титий и другие. Один Публий Канидий колебался. Тогда царица подкупила его, чтобы иметь сторонника среди римлян.

Вражда римлян с египтянами усиливалась. Канидий доказывал, что присутствие царицы необходимо хотя бы уже потому, что она не пожалела огромных средств ради любви к Антонию и расположения к римскому народу. Даже Антоний удивился наглости друга.

— Какая причина заставляет тебя поддерживать царицу? — спросил он.

— Поверь, друг, что только одна справедливость говорит моими устами, — не смущаясь, ответил Канидий. — То же сказал бы я даже в том случае, если бы Юпитер приказал мне молчать. Я советую тебе развестись с Октавией и говорю: напади на Италию...

Покачав головой, Антоний не стал больше слушать. Зная, что римляне против развода, он хотел поставить этот вопрос на обсуждение четырехсот сенаторов, бежавших из Рима.

Антоний колебался между войной и миром, между Клеопатрой и Октавией. беседуя вечером с Эросом, он спросил его:

— Друг ли ты или враг мне? Если друг, то скажи откровенно, что я должен делать: воевать или заключить мир?

Услыхав, что основной причиной войны будет развод с Октавией, Эрос сказал с сожалением:

— Помиришь, господин мой, с Цезарем, брось египтянку, возвратись к жене-римлянке. Царица опаивает тебя афродиазистическими напитками, хочет отнять у тебя разум, чтобы самой управлять Египтом. О, боги! спасите моего господина от чародейки! Беги, господин, скорее в Рим! Страна Кем приносит чужеземцам горе: здесь я потерял Халидонию и боюсь за Атуя, которую настигнет рука Клеопатры...

— Что тебе в Атуе? — нахмурившись, спросил Антоний. — Она моя возлюбленная.

Эрос смело взглянул ему в глаза.

— Знаю. Но ты, господин, мало о ней заботишься... Антоний, хмурясь, ходил взад и вперед у жертвенника Гестии. Остановившись, он спросил, родила ли Атуя, и Эрос рассказал обстоятельно, что роды были легкие, младенец оказался мужского пола и назван Александром, Антоний больше не спрашивал. А Эрос продолжал дрожащим голосом:

— Земля Кем враждебна чужеземцам. Я боюсь за Атуя и младенца: руки Клеопатры длинны. Боюсь и за тебя, господин мой, египтянка не любит тебя: ты орудие в ее руках. А за себя не боюсь, потому что я обречен: если ты погибнешь, умру и я...

Взволнованный, Антоний обнял верного вольноотпущенника. Великодушные проснулось в нем, и он искренно говорил, сжимая руки Эроса:

— Отвези ее, куда хочешь, но лучше всего в Кампанию или Сицилию. Пусть она живет счастливо и мирно, воспитывая ребенка и вспоминая иногда меня. Я люблю Атую, но мне не до нее: политика не дает спокойно жить, дышать полной грудью. Разве не видишь, что делается в Египте и во всем мире? Назревает война... Отвези Атую в Италию. Завтра она получит в собственность лучшую виллу в Кампании, а после завтра можешь с ней выехать.

— Господин мой, ты добр! — сказал Эрос — Не увидишься ли ты с нею?.. Завтра? Хорошо. А после завтра я отвезу Атую и Александра в Кампанию. Подумай, не лучше ли было бы помириться тебе с Цезарем и возвратиться в Италию?..

Антоний сжал руками голову, глаза его затуманились.

— Поздно, Эрос, поздно... Я думал об этом. Ты говоришь, что я люблю египтянку? Не ее люблю я, не ее душу, а тело; я прикован к нему невидимыми оковами, и нет силы в мире, чтобы разорвать их, нет заклятия, которое бы стряхнуло их, ибо такое тело, Эрос, появляется однажды в тысячелетие — клянусь Пта, могущественным создателем мира!

Эрос с суеверным страхом отодвинулся от Антония.

— Ты, господин, стал восточным царем — даже клянешься египетскими богами! Неужели ты забыл эллиноримских богов?

Антоний не слушал его. Он встал, положил руку на плечо Эроса.

— Завтра я вручу Атуе дарственный акт на кампанскую виллу. Ступай. Ты мне сегодня больше не нужен.

XVI

Опасаясь, что друзья покинут его и перейдут на сторону Антония, Октавиан притворился ягненком. Его кротость, любезность, обходительность и доброта поражали Агриппу, Мецената, Валерия Мессалу Корвина, Статилия Тавра, Люция Аррунтия и других.

Он принимал их с несколько униженным видом, говорил подобострастно, и Агриппа, давно не доверявший его искренности, был убежден, что за этим притворством таится какая-то цель, но какая — не мог разгадать. Впрочем, в эти дни Агриппа мало думал об Октавиане. Удрученный внезапной смертью Аттика, он совещался с Тироном, предлагая ему взять на себя книжное дело.

Однажды Октавиан беседовал с самыми близкими друзьями о тяжелом положении республики. Политическая обстановка была зловеща, будущее рисовалось в самых мрачных красках. На совещании часы проходили за часами в томительном молчании. Октавиан нетерпеливо грыз ногти — привычка, от которой не мог освободиться долгие годы.

В атриуме была тишина, нарушаемая бульканьем воды в клепсидре и шорохом шагов Октавиана, который ходил взад и вперед, изредка останавливаясь и поглядывая на опущенные головы друзей. Вдруг одна голова повернулась к нему, и улыбающееся лицо Агриппы ободряюще глянуло на него.

Октавиан бросился к другу:

— Придумал что-нибудь?

Агриппа встал, склоненные головы поднялись, и несколько пар глаз с

любопытством уставились на него.

— Друзья, — начал Агриппа, — моя заслуга невелика. У нас существует древний обычай, о котором все мы забыли. Но боги вразумили меня, и я вспомнил о нем. Слушайте. Высший магистрат может потребовать от населения, во время опасности, угрожающей республике, присяги, подчиняющей граждан военной дисциплине. Такая присяга заставит квиритов соблюдать верность магистрату, и народ, давший присягу, как бы сам объявит военное положение в Италии.

— Иными словами, — прервал Валерий Мессала Корвин, — народ сам установит военную диктатуру.

— Об этом я и говорю, — согласился Агриппа. — Поэтому, Цезарь, необходимо, чтобы ты побудил сенат поручить тебе заботу о безопасности республики. А затем мы разошлем по всем городам Италии верных людей, которые убедят население дать тебе присягу, когда ты ее потребуешь...

— Понимаю, ты не хочешь утратить граждан...

— Я не хочу, Цезарь, отпугнуть их от нас. Когда будет дано обещание, квирит не посмеет отказаться, и вся Италия станет на нашу сторону...

Октавиан обнял и поцеловал Агриппу.

— Пусть боги воздадут тебе за это, — взволнованно говорил он. — Я перед тобой должник, Марк Випеаний, должник с самого детства, все обещаю расплатиться и не держу слова. Но — клянусь Юпитером! — должны же наконец наступить лучшие времена! Ты подождешь, Марк?

Агриппа засмеялся.

— Не беспокойся, Цезарь, о таких пустяках. Более важные заботы тяготеют на тебе, дух божественного Юлия сопутствует своему сыну в его начинаниях, и первое, что должно тебя тревожить, это благо отечества и квиритов.

— Ты прав! — воскликнул Октавиан.

Лишь только опустел атриум, вошла Октавия. Ливия, присутствовавшая на совещании, сказала ей:

— Милая Октавия! То, что придумал сейчас Агриппа, сильно беспокоит меня. Это начало новой гражданской войны.

— Боюсь, что присяга населения окажется вынужденной, — вздохнула Октавия. — Скажи, что ты думаешь о предотвращении этого акта?

— Увы, мы бессильны, милая Октавия! Сенат, конечно, согласится с мнением Гая и его друзей.

— Все эти действия направлены против Антония, — говорила Октавия, покачивая головой. — Я люблю его и желаю ему добра, несмотря на преступную связь его с египтянкой. Что? Ты одобряешь нападки на Клеопатру? Разве ты не понимаешь, что прямые нападки на нее не что иное, как косвенные нападки на Антония?

Стоя перед серебряным зеркалом, вделанным в стену, Ливия втыкала в волосы шпильки с изображением орла, борова и иных животных.

— Знаю, — сказала она, — но не забывай, что народ настроен против египтянки. Стоит только Гаю объявить войну Клеопатре, как вся Италия станет на его сторону.

Октавия с грустью смотрела на Ливию: она надеялась на ее поддержку, а жена Октавиана и не думала идти против мужа. И зачем Ливии было начинать какое-то противодействие? Клеопатру она ненавидела как царицу, красавицу и владелицу сокровищницы Лагидов; Антоний был далеко, не любил ее (некогда она надеялась на его внимание), предпочел ей чужеземку (об Октавии она не думала, считая ее ниже

себя по уму, красоте и образованию) и стал царем Египта. Следовательно, эти лица для нее не существовали. Оставался Октавиан. Но она не любила и его и подчинялась ему так же, как нелюбимому Клавдию Тиберию Нерону. Впрочем, она никого не любила, была завистлива и ревнива, а к мужьям — первому и второму — ласкалась с притворством распущенной женщины, потому что сожительство с ними было выгодно.

Октавия подружилась с ней до ее брака. Угадывая дурные стороны ее характера, она не предупредила брата о ее недостатках. Разве Октавиан был лучше Ливии? Однако девушек и матрон, более добродетельных, почти не было, и Ливия выделялась среди них: она, по крайней мере, не изменяла Октавиану и была всецело занята сплетнями о неверных женах и податливых на любовь девушках.

— Я надеялась, — откровенно сказала Октавия, — что ты отговоришь Гая от войны и посоветуешь ему помириться с Марком.

— Марк Антоний не вернется в Рим, — возразила Ливия с насмешкой в голосе. — Он стал восточным царем, окружен евнухами, девами и юношами, а Клеопатра сделала его безвольным. Сравни теперешнего Антония с победителем при Филиппах! Это небо и земля. Так зачем же нам шадить двух человек — римлянина и египтянку, — которые мешают спокойно жить народам Востока и Запада? Ради их красоты? Бесспорно, Антоний величественен, как царь, а Клеопатра прекрасна, как Афродита, но это еще не значит, что двое могут жить за счет счастья племен и народов.

— Ты, действительно, убеждена в этом, милая Ливия?

— Конечно.

— А ведь Гай и ты — разве вы не помышляете о том же?

Ливия помолчала. Потом сказала с нескрываемым раздражением:

— Мы — римляне, и сами боги позаботились о нас: мы должны быть властелинами мира.

Нахмурившись, Октавия направилась к двери:

— Ты повторяешь слова Гая. Я не думала, что у тебя нет своего мнения.

XVII

В течение нескольких месяцев сторонники Цезаря объезжали италийские города и виллы, принуждая народ присягнуть Октавиану, когда он этого потребует: они угрожали ремесленникам, деревенским плебеям, магистратам, декурионам муниципий наказаниями за измену, утверждая, что Октавиан борется за свободу и республику. А когда им возражали, что Антоний раньше объявил о желании защитить свободы и восстановить республику после уничтожения ее Октавианом («Зачем Цезарь попрал свободы и заставил бежать консулов?»), они утверждали с наглостью, достойной их господина:

— Цезарь не мог доверять консулам, которые оказались друзьями Антония. Кажущееся свободолюбие Антония — обман: разве Антоний, царь Египта, может стоять за республику?

Литиния возбуждала народ на конциях против Октавиана, Она обвиняла Цезаря в стремлении к единовластию, доказывая, что присяга, требуемая Октавианом, — хитрая

уловка демагога, стремящегося заручиться поддержкой Италии — той Италии, которая ненавидит его как жестокосердного мужа, безумного тирана. Ее речи приводили народ в ярость. Толпа готова была разгромить дом Цезаря и перебить его друзей, однако мысль о телохранителях Октавиана охлаждала пыл возмущенного плебса, чужестранцев и рабов.

Понтий и Милихий разъезжали по муниципиям, убеждая народ не верить демагогии Цезаря. Они произносили горячие речи против Октавиана и Антония.

Угроза войны висела в воздухе, столкновение бывших триумвиров казалось неминуемым.

Волнения усилились, когда Антоний прислал Октавиану из Афин разводное письмо, подписанное самим проконсулом, и решение четырехсот сенаторов, именуемых римским сенатом, рассмотревших вопрос о разводе Антония с Октавией. Одновременно гонец привез письмо от Антония, который приказывал Октавии покинуть его дом.

События следовали одно за другим: прибыли из Эфеса соглядатаи с известием об отплытии кораблей с войсками к берегам Греции, а затем приехали Планк и Титий. Оба военачальника удивлялись, как мог Антоний совместить защиту италийской свободы и республики с подготовкой к войне фавды Клеопатры, опасавшейся за целостность и независимость Египта.

Планк и Титий сообщили Октавиану о намерениях Антония и советовали собирать войска, запастись съестными припасами и снаряжать корабли. Оба утверждали, что война начнется в северной Греции, куда Антоний стягивает свои суда.

Октавиан был испуган. Приказывая друзьям возбуждать народ против Антония и Клеопатры и распространять слухи о поведении египтянки, которая, находясь в Эфесе, позволяет величать себя царицей Азии, он сказал:

— Кричите на улицах и перекрестках городов, что Клеопатра считает себя царицей римской провинции. Взывайте к чувствам народа, играйте на патриотизме квиритов!

Одновременно он повелел подготовить общество к присяге. Ежедневно друзья сообщали ему о настроениях парода: плебс колебался, не зная, кому верить; на конциях происходили яростные споры, кончавшиеся нередко драками; Октавиана не любили и не верили ему; Антония считали оклеветанным. Л друзья Антония разжигали ненависть к Цезарю как тирану и обвиняли его в подлостях.

— Два друга, которым доверял проконсул Марк Антоний и которых он любил, подло изменили ему, продавшись Цезарю, — кричал Эрос, возвращавшийся из Кампании и остановившийся ненадолго в Риме, — это Планк и Титий. Помните, квириты, мерзкого пса Тития, предательски умертвившего друга плебеев и рабов Секста Помпея? Этот Титий осмеливается порочить доброе имя Антония и возбуждать против него Цезаря. Проляйте злодею!

— Убить его! — слышались в толпе голоса. — Где он?

Толпа придвинулась к Эросу. Рабы, вольноотпущенники, чужеземцы, плебеи, женщины требовали у него указать, где Титий: они желали «выпустить из него внутренности», «растоптать продажного пса» и спрашивали также, где Планк. Эрос ответил, что оба злодея пригреты третьим злодеем — Октавианом и находятся во дворце тирана.

Толпа двинулась к Палатину.

— Стойте, квириты!

Народ остановился. Навстречу шли, взявшись за руки, популяры: Лициния, Понтий, Милихий и еще два человека.

— Стойте, квириды! — повторила Лициния. — Не верьте бывшим триумвирам! Оба — ваши враги. Этот муж, — указала она на Эроса, — восхваляет Антония, а кто такой Антоний? Царь Египта! Кто Октавиан? Сын Цезаря, стремившегося к царской власти. Оба они — враги. Не давайте присяги Октавиану и не верьте Антонию! А Тития, убийцу Секста Помпея, подстерегите и растерзайте в клочья: его место на свалке, среди нечистот!

— Смерть Титию! — кричала толпа. — Выдайте нам Тития! Выдайте злодея!

Когда Лициния, Понтий и Милихий возвращались ночью домой, человек в плаще догнал их недалеко от Виминала и пошел рядом с ними.

— Кто ты, друг, и чего тебе нужно? — спросил Понтий, ощупывая кинжал под одеждой.

— Я хочу говорить с женщиной. Почему ты мне помешала? — обратился он к Лицинии. — Обвиняя Антония и Октавиана, ты помогла Октавиану: ненависть народа обратилась против Тития, а я хотел возбудить ее против Цезаря и Тития. Толпа потребовала бы выдачи убийцы Помпея и заодно сожгла бы дом Октавиана. Что? Твоя логика пахнет глупостью. Толпа покричала: «Смерть Титию!» и разошлась. О, если бы ты не приходила вовсе!

Вглядываясь в него при скудном свете чадившей светильни, Лициния не могла различить черт его лица. Наконец она узнала его — это был тот человек, который выступал перед толпой.

— Твое скудоумие меня поражает, — сказала она. — Одного ты хвалишь, а другого порицаешь. Почему ты превозносишь Антония?

Эрос не нашелся, что сказать. Но когда Лициния упрекнула его в легкомыслии, он не выдержал:

— Есть вещи, о которых я не смею говорить. Но кто равен Антонию по храбрости, доброте и великодушию? Скажи, квиритка, кто? Даже Секст Помпей уступал Антонию в величии души!

— Лжешь! Антоний — такой же убийца, как Титий!

XVIII

Однако не все города дали присягу Цезарю: Бонония и несколько других отказались, решив сохранять спокойствие, но это не помешало Октавиану объявить, что вся Италия поставлена под его империей.

— В руках моих — законная власть, — говорил он друзьям. — Она дана мне народом для спасения Италии, потому что много сенаторов бежало, а сенат, не будучи и полном составе, не смел дать мне империй.

— И все же придется побудить сенат начать войну с Клеопатрой, — сказал Агриппа, — лишит Антония начальствования над легионами, отнять у него все магистратуры...

— ...и объявить врагом сената и римского народа! — вскричал Октавиан.

— Нет, твердо выговорил Агриппа. — Если ты, Цезарь, не жегаетшь попасть в тяжелое положение, то поостерегись: Италия не верит обвинениям против Антония.

Я бывал неоднократно на конциях, слышал речи некоей Лицинии и цирковых наездников Понтия и Милихия. Они одинаково нападают на тебя и на Антония, но резко резко возражают против лжи, возводимой на проконсула.

— Он уже не проконсул!

— Пусть так, но Антонием он не перестал быть.

Октавиан встал.

— Чего же ты хочешь? — спросил он с раздражением.

— Я, Цезарь, ничего не хочу, а если решаюсь давать тебе советы, то это происходит согласно твоему желанию.

— Говори кратко и более понятно.

— Я против объявления Антония врагом отечества.

Октавиан молчал.

— Я также против новых налогов, которые ты вздумал взыскать с народа. Они озлобят все слои общества, и я повторяю, Цезарь, поостерегись!..

— Мне надоела твоя трусость...

— ...осторожность, — поправил его Агриппа.

— ...осторожность или трусость — не все ли равно? Они родные сестры...

— Однако и ты, Цезарь, выказывал неоднократно... Октавиан вспыхнул.

— Молчать! — крикнул он. — Относительно Антония я еще могу согласиться, но налоги... налоги... Без них я погибну. Свободнорожденный может заплатить четвертую часть своего дохода, а вольноотпущенник, имеющий более двухсот тысяч сестерциев, — восьмую часть. Что? Опять возражать?

Пожав плечами, Агриппа перестал спорить. Упрямство Октавиана удручало его.

Меценат давно собирался вмешаться в спор и терпеливо ожидал окончания политической беседы. Теперь же, когда наступило тягостное молчание и Октавиан, хмурясь, шагал прихрамывая, по атриуму, он обратился к нему:

— Не желаешь ли, Цезарь, послушать четверостишие, которое я сочинил во время бессонницы? Хотя скромному поэту, каким, я считаю себя, неприлично хвалиться, однако оно мне нравится. А так как ты тоже поэт и притом взыскательный, то я был бы несказанно благодарен тебе...

— Читай, — махнул рукой Октавиан, остановившись среди атриума.

Меценат прочитал наизусть, делая на каждой цезуре большую паузу:

Девственность робко сказала Поэзии юной, напевной:

«Что ты так сладко поешь прелести девы, сестра?»

Ей отвечала Поэзия, строгой улыбкой светлея:

«В прелестях дев молодых — брачные чары невест».

Октавиан повеселел.

— Клянусь Аполлоном! — вскричал он. — Ты — настоящий поэт. Обещаю тебе после победы над Антонием (а победить я должен) написать эти стихи на медных досках и повесить в библиотеке, основанной старым Варроном.

Взыскание налогов с населения вызвало кровавые мятежи и крупные восстания. Италия не желала платить последние крохи тирану, ставшему вдобавок ко всему грабителем. Всем было известно, что лица, получившие доходы, были в страшных

долгах, которые приходилось погашать, выплачивая огромные проценты за просрочку, и свободных денег для уплаты налогов ни у кого не было. Агриппа предупреждал об этом Октавиана, но Цезарь был глух к его словам. Он рассуждал, что если деньги нужны, то необходимо их добыть, и его мало тревожили нужда и безвыходность положения свободнорожденных и вольноотпущенников.

Эмиссары Антония и Клеопатры, возбуждавшие народ к восстаниям, посылали гонцов к Антонию с лаконическими эпистолами: «Восстания охватили Италию. Воспользуйся случаем, посылаемым тебе богами: напади на Италию, и ты сломишь Октавиана».

Цезарь знал об этом. Знал он также, что начальники легионов Антония, враждебно настроенные к Клеопатре, не уяснили себе цели затеваемой Антонием войны. «За кого боремся? — говорили они. — За римскую республику или за Египет?» Друзья покидали Антония, даже легат Домиций Агенобарб был ненадежен, а эмиссары, работавшие в Италии, стали присылать дерзкие эпистолы. Одну из эпистол Октавиан перехватил и читал своим друзьям. В ней говорилось, что медлительность довела Помпея Великого до гибели, что не производится заготовка провианта для войск и никому неизвестно, куда отправятся легионы на зимние квартиры.

— Он не нападет на Италию, — говорил Октавиан Агриппе. — Он растерян. Однако положение его лучше моего — у него есть деньги, и он может подкупать квиритов,

— Твои опасения тревожат и меня, — сознался невозмутимый Агриппа. — Я предпочитаю смотреть несчастьем и глазами, чем обольщать себя несуществующим счастьем.

— Я не понимаю.

— Я говорю, что наше положение совсем безвыходно, и только чудо — помощь олимпийцев — может спасти нас.

Октавиан молчал. Потом сказал, тряхнув головою:

— Будем ждать, Марк Випсаний, чуда... Да, будем ждать чуда, — повторил он, вставая. — Не пойти ли нам ни форум? Там должны выступать популяры, и я хотел бы послушать... Кликни ликторов...

Агриппа тоже встал. Стоя перед Октавианом, он говорил ровным голосом:

— Я не знал, Цезарь, что ты склонен слушать лживые дерзкие речи популяров, и принял некоторые меры: против вождей их посланы убийцы, но соглядатаи говорят, что женщина и цирковые наездники бежали из Рима. Поэтому, Цезарь, не торопись: выступления на форуме не будет.

— Ты не предупредил меня...

— Я заботился о твоей безопасности... Помнишь, Цезарь, ты собирался навестить Вергилия в Неаполе? Не желаешь ли завтра отправиться в путь?

— Сегодня нундины, а ты предлагаешь мне ехать на другой день после нундин! Ты заботаешься о моей безопасности, а подвергаешь меня всяким случайностям.

— Прости, Цезарь, я забыл об этом дне. Вспомни, что философы смеются над суеверными людьми и называют их «одержимыми предрассудками».

Вошел Меценат. Услышав слова Агриппы, он сказал со смехом:

— Одержимый предрассудками не одно ли и то же, что дурак?

Агриппа смутился, Октавиан вспыхнул. — А что это так, — продолжал Меценат, не замечая впечатления, произведенного его словами, — то стоит лишь сопоставить действия Клеопатры и Антония: вся их жизнь основана на предрассудках!

Октавиан повеселел.

— Ты прав! — вскричал он, — Антоний говорил мне, что вставать с ложа необходимо сразу обеими ногами, иначе человека ожидает несчастье, неприятность или неудача. Он утверждал, что...

— Прости, Цезарь, — перебил Меценат, — я пришел к тебе по делу: как прикажешь поступить со свитками папируса и пергамента, купленными в восточных городах? Библиотека не может вместить всех рукописей, Варрон растерян и не знает, что делать.

— Обратись, царь, к нашему архитектору, — указал Октавиан на Агриппу, — он сделает пристройку...

— Пристройку? Ты шутишь, Цезарь! Здание библиотеки прекрасно, а я не позволю обезобразить его...

— Позволишь, друг мой, позволишь: книги ценнее всяких красот.

Когда друзья ушли, Октавиан прошел в таблинум и, схватившись руками за голову, упал на ложе. Мысли проносились с такой быстротой, что он не мог собрать их в одно целое. Мелькали Юлий Цезарь, Клеопатра, Антоний, Кассий, Брут, Лепид, Октавия. Неужели невозможно примирение? Власть! Она, лишь она испортила отношения дуумвиров: оба стремились к власти, как соперники к любимой женщине, и только одному из них она могла принадлежать — более сильному. Кто же сильнее? Антоний или он, Цезарь?..

Вспомнил победу Антония при Филиппах, и сердце сжалось. О, если Антоний победит в предстоящей войне, все будет кончено: могущество, жизнь... друзья и родные погибнут...

Вскочил, пронзительно закричал:

— Нет! Нет! я должен..., я должен... Слово «победить» застряло в горле. Выбежав из таблинума, заметался по атриуму и в диком ужасе, визжа и проклиная Антония и Клеопатру, хватал дорогие вазы и разбивал об пол.

Вбежала Ливия, обхватив его за плечи, прижалась к нему, лаская его лицо и руки.

— Успокойся, успокойся, успокойся, — повторяла она. Однажды уже был у него такой же приступ яростного отчаяния (это случилось, когда он узнал о браке Антония с Клеопатрой), и Ливии стоило больших трудов успокоить его. Что же случилось еще страшного? Неужели Антоний вторгся в Италию и идет на Рим?

Ливию охватил ужас. Расспрашивая Октавиана, она дрожала, боясь услышать роковую весть, но убедившись, что ничего страшного не случилось, она опустилась на колени перед ларарием и принялась молиться.

Октавиан смотрел на нее мутными глазами. В голове было пусто — мысли улетели, точно их не бывало вовсе,

Спать, — пробормотал он и, шатаясь, направился в спальню.

XIX

Зима для обеих сторон была тяжелая.

Решив расположиться с войсками на зимние квартиры в Греции, Антоний отправил в Италию эмиссаров, приказав им путем подкупа привлекать на свою сторону легионариев и население, возбуждать волнения среди недовольных. Большая

часть его кораблей находилась в Амбракийском заливе, между Коркирой и Левкадой, неся сторожевую службу на море. А остальные суда с войсками были расположены в Кирене, Египте и Сирии.

Антоний сам сознавал, что разбросанность кораблей и легионов по Элладе и Архипелагу нецелесообразна, — в случае нападения Октавиана трудно будет стянуть суда и войска к месту битвы, но Клеопатра, помышлявшая только о защите Египта, настояла на таком распределении войск.

Уступив ей, Антоний вскоре пожалел: корабли Октавиана плавали у берегов Эпира, и главной стоянкой их была скалистая область Акрокеравнии. Здесь, по предположениям Антония, должен был высадиться Октавиан.

Сидя над хартиями и изучая берега Греции, Антоний искал выгодных мест для морских сражений и удобных равнин для развертывания пехоты и конницы.

За стенами оживленно шумели толпы народа, По улицам. Патр двигались греки, понтийцы, пафлагонцы, каппадокийцы, иудеи, сирийцы, египтяне, и их разноязыкая речь врывается в дом. Антоний прислушивался и, не понимая слов, подумал, что очутился в таком же положении, как некогда Помпей Великий.

— Неужели и меня ждет Фарсала?. — воскликнул он. — Не лучше ли, пока не поздно, примириться с Октавианом и возвратиться в Италию? Нет! Царь не может искать мира у тирана и демагога. Царь не имеет права уступить власть потомку ростовщиков, иначе римские и египетские боги возмутятся и жестоко покарают его.

Из гинекея донеслись голоса, смех. Он узнал голоса Клеопатры, Ирас и Хармион, смех рабынь и прислужниц. Шум приблизился, и евнух Мардион появился на пороге:

— Царица святой земли Кем спрашивает царя и владыку: желаешь ли ты оторваться от дел и спросить судьбу у халдейских магов?

— Разве нет у нас Олимпа, искусного звездочета?

— Верно, господин, но и наш астролог пришел послушать халдеев.

— Маги мне надоели, — грубо сказал Антоний и непристойно выругался по-лагерному. — Скажи царице, что я занят.

И он углубился в изучение хартий. Рассматривая береговую линию Эпира и Акарнании, он решил сосредоточить корабли в Амбракийском заливе и дать сражение у мыса Актиона, называемого римлянами Акцииум. Города Анакторион, Амбракия и ряд других обещали помочь провиантом, острова Керкира, Левкада, Паксос, Кефалления, Итака и другие ~ людьми, большая часть которых была рыбаки и водолазы, а вся Эллада — воинами, моряками и народным сочувствием борцам против тирании. Актион должен был стать твердыней всех сил, средоточием воли восточных племен и народов, требующих освобождения и мирной жизни, альфой возникновения греко-римско-египетской империи и омегой тирании Октавиана, ничтожного выроodka римских ростовщиков.

— О Геркулес, — шепнул Антоний, — дай мне такие же силы, какие давала Земля каждый раз поверженному Антею, и я воздвигну тебе великолепные храмы и сооружу жертвенники, облицованные мрамором.

Встал и, надев невольничью одежду, незаметно вышел на улицу. Смешавшись с толпой, он зашагал к пристани.

Обычно голубое, небо было в облаках, и Гелиос не ехал на огненной колеснице, запряженной огненными копиями и не осыпал щедрыми лучами, как стрелами, благословенную землю Ахаии. На море качались корабли, моросил дождь, и белая завеса, спутница ненастья, скрывала противоположный берег; там была Этолия,

знаменитый город Калидон, а на запад от Патр, по прямой линии, темнели морские волны, бегущие к Итаке и Кефаллени.

Да, он любил Элладу. Душою грек, он стремился ко всему восточному, любил азиатские и египетские песни, пышные одежды, знойные пляски, нагие тела, «сладолюбивые бани», шумные пиры, уличные увеселения, театры, гипподромы, палестры, гимназии, стадионы; любил философию, астрономию, поэзию, медицину и в особенности магию, раскрывавшую, по его мнению, все события будущего, как на ладони. В этом заключалась вся жизнь, и без всего этого она была невысказана. «Не искусственно ли назван Рим столицей мира? Что в нем привлекательного? Тела и кровь римлян пахнут не так, как тела и кровь азийцев, а любовь пресна и подчинена супружескому закону. И если матроны обходят закон и изощряются в неверности, то любовь не становится менее пресной; даже римская распущенность отличается от восточной, — в ней больше бесстыдства, меньше изящества и красоты».

Так размышляя, Антоний смотрел на корабли, подплывавшие к пристани.

Проходивший моряк толкнул его в бок и крикнул, грубо выругавшись:

— Что зазевался? Ворон считаешь? Антоний очнулся и равнодушно сказал:

— Друг, так ли ты считаешь иных богов, как Вакха? Ступай проспись.

Моряк обернулся и поднес ему кулак к носу.

— Еще слово, и я сделаю из тебя лепешку. Антоний ударил его наотмашь между глаз. Охнув, моряк свалился. Мгновенно сбежались любопытные. Появились моряки, пожелавшие вступить за сбитого с ног товарища.

— О-гэ, бородач! — кричали они, готовясь к нападению. — Сладить с ним нетрудно, выходи с любым из нас на единоборство.

Антоний, прищурившись, смотрел на них.

— Как бы вам, друзья, не охрипнуть от криков, — сказал он. — Не лучше ли пойти и прополоскать глотки?

— Трусишь?

— Не за себя.

Выступил коренастый грек и, потрясая кулаками, двинулся на Антония. Он оскорблял его, величая бородатым козлом, говорил, что выщиплет у него всю бороду и усы и жена, когда он вернется домой, примет его за евнуха и выдерет остальные волосы.

— Она подумает, что тебя оскотили! — издевался моряк под одобрительный хохот толпы. — А когда ты станешь лысым, она выгонит тебя голого метлой на улицу.

Толпа потешалась над Антонием, бросая в него объедками, откусками фруктов, шелухой от овощей.

— Замолчишь ли ты, недоносек ослицы? — крикнул Антоний и ударил его в грудь с такой силой, что моряк, падая, сшиб нескольких человек.

Грек вскочил, бросился на Антония: он пытался ухватить его за шею, но Антоний, опытный гимнаст и кулачный боец, держал его на протяжении руки и каждый раз сбивал с ног.

В ярости моряк выхватил кинжал.

— Брось, друг, если дорожишь своей жизнью, — примирительно сказал Антоний, — А вы, — обратился он к морякам, — помните, что нападение нескольких на одного — постыдно.

Его не слушали и окружали с проклятьями.

Люди, высадившиеся с причалившего судна, с опасением проходили мимо кучки

моряков, обступивших бородатого человека. Один муж, в промокшем насквозь петазе, остановился и, взглядевшись в Антония, бросился к морякам.

— Прочь! — крикнул он, выхватив меч. — Не видите, разбойники, на кого поднимаете руки? Это наш царь и вождь!

Толпа обратилась в бегство. Остались одни моряки.

Они стояли, опустив головы.

Антоний обернулся к мужу в петазе:

— Эрос!

— Господин! Оба обнялись.

— Вот нежданная встреча, — говорил Антоний, забавляясь смущением моряков. — Не зайти ли нам в таберну?.. О-гэ, друзья, — обратился он к морякам. — Не промочить ли нам глотки, как я предлагал вначале?

— Прости, вождь! — закричали моряки. — Не узнали мы тебя!..

— Плохо знаете начальников. Кто старший? Ты, друг мой? И ты меня не узнал? Наложь на подчиненных взыскание, а на себя двойное. Понял? А теперь веди нас в таберну, где можно было бы хорошо выпить и закусить.

— Вождь, таберна находится в нескольких шагах отсюда.

— Идем, — сказал Антоний, взяв Эроса под руку.

В таберне было шумно. Разноплеменные моряки веселились, пропивая среди блудниц свой скудный заработок. Они пели непристойные песни, поднося кружки, наполненные до краев вином, своим случайным подругам.

Антоний и Эрос тоже пили. Низкорослый грек, дравшийся с Антонием на пристани, стал ручным, как домашнее животное: он объявил, что с таким сильным мужем, как вождь, встретился впервые в жизни, и, величая его Гераклом, обещал верно служить до самой смерти. Остальные моряки шумно поддержали его и пили за здоровье Антония.

Пронзительный женский крик ворвался в таберну. Посетители встrepенулись, шум утих.

— О-гэ, хозяин! — крикнул Антоний. — Кого у тебя там режут?

Толстый коротконогий грек подбежал к Антонию и заикаясь вымолвил:

— Господин мой! Такие крики часто доносятся из соседнего диктериона. Я прикажу...

Речь его была прервана новым криком. Женский голос молил о помощи.

— Привести обоих, — распорядился Антоний, — женщину и обидчика.

Вскоре перед проконсулом появилась миловидная девушка и старый грек. Рука Антония дрогнула, расплескав вино. Эрос растерянно смотрел на девушку.

— Атуя! — воскликнул он с изумлением. Денушка равнодушно повернула к нему голову, и взгляд ее остановился на Антонии. Антоний нагнулся к Эросу:

— Атуя, говоришь? Но ты же отвез ее в Италию... Как же она очутилась здесь?..

- Не знаю, господин, но это она... Ее лицо, глаза... Ее рост, голос, руки...

— Вижу. Но разве не бывает двойников? Впрочем, я возьму ее и узнаю по родинкам на теле, она ли это...

Пригласив девушку вернуться в порнею, Антоний сунул ей монету. Однако девушка возвратила деньги и, указывая на старика, сказала:

— Он купил меня, а денег не дал. Я потребовала, и он стал таскать меня за волосы и бить.

Антоний встал.

— Почему не платишь, старая калига?

— Я заплачу, когда...

— Нет, ты заплатишь за побои и убежишь поскорее, иначе — клянусь Перибасией! — моряки научат тебя разуму!

Скрепя сердце, старик бросил монету на стол и, осыпаясь насмешками и пинками моряков, поспешил к выходу.

— Теперь ты свободна? — спросил Антоний. Девушка наклонила голову.

Когда они удалились, Эрос подошел к морякам, обступившим двух фокусников, которые на глазах присутствующих глотали огонь, зажигали в сосуде паклю, из которого вылетали потом голуби, наносили себе удары ножами, а на теле не было ни ран, ни крови.

Эрос посмеивался над легковерием моряков, считавших фокусников волшебниками, которым покровительствует Геката.

Зрители неистовствовали, выражая громкими возгласами свой восторг.

Антоний тронул Эроса за плечо:

— Ты ошибся, это не она. А так похожа, так поразительно похожа!

— Обратись с молитвой к Гекате, — сказал Эрос, — проси ее избавить нас от злого наваждения.

XX

Лициния и Понтий сеяли недовольство среди воинов, и легионы требовали обещанных денег, не слушая уверений начальников, что задержка произошла не по вине Цезаря, а вследствие тяжелого положения, в которое поставил республику Антоний. Воины шептались и перебежали к Антонию: он был богат и могущественен, его легионы и корабли — говорили воины — могли противостоять войскам и судам двух таких Цезарей, и стоило ли защищать нищего вождя, который вдобавок ко всему боялся высадиться в Эпире?

Октавиан и Агриппа, действительно, опасались высадиться в Греции с двадцатью легионами. Неуверенные в преданности войск, они дрожали при мысли, что легионы покинут их и перейдут на сторону Антония.

Сидя на ложе, Октавиан говорил Агриппе, ходившему взад и вперед мимо него:

— Я уже решил собрать легкие суда и притворно напасть на берега южной Греции, чтобы отвлечь внимание противника от Эпира. А я, высадившись там, двинулся бы к Амбракийскому заливу, чтобы сжечь корабли Антония. Но легионарии бегут, друзья отказались следовать за мною, в особенности этот Азиний Поллион, уверявший, что дружба со мной и с Антонием мешает ему поддерживать меня. Так же поступили и другие. Я прикажу семистам сенаторам следовать за собой, и они не посмеют отказаться...

— Я против этого решения. Зачем столько мужей тащить за собой?

Остановившись, Агриппа ждал ответа.

— Я не доверяю им, — заговорил Октавиан, грызя ногти, — они предпочитают мне Антония. Ты сомневаешься? Я предвижу действия отцов государства: заговор, затем посольство к Антонию с просьбой высадиться в Италии, воззвание к народу о поддержке борца за республику, за демократические свободы (Антоний — борец —

ха-ха-ха!) и объявление меня врагом народа...

Агриппа пожал плечами.

— Ты чересчур подозрителен, Цезарь! Если бы то, что сказано тобой, ты произнес в присутствии отцов государства, они, возможно, выступили бы против тебя. А так как они об этом не помышляют, то ошибка, которую ты намерен совершить, будет двойной: во-первых, ты лишишь Рим сената, а это покажется квиритам весьма странным, и, во-вторых, возьмешь обузу на свою шею...

— По-твоему, и должен покориться сенату и зависеть от друзей Антония? — вскричал он. — Если это так, то не лучше ли примириться с Антонием, унизиться — ты этого хочешь?

— Я ничего не хочу, Цезарь, кроме твоей победы.

— Победы, победы! А есть ли надежда на нее? Нет, я твердо задумал увезти с собой сенат и действовать, как решено. Не будем же медлить!

Казалось, сама судьба благоприятствовала Октавиану: Амбракия, на помощь которой рассчитывал Антоний, не дала продовольствия, и в Амбракийском заливе среди моряков начался голод. Треть людского состава погибла от голода и болезней. Перебежчики доносили, что Антоний пополняет убыль людей земледельцами, погонщиками ослов и мулов, рабами и что эти люди неохотно идут на корабли.

— А в Патрах, — говорил старик-перебежчик, — начались разногласия. Клеопатра желает мира и требует, чтобы Антоний вернулся в Египет.

И словоохотливый старик, конюх Антония, рассказал, что из случайно услышанной беседы Деллия с Домицием Агенобарбом он узнал причину разногласий: на заседании сената речь шла о восстановлении порядка в Италии после победы над Октавианом и о возвращении Антония в Рим. Полководец не возражал, слушая речи сенаторов. А потом, когда он встретился с Клеопатрой, царица спросила его, правда ли, что он думает вернуться в Италию, Антоний уклончиво ответил, что Октавиан еще не побежден, а будущее находится в руках богов. Однако обеспокоенная Клеопатра не удовлетворилась этим ответом и стала упрекать Антония в непостоянстве и равнодушии к детям.

Выслушав перебежчика, Октавиан повернулся к Агриппе, стоявшему у бисселя:

— Слышишь? Там, где поселились несогласие и неурядица, быть беде. Муж и жена ссорятся, любовь становится не приятной, а надоедливой привычкой. Сторонники Антония и царицы непременно перегрызутся, а тогда... Ты знаешь, что будет тогда?

Выпроводив перебежчика, Агриппа сказал:

— Клеопатра обеспокоена судьбой Египта. Шестнадцать лет назад она ездила в Рим, чтобы покорить Юлия Цезаря, и это ей удалось: она была цветуща, прекрасна и благоуханна. А теперь отцветает, хотя красота ее еще не поблекла и производит чарующее впечатление. Но кого соблазнять, кого покорять? Только двоих — тебя и Антония.

— Меня не соблазнить...

— Остается один Антоний. Выпустить его из золотой клетки, чтобы потом опять покорять, — не безумие ли это? Понимаешь, Цезарь, победа Антония над нами — гибель Клеопатры; она умна и понимает это. Вот причина, почему она желает остановить войну...

— Это правдоподобно, хотя... Агриппа возмутился.

— Когда же ты, Цезарь, перестанешь, наконец, сомневаться? — вскричал он. —

Клеопатра и ее сторонники желают мира, Антоний, друзья и сенаторы, окружающие его, — войны. Антоний объявил, что борется за республику, следовательно, он должен воевать, а потому откажет Клеопатре: для него бегство в Египет — признание, что борьба идет не за Рим, а за Египет, для римлян же и сенаторов отказ Антония от войны — жизнь в изгнании, невозможность возвратиться в Италию без твоего согласия, Цезарь!..

— Ты остроумен, Марк Випсаний! Но кто поручится, что это так?

— Логика остается логикой. Ведь черный цвет ты не назовешь белым — не так ли?

Октавиан не стал спорить. Он был весел. Он любил противоречить собеседнику до тех пор, пока тот не доказывал очевидной истины наглядными примерами, опровергнуть которые было уже невозможно.

В этот же день окончательно решено было разделиться: Агриппа нападет на южные берега Греции, а Октавиан высадится в Эпире.

XXI

Разлад начался в Патрах. Все рассказанное перебежчиком Октавиану, оказалось правдой. Клеопатра требовала прекращения войны, Антоний отказывался.

В спальне был желтоватый полусумрак. Золотые кадилницы, поставленные на золотые треножки, распространяли тонкий запах аравийских благовоний. Изображения нагих богинь украшали стены, завешанные желтыми персидскими коврами, и статуи нагих сатиров; силенов и менад, разрисованные в желтый цвет, стояли вдоль стен. У изголовья широкого ложа, на котором полулежала нагая царица, стоял Приап с фаллусом, украшенным венками, — подарок Антония. Это была золотая статуя, отлитая по приказанию проконсула искусным литейщиком из слитков, захваченных в Армении.

Спальня казалась убежищем Наготы, и зловещая желтизна предметов — символом Разлада и Ненависти, вошедших в ночной приют отдыха. Так подумал Антоний, остановившись на пороге и не спуская глаз с Клеопатры.

Кашлянув, он сделал шаг, и меч звякнул на его боку.

— Не беспокоит ли египтянку появление римлянина? — спросил Антоний, любуясь телом царицы и испытывая прежнюю любовь, сводившую не раз его с ума. — Если моя царица не желает видеть своего царя, то я удалюсь...

Приветливая улыбка мелькнула на губах Клеопатры, и чарующее сияние разлилось по ее одухотворенному любовью лицу. Казалось, божественная Красота в образе Афродиты сошла на землю, чтобы пленять смертных, пробуждать любовь к прекрасному.

— Останься, — тихо сказала она, приподнявшись. Царица стояла потягиваясь, и Антоний не спускал глаз с ее тела; умащенное мирром и нардом, оно лоснилось, блестя, как слоновая кость, и благоухая.

— Как жаль, что скоро мы расстанемся, — певучим голосом заговорила Клеопатра, увлекая его к ложу. — Я вернусь в Египет — это святая земля Кем, наследие Лагидов... Там странствуют боги в виде странников, там каждый камень овеян любовью царей и простых людей к женщинам, там сама Девственность

нисходит на землю в виде юных тел, стремящихся к зачатию, там сама Плодовитость... Но нет, это тебя не трогает... Ты спешишь к отвергнутой тобой же римлянке! Октавия овладела твоими мыслями, Октавия!..

— Что ты говоришь? Успокойся.

— Нет, нет! Не ради восстановления римской республики, не ради власти над всем миром, не ради царской диадемы стремишься ты в Рим, а ради — Октавии! Я знаю это, знаю! О боги, до чего я дожила!.. Я отдала тебе все, что имела, — свое тело, душу, сокровища Лагидов, Верхний и Нижний Египет! Я рожала тебе детей, а ты...

В отчаянии она опустила на ковер, устилавший пол, и, притворно рыдая, причитала, как рабыня или наемница:

— Ради Октавии ты готов ввязаться в эту войну, которая ничего не даст, кроме гибели супружеского счастья и призрачного завоевания Рима. Ибо я знаю, что сенат заставит тебя же подчинить Египет римскому владычеству, а Цезарь, проклятый людьми и богами злодей, будет добиваться отречения моего от трона Лагидов... Нет, оба вы, празднуя египетский триумф, поведете меня за своей колесницей, и плебс будет тешиться и издеваться над моим несчастьем!

— Что ты говоришь? — повторил Антоний. — Ты больна. Какие черные мысли овладели тобою! Разве не ты желала этой войны? Я уступил тебе, начав военные действия, уступил, разведясь с Октавией. А теперь, когда я зашел так далеко, что отступления быть не может, ты требуешь невозможного. Я говорил тебе об этом...

— Ты боишься общественного мнения Рима. А что для нас Рим?

— Не забывай, что Рим — моя родина, а я — римлянин!

— Муж, родом римлянин, а душою — грек, — всегда грек! — вскочила она. — Сознайся, что это так. Ведь ты не любишь Рима, ты любишь Элладу и Египет, и лицемерные слова твои...

Вспыхнув, Антоний отвернулся от нее.

— Мне надоели, Клеопатра, твои несправедливые речи. Я люблю Элладу, но Рим — дорогое отечество, и никогда я не отрекусь от родины. Я воюю не с Римом, а с тираном, поработителем римского народа: я хочу свергнуть его...

— Зачем лжешь? — не унималась Клеопатра. — Ты, царь, хочешь стать вождем популярных? Божественный Юлий был даровитее тебя и то споткнулся. Что же тебя привлекает в Риме — скажи? Власть? Но ты должен будешь разделить ее с Цезарем, ибо Октавия не допустит умерщвления брата...

Она помолчала и злорадно добавила:

— Ты хочешь Октавию.

Возбужденное лицо ее было прекрасно, напоминая лицо Афины-Паллады в афинском Акрополе, и Антоний, любуясь ею, повторял:

— Ты ревнуешь без причины.

Клеопатра притворно заплакала. Всклипывая, она жаловалась на свою судьбу; никого она так не любила, как Антоний, — даже божественный Юлий не мог бы похвалиться такой любовью; она была неопытной девушкой, когда Юлий Цезарь соблазнил ее, и ездила в Рим не потому, что была влюблена в Юлия, а оттого, что, за беременев от него, добивалась усыновления Цезариона,

— Тогда и встретилась с тобою, — вспоминала она, — и Афродита послала Эроса-Купидона, который пронзил мое сердце стрелой любви, выпущенной из лука: томительная ранка не заживала, любовь разрасталась, и, когда я встретилась с тобой в Тарсе (я отправилась туда, умирая от любви), я поняла, как сладостно быть твоей

рабыней. И даже сейчас, униженная и оскорбленная твоим стремлением к Октавии, я умоляю Афродиту не разлучать меня с тобой, потому что я не вынесу горя и наложу на себя руки.

Вздыхнув, Антоний взял ее в объятия и, посадив к себе на колени, ласкал ее тело.

— Обещай бежать со мной в Египет, — шептала Клеопатра, — мы придумаем вместе, как обмануть сенат, военачальников и легионы видимостью войны. О Марк Антоний, царь мой, властелин! Сжался над своей рабыней, которая готова в знак любви к тебе и преданности целовать твои ноги!

Она опустила перед ним на колени, обняла его ноги и прижалась к ним лицом.

— Встань, царица! — дрогнувшим голосом выговорил Антоний. — Встань, умоляю тебя...

— Обещай бежать со мной...

Он колебался. Страшная тоска, стыд, отвращение к жизни овладели им. Он молчал, борясь с собою, но Тело было сильнее всего, и он, в душе проклиная себя, уступил.

— Пусть будет так, моя царица! — вымолвил он со стоном, подумав: «Со мною всегда меч, и я смогу, когда понадобится, пресечь нить жизни без вмешательства Парк».

Спустя несколько дней пришло известие, что Агриппа напал на берега южной Греции и захватывает корабли, подвозившие войскам Антония хлеб из Азии и Египта. Взятие Мефоны обеспокоило, а притворные поиски Агриппой удобного места для высадки легионов обманули Антония.

В то время, как он приказывал своим войскам соединиться, Октавиан высадился в Эпире.

Узнав об этом, Антоний послал гонцов к Канидию с повелением двигаться к Акциону, а друзьям, сенаторам и преторианской когорте отправиться на пристань, чтобы сесть на корабли.

Было холодно, шел снег, и Антоний вдыхал полной грудью морозный воздух. Лошадь под ним была резвая, молодая и нетерпеливо переступала с ноги на ногу, когда он садился на нее. Приближенные, ежась от холода, шептались, высказывая друг другу недовольство столь ранним отъездом: хотелось спать после бурно проведенной ночи и в промежутках между сном и пробуждением пить вино или ласкать женщину; хотелось, отдыхая, заниматься литературой или писать друзьям письма, играть в кости, астргалы или петеию, не помышляя ни о чем, кроме игры; хотелось жить полной, беззаботной жизнью, не думая о войне, потому что воевать не хотелось, и, если кое-кто настаивал на этом, то приходилось соглашаться лишь потому, что во главе меньшинства стоял сам проконсул. А когда наступили раздоры, причиной которых было нежелание Клеопатры воевать, многие стали помышлять о возвращении в Рим, о бегстве к Октавиану. Что для них было в этой борьбе? Победа Антония или Октавиана — не все ли равно? О родине они не думали: она была для них там, где жилось хорошо, то есть они считали, что человек, владеющий состоянием, может не иметь родины и что понятие «отечество» — предрассудок или демагогия правителей, играющих на патриотических чувствах несознательной толпы. Поэтому они сочувствовали желанию Клеопатры прекратить войну и порицали Антония, приказавшего ехать всем к Акционскому мысу.

Сев на простую бирему и посадив приближенных и когорту, Антоний отплыл от ахейского берега.

Бирема плыла мимо мыса Аракса к Эхинадейским островам; слева вздымались горы славной Итаки, родины Одиссея, а впереди виднелась Левкада, дорический остров, с высокой горой, с вершины которой, по преданию, бросилась в море знаменитая Сапфо. Обогнув Итаку, бирема направилась к юго-западному берегу Левкады и поплыла вдоль западного берега по направлению к Актиону.

Дул попутный ветер. Темные холодные волны шумели за кормою, гребцы пели заунывную галльскую песню, и Антоний, стоя рядом с кормчим, думал с ужасом в сердце, что он обречен и с ним обречены на позор доблестные войска.

Объяснение с Клеопатрой перепутало все его планы и решения. Он уступил ей во всем, был побежден женщиной. Что можно было сделать, чтобы вернуть хотя бы часть обдуманных решений? Он стал гистрионом и останется им до конца своей жизни. Здесь, у Актиона, он должен разыграть, как на театре, страшную трагедию своей жизни, обмануть людей, вручивших в его руки свои жизни и будущее, унизиться перед египтянкой и умереть, — иного выхода не было. Разве не смертью должна была кончиться победа над ним Клеопатры? Победитель Октавиан не успокоится, пока не добьет их обоих...

Неужели она пожертвует Антонием, думая сама спастись? Но как?

Недоумевая, он смотрел на волны. И вдруг — понял.

Телом она хочет покорить Октавиана, телом хочет спасти Египет от поглощения Римом, телом хочет...

Нет, не может быть. Она не такая. Она, дочь Лагидов, не смеет вступить на путь открытой проституции, выставить себя, нагую, напоказ всему миру и бесстыдно торговаться с тираном, как жадная корыстолюбивая карфагенянка, помышляющая только о наживе.

Нет, он ошибся. Ошиблась и Клеопатра. Он поговорит с ней, и она отступится от своих требований.

Это показалось ему настолько ясным, справедливым и бесспорным, что он перестал думать о вопросах, мучивших его, и обратился к кормчему, указав на скалистый берег:

— Скажи, друг, не Актион ли это?

— Актион, — лаконично подтвердил моряк, направляя судно к двум отвесным скалам, между которых виднелась небольшая бухточка.

Антоний подозвал Эроса и повелел объявить людям, чтобы приготовились высадиться на берег.

Его ожидало неприятное известие: Октавиан прибыл в Актион почти одновременно с Антонием. У противника были войска, а Антоний был одинок, если не считать нескольких человек, приплывших с ним. Опасность быть захваченным заставила Антония пуститься на хитрость: переодев моряков в одежды легионариев, полководец выстроил их на кораблях. Октавиан подумал, что защита кораблей поручена легионариям, и, выйдя из лагеря, решил предложить битву на суше.

Антоний ждал прибытия легионов. Когда они подошли, полководец приказал немедленно приступить к постройке большого лагеря на актионском мысе. Это отняло много времени.

Весной в разгар работ приехала Клеопатра. Солнечные лучи пригревали землю. Воздух, насыщенный запахом цветов и зелени, опьянял людей. Молодая трава буйно выбивалась из-под камней, стремясь к солнцу, и зеленые побеги появились даже на скалах, на которых было немного земли. Дышалось радостно и свободно. То же

испытывала и Клеопатра, высадившаяся в полдень у Актиона.

Появление ее в римском лагере возмутило военачальников, и сенаторов.

— Что нужно здесь этой египтянке? — с раздражением говорил Домиций Агенобарб, обращаясь к Деллию и Аминте, вышедшим вслед за ним из шатра. — Она прилипла к проконсулу, как пиявка. Супруга его? Пусть супруга, однако наши жены не сопутствуют нам в походах и не вешаются нам на шею в присутствии легионариев!

— Нам нет дела до того, как она себя ведет, — сказал Деллий, — лишь бы ее здесь не было и ее духи не заставляли чихать смелых воинов...

— Тем более, — подхватил Аминта, — что вся эта египетская свора, — указал он на евнухов и прислужниц, окружавших Клеопатру, которая приближалась к шатру Антония под звуки музыки, — не оставляет в покое нашего вождя. А вот и он! Клянусь богами! господин нарядился и, можно думать, ожидал ее...

— Они сговорились, — нахмурился Домиций Агенобарб. — Эта египтянка, несомненно, волшебница: она погубит нас, если мы не примем мер...

— А каких? Вождь глух к нашим речам...

— Мы заставим его немедленно вылечиться от глухоты, иначе...

— ...иначе... — повторил Деллий.

— ...иначе примем меры, достойные римлян, владык мира.

Беседа их была прервана восторженными криками египтян, приветствовавших Антония, и возгласами женщин, окружавших Клеопатру.

— Слышишь? — говорил Домиций Агенобарб. — Гнусной лестью втирается египтянка в доверие римлян. Взгляни на Канидия: как он подобострастно беседует с нею! Говорят, будто он сам похвалялся, что царица снизошла до него...

— Не понимаю, — сказал Деллий, хотя прекрасно знал подробности грязных слухов.

— Иными словами, она отдалась ему за некоторую услугу...

— ...и обещала предоставить в его пользование обеих трибад — Ирас и Хармион, — добавил Аминта. — Но не подойти ли и нам к ним, чтобы не обидеть проконсула?

Так сплетничая, они направились к шатру Антония.

Лектика Клеопатры медленно приближалась, несомая черными плечистыми эфиопами; в ушах у них были серьги, на головах и на спинах — белые покрывала, а на ногах — камышовые сандалии; с лиц и обнаженных грудей струился пот.

— Вот верные псы неверной жены, — шепнул Домиций Агенобарб, — Бьюсь об заклад на десять тысяч сестерциев, что этих эфиопов подарил ей царек эрембов Ямвлих, а за что — ведают одни боги да Афродита!

Поровнявшись с Клеопатрой, они приветствовали ее поднятыми руками. Царица благосклонно взглянула на них, громко сказав, чтобы все слышали:

— Привет истинным друзьям!

Домиций Агенобарб, вспыхнув от негодования, собирался возразить колкостью, но Деллий удержал его:

— Не делай глупостей. Время покажет, какие мы ей друзья...

Они не вошли в шатер Антония, а остались возле, поглядывая на юношей и молодых рабынь, которые, не стесняясь присутствия посторонних, вели непристойные разговоры, подчеркивая их неприличными телодвижениями.

Возвращаясь с Деллием в свой шатер, Домиций Агенобарб остановил Попликолу и Целия, друзей Антония, которые торопливо шли к шатру полководца, взволнованно

беседуя.

— Тревога искажает нередко лица даже храбрецов, — шутливо сказал он. — Что случилось?

— Большая неприятность, — шепнул Потгликола, — Цезарь отозвал Агриппу из южной Греции. — Ты хочешь сказать, что легионы уже в пути? Попликола прищурил слезящиеся глаза и медлил с ответом.

— Соглядатай утверждает, — вмешался Целий, — что гонцы отправились лишь вчера. Но простите нас, мы торопимся.

Когда они ушли, Деллий вымолвил, подавив вздох:

— О, если бы в лагере не было египтянки, я уверенно сказал бы, что мы разобьем Цезаря...

— Но она здесь, поэтому...

— ... поэтому победа сомнительна. Клеопатра будет мешать вождю, докучать советами...

Домиций Агенобарб крикнул с глухой яростью ш голосе:

— Пусть только она вмешается в военные дела, и я прочту ее, дочь варвара, по-римски!

XXII

В начале июня Антоний и Октавиан стояли с войсками друг против друга: их лагери находились на расстоянии полета стрелы, и легионарии часто перебрасывались между собой оскорбительными словами. Однако бывали случаи, когда ветераны Юлия Цезаря, участники битв при Тапсе и Мунде, крепкие, загорелые, седобородые, сходились с обеих сторон и мирно беседовали; порицая Октавиана и Антония, «детей бога Юлия», за вражду, они обещали побудить легионариев требовать мира.

Однажды вечером Октавиан, простившись с Агриппой, собирался лечь. В шатер вошли два контуберналия и, перебивая друг друга, доложили, что воины волнуются, требуя мира.

— Они говорят, — сказал бледный голубоглазый контуберналий, — что вражда между бывшими триумвирами — оскорбление духа Юлия Цезаря...

— Они кричат, — добавил второй, круглый, полнотелый контуберналий, — что война надоела и всем пора отдыхать.

Послав раба за Агриппой, Октавиан вышел на преторию. Глядя в темноту, он различал смутные тени. Это строились легионы, пожелавшие говорить с ним. Подошел Статилий Тавр и подтвердил, что войска волнуются и требуют мира.

Октавиан молчал. На темном пологне неба сверкали яркие крупные звезды, и одна из них, красновато-оранжевая, привлекла его внимание. Он смотрел на нее и вместо того, чтобы спросить Тавра, что думают военачальники о мире, обратился к нему со словами;

— Не можешь ли мне сказать, как называется эта звезда?

Статилий Тавр не знал. И Октавиан, опечаленный и недовольный, приказал кликнуть факелоносцев и осветить преторию.

Отблеск огней упал на передние ряды легионариев. Негодуя в душе на опаздывавшего Агриппу, Октавиан спросил воинов, зачем они собрались в ночное

время и что им нужно.

В задних рядах возникли отдельные голоса, покатались по рядам, приблизились, четкие и густые, слились в единый мощный гул:

— Мира, мира!

Гул нарастал — казалось, гудела вся земля. Октавиан стоял, беспомощно опустив руки, не зная, что сказать, как убедить войска, что требование их невозможно и неприемлемо.

Подбежал Агриппа. Выступив вперед с поднятой рукой, он заставил замолчать воинов, а затем обратился к Октавиану:

— Говори, Цезарь, легионы готовы тебя слушать.

Октавиан, не умевший произносить речей без предварительной подготовки, стал говорить путанно, часто заикаясь и не договаривая слов. Воины поняли из его нескладной речи, что он сам желает мира, и успокоились. Громкие крики потрясли лагерь:

— Да здравствует Цезарь! Слава, слава!

После Октавиана выступил Агриппа: желая сгладить не совсем благоприятное впечатление от речи вождя, он стал объяснять, что Цезарь уже спал, его разбудили, и сонному человеку трудно сразу собраться с мыслями. Но легионарии, довольные тем, что и полководец желает мира, уже расходились. И Агриппа, замолчав, повернулся к Октавиану.

— Ты, действительно, согласен начать мирные переговоры?

Октавиан вскричал с притворным удивлением:

— Ты сомневаешься, Марк Випсаний? Да я только об этом и думаю! Имея согласие воинов на мир, я как бы исполню их волю, отправляя посольство к Антонию...

— Но ты, Цезарь, говорил иначе...

— Я — говорил иначе? Ошибаешься, Марк Випсаний, ошибаешься...

Агриппа ушел со стесненным сердцем. А наутро, проснувшись, узнал, что посольство отправилось уже в лагерь Антония.

Агриппа нашел Октавиана в шатре. Оказалось, что Цезарь так и не ложился: всю ночь бродя по лагерю и беседуя с легионариями, он заходил в палатки ветеранов, предлагая выделить людей, которые должны были отправиться с мирными предложениями. И когда, наконец, собрались старые ветераны, Октавиан сказал: «Скажите Антонию, что я готов встретиться с ним и обсудить мирные условия».

Рассказывая об этом Агриппе, Октавиан не верил в благоприятный исход переговоров и не был этим удручен: он находился в лучшем положении, чем Антоний, — мог получать беспрепятственно хлеб из Италии и с островов, Антоний же ощущал недостаток в продовольствии.

Послы вернулись. Старый ветеран, вытирая слезы, говорил прерывистым голосом:

— Увы, мы не узнали Марка Антония. Египтянка, вероятно, околдовала его. А я помню его при Филиппах, в боях с парфами: отчаянно-храбрый, веселый, он водил нас к победам, и мы с радостью шли за ним...

Октавиан нетерпеливо прервал его:

— Ты молчишь о переговорах...

— Я молчу и плачу (ветеран, действительно, плакал). Император отказался от переговоров о мире, объявив в присутствии египетской царицы и сенаторов: «Не

желаю ни встречаться, ни беседовать с вероломным демагогом — пусть поразит его Юпитер своими стрелами и поглотит Тартар!»

Побледнев, Октавиан молчал.

— Он хочет войны! — вскричал Агриппа. — Да будет так. Увидим, Марк Антоний, кому помогут боги и на кого бросит Юпитер свои молнии! — И, обратившись к Октавиану, добавил: — Мужайся, Цезарь! Муж, которому мешает женщина и воевать и заключить мир, обречен: он не устоит против наших доблестных легионов...

В тот же день Октавиан принял решение послать испытанных в верности людей в Грецию и Македонию, с приказанием возбуждать недовольство среди племен, разоряемых поборами, и повелел военачальникам нападать на отряды противника.

Дни бежали за днями, недели — за неделями. Октавиан посылал в Рим хвастливые донесения о победах. Он писал, что часть войск противника разбита (Титий и Тавр разбили лишь отряд конницы), а корабли, охранявшие Левкаду, уничтожены, остальные же окружены в Амбракийском заливе (Агриппа одержал победу лишь над несколькими судами). Такая наглая ложь возмущала даже верных сторонников Октавиана.

В июле произошло событие, заставившее Цезаря еще выше поднять голову, Домиций Агенобарб и Филадельф, царь Пафлагонии, изменили Антонию и перешли на сторону Октавиана.

— Начало конца, — шепнул Агриппа повеселевшему Цезарю и громко затыкнул, что случилось с ним крайне редко, гимн Марсу, на помощь которого были обращены надежды набожных военачальников Октавиана.

Домиций Агенобарб рассказал Октавиану, что причиной их бегства были страшные раздоры, наступившие в лагере Антония. Они начались на июльском военном совете, где Антоний предложил, к всеобщему изумлению, дать морское сражение. Все молчали, недовольные решением полководца. Только одна Клеопатра говорила, что идея Антония великолепна, настаивая на морском сражении, которое должно было обессилить неприятеля. Ее речь была прервана негодующими возгласами, и выступивший Канидий сказал, что морская победа не обессилит противника и что лучше постепенно отводить легионы в Македонию, как бы отступая и заманивая Октавиана, а затем выбрать удобную местность и внезапно дать битву. Деллий и Аминта, а за ними и другие присоединились к Канидию. Вскочив, Клеопатра закричала: «Молчать! Вы хотите погубить Антония!»

— И когда египтянка, выкрикнув эти слова, презрительно оглядела нас, римлян, она, потомок варваров, — говорил Агенобарб, — я не вытерпел и вмешался в спор. Сначала я спокойно спрашивал ее, по какому праву она, женщина, вмешивается в дела мужей, по какому праву она, египтянка, присутствует на военном совете римлян и союзных царей, а когда она, не слушая меня, продолжала спорить, я обратился к Антонию: «Скажи, проконсул, за кого мы собираемся воевать — за римскую республику или за Египет?» Переглянувшись с Клеопатрой, Антоний ответил, что за римскую республику. Тогда я сказал Клеопатре: «Слышишь? Поскольку вопрос касается Рима, не место египтянке на военном совете». Антоний, заступаясь за Клеопатру, кричал, что она, его супруга, помогла ему деньгами, провиантом, осадными машинами и кораблями. Спор разгорался. Антоний молчал. Тогда Клеопатра спросила его: «Каково же твое мнение, проконсул?» И он ответил: «Я не решил, следует ли отказаться от морской битвы». — «Ты колеблешься?» — вскричала

царица. «Я склонен послушаться совета Канидия». — «Но это недостойно стратега! — спорила Клеопатра. — Ты, очевидно, хочешь стать рабом Цезаря! Что ж, это твое право. А я не была рабыней и не желаю быть ею — слышишь? Берегись, как бы черный Аменти не поглотил тебя...» Она продолжала угрожать Антонию на египетском языке, которого мы не понимали, а что это были угрозы — мы видели по выражению лица проконсула. Я прервал царицу, стукнув кулаком по столу, и закричал, что не варварам-египтянам вмешиваться в военные действия римлян, владык мира. Она побледнела, взглянула на Антония, как бы ища у него поддержки, но тот уже встал, чтобы уйти. На другой день Антоний объявил, что отказывается от морской битвы.

Октавиан внимательно слушал Домиция Агенобарба. Он узнал, что раздоры продолжались несколько дней. Антоний признался Канидию, что опасается, как бы царица не отравила его. Канидий советовал Антонию отправить Клеопатру в Египет. Проконсул колебался; или делал вид, что колеблется: ему не хотелось расстаться с царицей. Очевидно, он не желал морской битвы, потому что послал Деллия и Аминту во Фракию набирать конницу.

— Чувствуя что-то непонятное в поведении Антония и Клеопатры, я подумал, что позорно римлянину служить египетской царице и отстаивать Египет; не веря Антонию, что он борется за римскую республику, я решил перейти на сторону истинного римлянина, любящего отечество. И вот я, Цезарь, у твоих ног: казни или милуй.

— Благодарю тебя за доверие, — молвил Октавиан. — Но я не слышал твоего мнения о планах Антония.

— Цезарь, я думаю так: Клеопатра настает дать морскую битву, потому что она торопится к детям в Египет; она, несомненно, подкупит военачальников, чтобы иметь большинство в военном совете.

— Итак — ты советуешь собрать все корабли?

— Я говорю тебе, Цезарь, не «торопить быстрее всего», как ты привык выражаться, а «торопись быстрее всего».

Агриппа, не проронивший ни слова во время их беседы, сказал:

— Если Антоний, действительно, решится на морскую битву, мы не должны быть захвачены врасплох. Поэтому прикажи, Цезарь, стянуть все суда к Актиону.

Октавиан молчал, как бы взвешивая все выгоды и невыгоды этого ответственного шага.

— Последуем совету нашего друга и скажем с ним; «Торопись быстрее всего!» — воскликнул он наконец.

Агриппа вскочил и поспешно вышел.

XXIII

Бегство Филадельфа и Агенобарба ожесточило Антония. Опасаясь измены, он стал казнить приближенных — погибли несколько сенаторов и царек эрембов Ямвлих, впрочем, последний больше по подозрению в любовных отношениях с Клеопатрой. Опасаясь измены Деллия и Аминты, Антоний отозвал их из Фракии.

Царица торопила проконсула дать морскую битву, чтобы скорее вернуться в

Египет. Между римлянином и египтянкой все было решено, хитро обдуманно: сражение будет только предлогом для бегства. Во время боя корабли Клеопатры бросятся в открытое море, Антоний догонит их, и они — царь и царица — уплывут в Египет, бросив на произвол судьбы суда с моряками.

«Если Канидий сумеет противостоять Октавиану, пусть сражается, — думала Клеопатра, — а не сможет — пусть свершится, что должно свершиться».

Она повеселела, узнав, что Антоний приказал готовиться к битве. О, как она долго добивалась этого решения, ожидая дня, который, по ее мнению, должен был спасти Антония от сетей Октавии, искусно расставленных на его пути! Она радовалась, что Антоний не победит Октавиана, а потому не возвратится в Рим: он убежит с ней в Египет еще до исхода боя, он будет принадлежать ей, только ей, а не ненавистной Октавии; он не останется в Риме, чтобы строить козни и воевать с Египтом, а возвратится в страну Кем как защитник ее, как супруг царицы, как отец ее детей и как великий полководец, готовый отстоять целостность и независимость наследия Лагидов.

Послав за Антонием, чтобы провести наедине с ним несколько вечерних часов, она ждала его в спальне, разметавшись на львиной шкуре. Время шло, а он не приходил. Она посылала Ирас и Хармион смотреть на улицу, не едет ли он, и девушки возвращались, отрицательно покачивая головами.

Ожидание становилось невыносимым. Клеопатра чувствовала, как нетерпение сменяется досадой, досада — злобой, злоба — яростью. Наконец, поздно ночью явился Антоний, в запыленной обуви, мрачный, и, не глядя на нее, глухо сказал:

— Все подозревают что-то странное: кормчие были изумлены, когда я приказал им взять большие паруса, ненужные для битвы, и я должен был лгать, что паруса понадобятся для преследования неприятеля; моряки, начальники, цари и вожди удивились, что я повелел сжечь часть римских и египетских кораблей... Деллий и Аминта не верят моей искренности и шепчутся... Шепчутся и остальные римляне...

Схватившись за голову, он стоял так несколько мгновений с закрытыми глазами.

— Вели казнить Деллия и Аминту, — шепнула Клеопатра, обвивая его шею голыми руками и прижимаясь к нему нагим душистым телом.

Он очнулся и, грубо оттолкнув ее, выбежал из спальни.

Царица засмеялась: лицо ее стало как бы каменным, глаза — холодными. Тяжело дыша, она вынула из-под подушки игрушечный кинжал. Выдернув из головы волосок, она выпустила его из пальцев, следя, как он приближается к подставленному лезвию: волосок разделился на две части, и они, медленно покачиваясь в воздухе, поплыли вниз.

Клеопатра легла и, покрывшись одеялом, заснула. Сон был без сновидений. Проснувшись поздно и, кликнув Ирас, приказала подать горячего вина, свежего хлеба и меда. Это был ее завтрак.

Пока она ела, Хармион докладывала: на рассвете Антоний напал во главе нескольких когорт на лагерь Октавиана; приступ был отражен. Деллий и Аминта находились среди галатских конников: по-видимому, они опасались появляться без охраны.

Клеопатра слушала, жуя свежий хлеб, смазанный медом, и запивая его вином. Лицо ее зарумянилось, стало мягким, глаза — блестящими, и ямочки проступали на щеках — ямочки, любимые Антонием.

Накушавшись, она погрузилась в горячую воду цистерны, и невольницы, вымыв

ее, умащали благовонными маслами, присыпали ароматическими порошками подмышками, в складках и углублениях тела. А затем, завернув в тонкое полотно, понесли ее в спальню.

Целый день она скучала, пытаясь читать Платона, Эратосфена, Эврипида, принимаясь за стихи Алкея, Сапфо, — ничто не могло ее рассеять; она велела петь, играть и плясать рабыням, но и это наскучило ей. Даже женоподобный Алекс, развратный юноша, не мог доставить ей удовольствия своими шутками. Она прогнала его. Ожидание становилось невыносимым, — Антоний не шел, и все ей было не мило.

Марк Антоний!

Любила ли она его? Сегодня она желала его больше, чем когда-либо. Пусть он бьет ее, издевается, пусть плюет на нее, но лишь бы пришел, погрузил свои тяжелые руки в ее волосы, а ее, царицу, взял на руки, как ребенка, и носил, укачивая, по спальне.

Прогнав певиц, музыкантов и плясуней, она приказала Хармион читать стихи Вергилия. Латинский язык казался ей грубым варварским наречием, и она повелела прекратить чтение.

Был вечер на исходе. Наступала ночь, но Антоний не шел.

Раздраженная, она долго ворочалась на ложе и наконец забылась тревожным сном. Долго ли спала — не знала. Проснулась, как от толчка: среди спальни стоял Антоний, промокший насквозь: вода, стекая с его одежды, образовала большую лужу,

— Ты пришел? — ласково улыбнулась она, протягивая к нему руки. — Как ты промок! Сильный дождь?

Суровый, он не взял ее рук, только вымолвил упавшим голосом:

— Я устал, я измучился за этот день и ночь. Как было перенести на глазах всех сокровища на шестьдесят кораблей? Ночью свирепствовала буря, лил дождь, и верным рабам удалось это сделать... И все же ночная погрузка была замечена кем-то... Я видел, как два мужа убежали под ливнем, когда я их окликнул!..

— Деллий и Аминта?

— Не знаю.

— - Казни их, пока они не бежали к Цезарю! Антоний бросился к двери, кликнул Эроса,

— Возьми людей. Вот тессера. Задержать Деллия и Аминту, заковать в цепи...

— Прикажешь привести их сюда?

— Веди сюда. Скорее!

Ирас и Хармион, освободив Антония от намокшей одежды, насухо вытерли его тело и умастили мирром. Затем, кликнув невольниц, повелели принести мяса, сыра, вина и фруктов.

Полунагой, Антоний жадно ел, разрывая острыми зубами жареное мясо и запивая его вином.

Он кончал ужинать, когда вбежал, запыхавшись, Эрос.

— Что с тобой? — вскричал Антоний. — На тебе лица нет!..

— Измена, господин, измена! Деллий и Аминта бежали! Аминта увел с собой две тысячи галатов!..

Антоний, расплескивая вино (рука дрожала), поставил кубок на стол.

— Все бегут, — шепнул он, повернувшись к Эросу. — Ступай отдыхать.

— Господин, я лягу у порога, и если нужен буду... Опустив голову, Антоний молчал.

Клеопатра спрыгнула на пол и, подбежав к нему, сказала:

— Пусть бегут! И мы вскоре убежим... Не так ли, мой Озирис, мое сердце, моя душа?

Антоний молчал.

— Склонись на грудь Изида, отдохни. Не говорил ли ты, что устал? О, какое мужественное твоё тело, — говорила Клеопатра, покрывая его поцелуями, — о как хорошо оно пахнет, мой Озирис!.. Что задумался? Не горюй. Разве горевать — удел богов? Мы должны жить, наслаждаясь, и веселиться, наслаждаясь. Ведь мы — боги, господин мой, царь и супруг!

Антоний молчал.

— О, не томи меня, не доводи до слез! Ты слишком близко принимаешь все это к сердцу... Ведь мы решили, и ты не отступишься от своего слова — честного римского слова? Ты бросишь корабли и войска ради Изида, бросишь? О, скажи, мой Озирис, что ты не покинешь своей Изида, и я успокоюсь. Я люблю тебя больше всего... больше всех... даже больше наших детей... Я готова мыть твои ноги и пить эту воду... Я готова...

Она опустилась перед ним на колени и страстно целовала его босые ноги.

XXIV

Битви при Актионе оказалась постыдной комедией, искусно разыгранной на глазах всех и почти никем не понятой, а главными гистрионами ее были Антоний, Клеопатра, Эрос и Канидий.

Все совершилось, как было задумано: разгорался бой все ожесточеннее и ожесточеннее, сыпались камни, стрелы, зловеще скрипели крючья, трещали кормы, рули, весла.

Находясь в тылу выстроившихся кораблей Антония, Клеопатра наблюдала за боем: легкие суда Октавиана быстро убегали от стрел и камней, выбрасываемых баллистами и катапультами грузных кораблей Антония, Нападая, отступая, пуская зажигательные стрелы, бросая крючья, воины Антония сражались с остервенением на перекидных мостиках, и уже кипела отчаянная битва на палубах, Люди падали в воду, шли ко дну. Крики моряков, приказания префектов не умолкали.

Подул благоприятный ветер, и царица, подняв руку, воскликнула:

— Пора. Вперед!

Египетские пентеры с распущенными пурпурными парусами двинулись на сражавшиеся корабли, искусно обошли их и повернули к Пелопоннесу. Одна пентера отделилась от египетских кораблей, подошла к тяжелому судну Антония, и проконсул, прыгнув в нее с Алексом и двумя друзьями, приказал плыть вслед за Клеопатрой.

Попутный ветер шумел, надувая паруса, пентера быстро скользила по морю, и Антоний, чувствуя в сердце ужас (впервые он покидал войска на произвол Случая), дрожал всем телом, глядя обезумевшими глазами на берега Греции, на острова, проклиная себя, а еще больше египтянку.

~ Да будет проклята она, толкнувшая меня на преступление... Проклятье земле Кем, взрастившей на своем лоне эту сорную траву!..

Он ненавидел ее в эту минуту.

Пентера удалялась, и удалялись его победа, любовь и привязанность легионов, уважение военачальников, династов и тетрархов — все исчезало. И он один стоял перед своим позором и рвал на себе волосы.

О жизнь, обернувшаяся проклятьем и срамом!

О жизнь, расколота, как полено, предназначенное для? топки очага! Она кончится еще большими несчастьями, если он не освободится от царицы...

Освободиться?.. Но как?..

Бегство из-под Актиона не казалось ему решающим для исхода борьбы: он будет бороться с Октавианом, ему поможет Азия, весь Восток... Он заставит Клеопатру выдать ему все сокровища Лагидов, наймет сотни тысяч варваров... А теперь, теперь!.. Еще недавно в его руках была возможность победы: избегая морской битвы, он мог заманить неприятеля в глубь страны и — уничтожить...

Вернуться, пока не поздно?.. А не поздно ли?

Давно уже утих шум битвы, давно уже корабли обогнули берега островков, а он прислушивался, как будто звон оружия и крики моряков могли исправить страшную ошибку, совершенную с умыслом — в полном рассудке.

Битву при Актионе Клеопатра считала первым шагом к спасению Египта от римского нашествия. Уверенная в том, что Октавиан не осмелится напасть на Египет, имея против себя легионы Антония и многочисленные войска союзных восточных царей, а также корабли, уцелевшие после сражения при Актионе, она рассеянно смотрела на острова, возникавшие в дымке знойного дня, на мраморные храмы богов, портики. Она изредка поглядывала, скрытая за парусом, на Антония, сидевшего на корме. Прекрасное лицо ее лучилось сиянием, темные глаза похожи были на омуты Нила, на смугло-розоватых щеках цвета созревшего персика, над верхней губой и на округленном подбородке проступали ямочки, — она улыбалась.

— О чем задумался Дионис и мой господин? — вымолвила она мягким грудным голосом и, выйдя из-за паруса, положила руку на плечо Антония.

Римлянин не шевельнулся. Охватив голову руками, он сидел так третьи сутки, безучастный ко всему. Бегство с царицей из-под Актиона было самоубийством. Он думал, что корабли и легионы отступили, его слава померкла, и он, римлянин, связавший себя супружескими узами с египтянкой, не принадлежит уже Риму, потому что, став царем Египта, пошел против Рима. Страшная опустошенность души вызвала безволие, равнодушие ко всему, даже Клеопатра казалась ненавистной, и дети от нее — гибридами, как презрительно величал их Октавиан.

Повторив вопрос, Клеопатра отвела руки от его лица и, заглядывая ему в глаза, стала целовать его медленно, враскоряк, по восточному обычаю.

Антоний очнулся, взглянув на нее невидящими глазами, И вдруг злоба исказила его лицо, борода задергалась.

— Уйди, египтянка, — тихо сказал он, — иначе, клянусь Изидой...

Она отодвинулась от него, сияние исчезло с ее лица, внезапно ставшего безжизненным, как мрамор.

— Озирис угрожает Изиде, — нахмурилась она, — но может ли это быть...

Антоний вскочил, угрожающе поднял руку.

— Пусть Сет и Сехмет мучают тебя! — крикнул он в бешенстве. — Пусть черный Аменти...

Она не так испугалась, что он ударит ее в присутствии моряков, как его мрачных проклятий, и поспешно удалилась, вымолвив:

— Клянусь тем, кто спит в Абуфисе, — ты болен!

Сев на бочонок, Антоний погрузился в размышления.

Так он просидел много часов. Он ничего не видел, ничего не слышал — не помнил, когда спал или дремал, ел или пил. К нему подходили рабы, однако не осмеливались нарушить его молчания, и только дважды он был выведен из оцепенения вопросами Эроса и Хармион. Эрос спрашивал: «Не желает ли господин поесть?» Антоний отказался от еды, но потребовал вина. На вопрос же румянощекой Хармион, как он себя чувствует и не лучше ли ему прилечь, он дерзко ответил: «Пусть Изидыда спит без Озириса. Скоро она будет скитаться по миру, в поисках его разрозненных членов». Хармион хотела ответить дерзостью, но, одумавшись, опустила голову, поспешив уйти.

Антоний смотрел на паруса из тирского пурпура, надуваемые попутным ветром, прислушиваясь к бульканью воды за кормой, и ропот морских волн вызывал мысли о Гераклите: «Все течет, как эта вода. Течет жизнь, чтобы влиться в смерть и вылиться из нее в жизнь... Течет слава побед, чтоб исчезнуть в Лете или пробиться в воспоминаниях потомков к еще большей славе, украшенной вымыслами... Течет любовь и страсть, зарождая новую жизнь, пресекая ее или кромсая на части... Протекут поколения, их сменят новые, и все обратится в прах, станет пищей жадных червей... Что жизнь? Итог случайного соединения полов, подлое сластолюбие двоих, не помышляющих о должном рождении третьего, заранее обреченного на страдания и муки... Все течет...»

Очнулся. Эрос что-то говорил, указывая на приближавшийся берег Тенара.

Они высадились у мыса, и Антоний, первый сошедший на берег, услышал от рыбаков, что они уже знают о гибели его кораблей.

Смотрел, как Клеопатра, окруженная царедворцами и евнухами, сходила на берег. Он не пошел к ней, а подозвал Алекса, повелел ехать ему к Канидию с приказанием переправить легионы в Азию через Македонию.

Он старался убедить себя, что не все еще потеряно, но не верил этому: бегство из-под Актиона и оставление войск без вождя было началом конца. Это было ясно.

«А что, если...»

Схватился за голову, рвал на себе волосы.

— Проклятая любовь! Проклятая страсть! — шептал он. — Что значит семья — жена и дети — для мужа, борющегося за власть? Пусть они гибнут, лишь бы... О, египтянка, египтянка! Ты погубила меня, себя, всю нашу семью и династию Лагидов! Близок час, когда у нас не останется иного пути, как путь в Аменти!

XXV

Октавиан возвратился в Рим победителем Антония.

Узнав о смерти Саллюстия, он не огорчился — недолюбливал историографа за резкость суждений, чувствуя, что тот порицает его действия. Он приказал Меценату просмотреть рукописи Саллюстия и уничтожить сочинения, осуждающие деяния триумвиров.

Работа популяров, возбуждавших народ против тиранов, не пугала Октавиана: он был уверен, что плебс не осмелится теперь выступить против него. Этому немало

способствовали изменившиеся взгляды римского общества; если прежде оно ненавидело Октавиана, то теперь восхваляло его, обвиняя во всем побежденного: Антоний был виноват в том, что не восстановлена республика и попораны древние латинские права; что сокровищница Сатурна пуста, и авторитет Рима пал до такой степени, что на Востоке начались убийства италиков. Теперь на Антония валили все, что только было возможно: его обвиняли в недостатке продовольствия, в тяжелом положении плебеев, восхваляя Агриппу, благодетеля бедняков, давшего им работу; порицали за разврат с Клеопатрой, за развод с Октавией, за предательство моряков и легионов, брошенных на произвол судьбы, а о Клеопатре рассказывали грязные, чудовищные сплетни, величая ее «блудницей».

Зато Октавиана Рим встречал восторженно как победителя, позабыв недавнюю его тиранию и издевательства над народом. В честь его была воздвигнута почетная арка в Брундизии, через который он проезжал, соорудили арку также на форуме, украсили храм божественного Юлия носами кораблей, захваченных при Актионе, а когда Октавиан въезжал в Рим, навстречу ему вышли весталки, сенаторы и народ.

Радостно-возбужденный, Октавиан едва верил метаморфозе, происшедшей с римлянами: бледные щеки его тфпкжели, глаза блестели, и он то и дело оборачивался с улыбкой к Агриппе, как бы спрашивая его взглядом: «Что случилось? Не узнаю римлян». Агриппа, стараась казаться суровым, наклонял каждый раз голову, как бы показывая, что торжество вполне заслужено Цезарем.

А когда сенат постановил совершать игры в день победы при Актионе один раз в пятилетие, а в день рождения Октавиана — торжественные молебствия; когда всем членам фамилии Антониев было запрещено носить имя Марк, — Октавиан сказал Агриппе:

— Клянусь Юпитером! Я не ожидал такого приема от сената и римского народа.

— Ты еще больше обрадуешься, Цезарь, когда узнаешь о требовании общества; оно желает завоевания Египта, чтобы разрушить дело, почти завершенное Клеопатрой.

— О каком деле ты говоришь?

— Я говорю, Цезарь, о египетской монархии, расширенной Антонием и Клеопатрой до древних пределов.

Октавиан молчал. Покорение Египта было его заветной мечтой. Он спал и видел себя господином Египта: обезглавленный Антоний лежит, как падаль, на форуме, а Клеопатра, закованная в цепи, идет за его, Цезаря, триумфальной колесницей.

— Возможно ли? Антоний не уступит Египта без боя...

— Если римский сенат и народ требуют завоевания Египта, следовательно, нужно, Цезарь, готовиться к войне. — И добавил, нагнувшись к нему: — Завоевание Египта сделает тебя самым популярным мужем и единодержавным правителем Рима.

Взволнованный, Октавиан обнял Агриппу.

— О, если бы боги помогли нам! — говорил он, не отпуская его. — О, если бы помогли!.. Неужелл есть надежда, что борьба вскоре кончится?

— Я не сомневаюсь, Цезарь, что именно будет так, — сказал Агриппа. — Благодарю богов за победу и проси новых милостей.

— Что же ты мне посоветуешь? Агриппа задумался.

— Я советую тебе, Цезарь, отправиться в Азию.

Оставив в Италии Агриппу и Мецената, Октавиан уехал в Азию. Он поселился на Самосе и, разъезжая оттуда по прибрежным азиатским городам, готовился к войне с Египтом; управляя провинциями, он старался быть милостивым к чужеземцам, чтобы

заслужить их любовь. Однако главной целью его было привлечение царьков на свою сторону.

Щедро вознаградив Аминту, Филадельфа и Архелая, примкнувших к нему, Октавиан пытался убедить восточных царьков изменить Антонию, а так как многие колебались или не соглашались, то он, отняв у них владения, объявил их виновными в оскорблении величия Рима.

Из Египта поступали известия, доставляемые соглядатаями: совершались казни богачей и ограбления храмов для увеличения военной казны; золото и серебро тайком переносили во дворец; Цезарион и Антилл, сын Антония от Фульвии, были объявлены совершеннолетними (ходили слухи, что вскоре они будут назначены царями); производилась постройка кораблей в Александрии и на Красном море (александрийцы утверждали, что Антоний и Клеопатра собираются бежать в Индию и увезти свои сокровища); в разных странах спешно набирались войска, а к азиатским и африканским царям и правителям были отправлены послы, с требованием подтверждения прежних союзов.

Читая донесения, Октавиан морщил лоб; ужас охватывал его при мысли о поражении. Порою им овладевало непреодолимое желание послать к Антонию гонца с мирными предложениями. Но ведь не он, а римляне требуют завоевания Египта!

Он устал и страшно волновался. Друзья успокаивали, говоря, что военное дарование Антония не так уж велико, доказывая свою мысль расстановкой Антонием сил: не все войска стянуты в Египет, — в Кирене и Сирии находятся легионы.

— Антоний не уверен в преданности населения Кирены и Сирии, — сказал один из друзей, — и ты, Цезарь, можешь не опасаться: мы разобьем порознь его легионы, а затем бросимся на Египет.

Октавиан повеселел.

Вошел гонец, прибывший из Египта, и подал ему письмо.

Верный соглядатай сообщал, что александрийцы волнуются, народ в унынии, даже царский двор, охваченный страхом и растерянностью, не знает, как дальше жить, на что надеяться; золотая молодежь, составлявшая «общество неподражаемых», изменила свое название на имя «друзей смерти». Обеспокоенные Антоний и Клеопатра объявили большие празднества, чтобы успокоить народ.

Октавиан громко прочитал письмо друзьям.

— Мужайся, Цезарь! — послышались голоса. — Антоний обречен.

— Его положение — положение Помпея Великого, — сказал друг, говоривший о Кирене и Сирии. — Фатум, очевидно, не любит, когда муж Запада становится мужем Востока.

— О, если б это было так! — вскричал Октавиан. — Боги Олимпа, и ты, Юпитер Капитолийский, и ты, Венера, наша родительница, помогите мне покорить Египет для блага римского народа и уничтожить врагов, злоумышляющих против римской республики!

XXVI

Канидий привез в Александрию страшное известие — легионы Антония перешли на сторону Октавиана.

Воины, не веря слухам, распространяемым противником, что вождь бежал, ждали его несколько дней, не смея вступить в переговоры с Октавианом. Когда же стали разбегаться войска союзных царьков, а за ними начальники легионов, когорт и центурий; когда поползли новые слухи, более отвратительные, о бегстве проконсула с египтянкой воины обезумели от ярости: «Проклятие изменнику! — кричали они. — Пусть тешится со своей блудницей! Не нужно нам такого вождя!» Иные плакали, в бессильной злобе сжимая кулаки, угрожая ими через море Африке: «Пусть Фурии отомстят предателю! Пусть уничтожат его с египтянкой и их ублюдками!»

Канидий не осмелился передать проконсулу угроз и оскорблений разгневанных воинов, однако Антоний догадался. Он сказал подошедшей Клеопатре:

— Они правы, оскорбляя меня, Разве я не обещал им восстановить республику и возродить старые латинские нравы?

Клеопатра нагнулась к нему, зашептав на ухо:

— Увы, царь и владыка мой! Неужели не надоела тебе собачья грызня триумвиров за власть? А здесь, на святой земле Кем — в нашем Египте, жизнь тихая, безмятежная, как на Олимпе...

— Молчи. Ты боялась, что я разобью его при Актионе и отправлюсь в Рим, чтобы работать на благо квиритов... Ты опасалась, что останешься одна с детьми, без мужа-царя, и что сенат потребует присоединить Египет к Риму... Ты страшилась, что наши дети лишатся царственных владений...

— Господин мой, разве мои мысли не были твоими мыслями? — вкрадчиво сказала Клеопатра, обвивая его шею холеными руками, но Антоний резко освободился от нее.

— Сперва ты меня толкнула на войну, а затем, когда все было готово и я выступил, стала отговаривать.

Ссоры происходили часто между ними. Они обострились, когда в Египет прибыл Ирод. Каждый день, видясь с Антонием, он убеждал его убить Клеопатру, а Египет присоединить к Риму.

— Этим актом, — говорил он, — ты опровергнешь козни врагов, обвиняющих тебя в измене республике в пользу Клеопатры, и заслужишь восхищение Рима. Октавиан принужден будет заключить с тобой мир. Хотя царица — и супруга твоя, все же не доверяй коварной египтянке.

Антоний вспыхнул.

— Не сердись, божественный Озирис, — не смутившись, продолжал Ирод, пощипывая редкую бороду, — совет твоего верного слуги драгоценен. Обдумай, пока не поздно.

Антоний с негодованием отказался.

— Ты ошибся, Ирод, обратившись ко мне: я не убийца.

В эти дни Клеопатра была беспокойна, догадываясь об опасности. Узнав от Ирас, подслушавшей беседу Антония с Иродом, о решении мужа, она успокоилась. «Он не способен на такое дело, — подумала она не то насмешливо, не то презрительно, — любящий Антоний остается любящим Антонием».

Когда Ирод уехал, Антоний стал обдумывать, что делать. У него было одиннадцать легионов, корабли, деньги и множество друзей. Однако теперь он не пользовался авторитетом римского проконсула перед легионами. Греция и Азия перешли на сторону Октавиана, а шиитские царьки, бывшие союзники Антония, старались чанизать переговоры с победителем при Актионе. Стоило ли продолжать

борьбу? Но в Сирии и Кирене остались еще верные легионы. А Рим, возбуждаемый Октавианом, требовал наказать Клеопатру... Неужели прав Ирод? Неужели его совет — единственное спасение?

Однажды, когда Антоний сидел с Клеопатрой в саду, наслаждаясь смоквами и запивая их вином, к ним подошла гибкая стройноногая Ирас: из-под фиолетового хитона выглядывали розовые ноги, обутые в светлые сандалии. Протянув ему с поклоном письмо, она сказала:

— Пусть господин соизволит взглянуть на этот папирус.

— От кого?

— Пусть господин прочтет...

— От кого? — хмурясь, повторил Антоний.

— Предсказание врача и астролога Олимпа, — шепнула девушка так тихо, что даже Клеопатра, напрягая слух, ничего не услышала.

Антоний сломал восковую печать.

«Царь Египта, — читал он, — расположение планет и созвездий благоприятно для тебя. Торопись. Италия волнуется. Пошли надежных людей в Рим, подыми плебс и ветеранов, Только став господином Италии, ты, владыка страны Кем, кончишь победоносно войну».

Антоний оживился. С одиннадцатью легионами он сам немедленно отправится в Италию, наводнит ее своими людьми, которые путем подкупа склонят ветеранов на его сторону, а тогда, взяв Рим, он подымет весь Запад с Египтом против Греции и Азии и поразит вероломного Октавиана в самое сердце...

Он высказал свою мысль Клеопатре, но царица только покачала головою, подумав: «При Актионе я помешала ему проникнуть в Италию, следовательно и теперь он не должен помышлять об этом».

— Царь и владыка, — сказала она, притворно заливаясь слезами, — вся Италия против тебя, и неужели я допущу, чтобы ты жертвовал своей драгоценной жизнью ради призрачного благоденствия Рима? Вспомни о непостоянстве Рима по отношению к Сексту Помпею и к тебе: Рим отвернулся от побежденного Секста, а после Актиона и от тебя. Вот IX эпода жалкого льстеца и лизоблюда Горация — читай. Он прославляет трусливого Октавиана и оскорбляет меня, твою супругу; он пишет, что римляне стали рабами, повинувшись египетской царице и ее евнухам. Прочти, как он пишет обо мне! И после этого ты еще думаешь служить людям, которые подлы, вероломны, трусливы и продажны!

— Тем более, — подхватила Хармион, — что Октавиан не гнушается грязью, которой поливает наших царя и царицу...

Нахмурившись, Антоний возразил:

— Не было еще случая, чтобы Октавиан оскорблял публично женщину... в особенности супругу высшего магистрата...

— Не было? — вскричала Клеопатра, и глаза ее зажглись торжеством. — О, лежковерный супруг! Вспомни Фульвию...

— Фульвию?... Октавиан поступил благородно, отпустив ее на волю после взятия Перузии...

Засмеявшись, Клеопатра повелела Ирас принести эпиграмму Октавиана на Фульвию. Затем, обращаясь по-египетски к полунагой прислужнице, медно-золотистое тело которой лоснилось на солнце, приказала придвинуть столик.

Ирас принесла воцеленные дощечки и положила их перед царицей. Хармион

придвинулась к столику. Девушки не понимали по-латыни, и было им любопытно, как отнесется Антоний к стихам Октавиана.

Клеопатра стала читать нараспев, произнося слова не как римляне, и Антонию неприятно было слушать родную речь, искажаемую чужестранкою. Но еще неприятнее был смысл стихов, и проконсул сдерживался, чтобы не вырвать таблички из рук царицы.

А Клеопатра читала:

Quod fuit Glaphyren Antonius, hanc mihi poenam Fulvia constituit, se quoque uti futuam. Fulviam ego ut futuam?²⁹

Взглянула на Антония.

— Продолжай, — сказал он, стараясь не выдать своего волнения.

Пропустив две незначительные строки, Клеопатра прочитала:

Aut futue, aut pugnemus, ait.³⁰

— Довольно! — крикнул Антоний. — Подпись?

— Вот она. Узнаешь?

Да, это была подпись Октавиана, точь-в-точь такая, какую он видел на договоре о триумвирате.

Не глядя на Клеопатру, Антоний вымолвил по-латыни:

— Habes semper armas contra me.³¹

Клеопатра не ответила — ямочки на щеках пропали, и только две — одна над верхней губой, а другая на подбородке — темнели в сгущавшихся сумерках.

Не дожидаясь ответа, Антоний ушел.

«Не лучше ли было не начинать вовсе борьбы? — думал он. — Живя с Октавией, благороднейшей из матрон, я работал бы с Октавианом на благо отечества, и жизнь моя была бы тиха и невозмутима. А я связался с Изидой, сошедшей на землю в образе женщины с небесным обликом, — и гибну. Не дано права смертному любить богиню».

С тоскою на сердце шел он из дворца по дорожке, уставленной с обеих сторон сфинксами. А потом бродил по городу в рабской одежде, не обращая внимания на красоты храмов, зданий и обелисков, не слыша говора разноязычной толпы. Проходили греки, египтяне, иудеи, римляне, множество рабов — черных, смуглых, бледных, румяных, темно-оливковых и желтых, и вся эта толпа шумела, смеялась, кричала, перекликалась.

Эрос, сопровождавший Антония, равнодушно смотрел на дорогие гиматии и белые тоги, на сверкавшие перстни и застёжки.

Антоний повернул на улицу, обсаженную деревьями. Это было место гулянья: навстречу медленно двигались женщины и девушки в роскошных нарядах, украшенные драгоценностями, проплывали, как в сказочном видении, лица кроткие, сияющие, гордые, надменные, одухотворенные — все красивые и прекрасные — глаза женщин с любопытством останавливались на Антонии. Его узнали, и Эрос поспешил увести господина к храму Посейдона. Здесь окружили их нищие, стоявшие

²⁹ Так как с Глафирией спит Антоний, мне в наказание за это Фульвия назначила, чтобы и с нею я спал. Чтобы я спал с Фульвией?

³⁰ Спи со мной, или будем сражаться, — говорит она.

³¹ У тебя всегда есть оружие против меня.

обыкновенно у колонн; они выпрашивали гнусавыми голосами милостыню.

— Что можно получить от рабов? — сказал им Эрос, и нищие отстали.

Пройдя мимо двух прямых остrokонечных обелисков, названных «иглами Клеопатры», Антоний направился к театру Адониса, а оттуда к палестре. Здесь некогда Клеопатра, Ирас и Хармион упражнялись в стрельбе из лука, в метании диска, играли в мяч, а он, никем не видимый прятался в полой статуе Геркулеса, любуясь формами нагих тел. Нет, не тел, а одного тела — ее тела! Она казалась розой, а те две — полевыми цветками. Тот, кто предпочтет простые цветки розе, безумец! И все-таки он, поссорившись с египтянкой, мечтал о них... Что с того, что они уступали в красоте царице? Формы их тел были безупречны, а груди — как спелые смоквы.

Они пересекли лучшую, чисто выметенную улицу Брухеиона — Канопоосскую — и вышли к музею. Эрос предполагал, что господин направится в юго-западную часть города — к Серапеиону, славившемуся великолепием зданий, но Антоний, вернувшись на Канопоосскую улицу, зашагал вправо.

«Что ему понадобилось в западной части города? — подумал вольноотпущенник. — Уж не к иудеям ли он идет?».

Пройдя около девяти стадиев, Антоний повернул опять вправо и вышел к гимназию. Усталости он не чувствовал, а Эроса не замечал, хотя и знал, что тот возле него. Мысли не давали покоя — перед глазами стояла Клеопатра. Он видел ямочки на ее спине и, преодолевая себя, старался не думать о ней...

Обойдя гимназий, он очутился опять на Канопоосской улице и, пересекши Брухеион против храма Посейдона, направился к полуострову, где ожидал его челн.

Был вечер. Еще издали увидел Антоний огромное рыжекудрое пламя, трепетавшее высоко над морем, обогренную пену волн, катившихся одна за другой к пристани. Усевшись в челн, он не спускал глаз с мраморного фаросского маяка. А над землей нависла огромная чаша неба, темная, как будто закопченная, и на ней трепетали крупные и мелкие россыпи золотых звезд.

Мысли о величии божества, создавшего природу, разлетались, — четыре ямочки маячили перед глазами. Он вздохнул и, подобрав плащ, накинутый поверх одежды, натянул его на голову, Весла мгновенно погрузились в воду, и берег отодвинулся на несколько локтей, потом больше и больше.

Подымаясь на башню к Олимпу, Антоний считал белые ступени мраморной лестницы. Насчитал сто сорок пять — число соответствовало тетрактиде, и это его успокоило.

Остановившись на площадке перед дверью, он оглянулся на море и город. На горизонте море пропадало в темноте, а ближе оно было освещено на несколько десятков стадиев. Позади лежал большой город, смутно белея многочисленными зданиями, и над ним подымалась из-за Нильской башни полная луна, похожая на красный шар.

Толкнув ногою дверь, Антоний проник в квадратную комнату, ярко освещенную сверху огнями маяка. Белобородый старик в длинной широкой одежде астролога и в высокой шапке, расшитой золотыми звездочками, сидел на ступенчатом треножнике, приложив глаз к длинной трубе, укрепленной на высоких ножках. Антоний смотрел, как старик нажимал рычажки, вращал колесики, — труба подымалась и опускалась. Здесь Антоний был впервые. Ему казалось, что он один во всем мире, а кругом — безлюдие, тишина.

— Что угодно царю Египта и проконсулу Рима от старого Олимпа? — спросил

старик, не оборачиваясь.

— Я помешал тебе, мудрец, но важное дело привело меня на маяк.

— Нет важнее дела, чем то, о котором, я тебе писал.

— Это так. Позволь, благородный Олимп, просить тебя раскрыть передо мной душу и сердце человека. Могу ли я узнать его чувства и помыслы?..

Олимп помолчал.

— Царь и проконсул, — заговорил он, — я знаю твои мысли. Ты хочешь знать, любит ли тебя она и что думает о тебе. Не перебивай меня. Ты знаешь, о ком идет речь, ибо ты пришел ко мне с мыслью о ней. Ты хочешь знать, что о тебе она мыслит, — повторил он, — а что замышляет — ты не хочешь знать...

— Замышлять можно только дурное, — сказал Антоний. — А так как царица — моя супруга...

— То ты исключаяешь замыслы, а хочешь знать помыслы. Так я тебя понял, царь и проконсул?

— Поистине я поражен, премудрый Олимп, твоей способностью читать в сердцах людей. Да, я хочу знать, любит ли она и что думает обо мне.

Олимп покачал головою.

— Не лучше ли тебе подождать моего ответа? Каков бы он ни был — приготовься к нему, удались от людей, как Тимон, обдумай свою жизнь. Вспомни, как он обращался к людям: «Умрите вы, собаки, собачьей смертью».

— Что мне люди, Олимп? Я спрашиваю о ней.

— А разве она не человек? Антоний пошатнулся.

— Что ты сказал, Олимп? — выговорил он упавшим голосом. — Я не ослышался? И она — человек! Ха-ха-ха! И она... «Умрите вы, собаки, собачьей смертью»... И она... Олимп, так ли я тебя понял?..

Олимп опустил голову.

— Говори же! — крикнул Антоний.

— Да, господин, ты меня верно понял. Так говорят созвездия, клянусь тем, кто спит в Тапе.³² И ты станешь мизантропом, если не последуешь одному из советов, данных тебе мной и Иродом, царем иудейским. Не медли же, пока не поздно. В книге пророчеств земли Кем сказано, что после народов Греции бог Харсефи пошлет на нашу землю вождя, который объединит народы всего мира. Будь же им, царь и проконсул! Не слушай ничьих коварных советов, кроме моего!

Антоний молчал — он как-то сгорбился, лицо его утратило природную живость, глаза потухли. Он стоял, опустив руки, и тяжело дышал.

— Подай господину воды, — приказал Олимп вольноотпущеннику.

Антоний глотнул из чаши, которую держал Эрос, и, не глядя на Олимпа, вымолвил:

— Поздно... поздно... Не все ли равно теперь, как кончится жизнь? Зачем мне власть над миром? К чему борьба, если царица — собака? Ты, кажется, так сказал, Олимп? О Пта, живущий в белостенном Мемфисе! Вразуми, стоит ли жить после всего этого? Ради нее я покинул честнейшую и благороднейшую жену, которая воспитывает моих детей... Ради нее я потерял тысячи верных легионариев и сотни друзей... Кому же тогда верить, если близкий достоин презрения? Скажи, Олимп, кому...

— Господин, ты испепелил два сердца: вспомни Фульвию и Октавию! Не так ли

³² Египетское название Фив.

терзались и они? И вот рука римской Немезиды: она нанесла тебе первый удар, но страшись более грозных и тяжелых ударов!...:

Антоний взглянул на него дикими глазами.

— Раб, как смеешь так говорить с царем и проконсулом? — яростно крикнул он и, схватив старика за бороду, швырнул его на каменные плиты. — Поучай невольников, таких же безмозглых, как сам, морочь им головы глупостями, а меня не обманешь. Еще неизвестно, правду ли ты мне сказал? Но если солгал, умрешь под пыткой — клянусь владыкой Аменти!

И не глядя на Олимпа, лежавшего без чувств на плитах, он вышел из башни.

С моря дул влажный ветер, волны резвее набегали на берег, и слышно было, как цепи, преграждавшие кораблям доступ в гавань, ржаво поскрипывали.

«Бессмертные звезды так же горят, — подумал он, взглянув на небо, — как горели во времена Сети I, его сына Рамзеса II и нашествия гиксов. И так же, спустя тысячелетия, будут они светить над новыми царствами и новыми народами, а память о нас канет в Лету: никто никогда не узнает, что жил некогда Антоний, военачальник Цезаря, сошедший с ума от любви к египтянке, и Клеопатра, погубившая его...»

Не мог думать.

Быстро; сбежал по ступеням к челну, дожидавшемуся в бухточке.

Берег Александрии приближался.

— Кто плывет? — закричал часовой из дозорного челна, пересекшего им путь.

— Разве не видишь? — огрызнулся Эрос. — Это римский проконсул Антоний, да хранят его Озирис и Изида!

XXVII

Популяры возбуждали против Октавиана ветеранов, отпущенных без вознаграждения. Вся Италия опять волновалась, покорная призыву популяров восстать против тирана.

— Долой Агриппу и Мецената! — кричали Лициния, Понтий и Милихий на форумах городков, разъезжая из одной муниципии в другую. — Пока Октавиан в Азии — победа обеспечена. Пользуйтесь случаем.

Ветераны кричали, что они обмануты Цезарем, и требовали наград. Агриппа и Меценат были не в силах успокоить толпы воинов, прибывавших в Рим и требовавших обещанных денег и подарков.

На улицах происходили сходки. Сам Агриппа слышал, как толпа кричала:

— Перебьем сенат, а Рим сождем! Вернется Цезарь — расправимся и с ним.

Агриппа, муж спокойный и невозмутимый, испугался. Он послал в Азию тайком ото всех, даже от друзей, гонца на маленьком судне, повелев как можно скорее передать письмо Октавиану.

Ответное письмо было лаконично: приказывая созвать в Брундизий ветеранов, Октавиан сообщал, что выезжает в Италию.

В конце января в Брундизий собрались ветераны, сенаторы и всадники. Ожидая Октавиана, Агриппа волновался — ветераны, возбуждаемые популярами, были беспокойны.

Прибыв ночью, Октавиан уединился с Агриппою. Оба были того мнения, что

ветеранам нужно дать деньги и земли. А где взять? Решено было купить у италийских муниципий большую часть земель, а у городов, отказавшихся от присяги (это были колонии, отведенные для ветеранов Антония), отнять земли и дать им взамен участки в окрестностях полуразрушенных городов Италии и в Греции. Агриппа указал на земли Диррахия, Филипп и нескольких приморских городков, и Октавиан тотчас же согласился, не помышляя о том, что это решение может вызвать недовольство среди ветеранов Антония.

— А чем ты думаешь заплатить за эти земли? — спросил Агриппа. — Не будешь же ты проскрибировать ни в чем не повинных греков!

— Друг, ты забываешь о сокровищах Лагидов, — нагло улыбнулся Октавиан. — После смерти высоких любовников все будет наше!

— Будущее, Цезарь, не в наших руках. Разве можно с уверенностью говорить о распределении неполученных богатств? Кроме того, ты умалчиваешь, Цезарь, о деньгах, которые нужно дать ветеранам...

— Часть денег я возьму из своих средств, часть должны дать друзья...

Агриппа поморщился, но промолчал.

На другой день, собрав ветеранов, Октавиан произнес речь: она была сплошь пересыпана обещаниями, лестью и выпадами против популяров, «которые, — говорил он, — мутят вас, доблестных сынов Рима, не помышляя вовсе о благе отечества и народа».

— Завоевание Египта, — добавил он, — даст римской республике большие средства. Италия обеднела, и ее нужно поднять за счет богатого Египта, — этого требует сенат и народ. Даже боги, являясь благочестивым мужам в сновидениях, обещают помочь нам в этом деле.

Ветераны угрюмо молчали. Речь Октавиана не удовлетворила их: сколько раз они слышали его обещания, сколько раз надеялись получить деньги и сколько раз возвращались домой ни с чем!

Поняв, что одних обещаний мало, Октавиан заключил речь возгласом:

— Скоро вы получите часть денег! А когда будет завоеван Египет — и остальные деньги!.. Слышишь, Агриппа, — обратился он к другу, — позаботься выдать этим доблестным ветеранам деньги, и только поскорее! Я не уеду в Азию до тех пор, пока эти храбрецы не будут удовлетворены.

Лица ветеранов просветлели. Громкие крики разнеслись, нарастая, по городу:

— Да здравствует Цезарь! Слава, слава!..

Октавиан сдержал слово и на время остался в Италии. Он даже пытался продать свои виллы, побуждая к этому и своих друзей, однако покупателей не нашлось, — так бедна была Италия! Главной заботой его было успокоить ветеранов, — он боялся, как бы Антоний не послал в Италию эмиссаров для набора недовольных воинов. И, когда ветераны, получив наконец деньги, успокоились, Октавиан поспешно выехал в Азию, чтобы продолжать приготовления к походу в Египет.

XXVIII

Сомнения мучили Антония. Он не мог видеть Клеопатру и потому не вернулся во дворец. Он даже не хотел о ней думать, но глаза, заживавшие лицо ее сиянием,

преследовали его день и ночь. Он мучился, похудел. Мысли о детях; живущих в царском дворце на Лохиасе, не давали покоя; желая видеть их, он почему-то откладывал поездку.

Сначала он жил в избушке рыбака за городом, против Фароса, и часто виделся с друзьями. Прогуливаясь с ними, он наблюдал, как рабы-землекопы сооружали для него насыпь у моря. А когда рядом с рыбацкой хижинкой был выстроен скромный домик, названный друзьями «маленьким дворцом», а Антонием — «Тимоновым жилищем», он поселился в нем, решив избегать людей. Казалось, прошлого для него не существовало: живет на берегу моря отшельник, занимается философией, ненавидит людей и только терпит над собой власть красивых девушек.

Но Клеопатра не давала покоя письмами. Однажды приехала Ирас с приглашением царицы вернуться во дворец, и пока челн с гребцами дожидался у мыса, Антоний, беседуя с ней, объявил, что будет вести образ жизни Тимона.

— Моя судьба — его судьба, — говорил он, лаская Ирас, — друзья и близкие оказались предателями, я никому не верю и всех ненавижу. Только к тебе, маленькая Ирас, испытываю нежность... Не веришь?.. Клянусь пресветлым Аммоном-Ра!

О царице он даже не спросил. Несколько раз Клеопатра посылала к нему Ирас и Хармион, умоляя возвратиться если не к ней, то к детям (лицемерные слова, не обманувшие даже легковверного Антония), «Тимон» был непреклонен. И только рассказ прибывшего Канидия поразил его, как удар обухом в темя: Ирод перешел на сторону Октавиана! Возможно ли? Ирод, коварно советовавший... Ирод, хитрая лисица... продажная тварь!..

Долго оставался удрученный Антоний в полном безмолвии.

— У тебя остался один Египет, — сказал наконец Канидий, — все цари отпали... Решай, что делать.

Антоний улыбнулся, — лицо его просветлело, точно он услышал радостную весть.

— Жить! Петь и веселиться перед смертью! — воскликнул он и приказал рабам готовиться к переезду в Александрию. — Римляне умеют умирать, — прибавил он по латыни, подходя к зеркалу: на него смотрел седоволосый муж, с белой бородой, морщинистый, с впалыми глазами и белой щетиной небритых щек.

Кликнул Эроса и, приказав позвать брадобрея и гладильщиков кожи, уселся перед зеркалом. Спустя две клепсы перед Канидием стоял прежний Антоний с черной бородой и без морщин.

— Попробуем провести старого Хроноса, — пошутил он, — может быть, мой вид обманет его, и он пройдет мимо...

Антоний быстро вошел в спальню царицы, оттолкнув евнуха Мардиона, попавшегося навстречу, и, повелев Ирас и Хармион, которые выщипывали волоски на теле Клеопатры, удалиться, сказал:

— Октавиан напал на Сирию, а поэт Корнелий Галл — на Кирену. Сирия сдалась без боя, и правитель ее приказал эрембам сжечь наши корабли в Красном море. Киренские легионы перешли на сторону Октавиана. Даже Ирод изменил, Ирод! Одарив Октавиана большими деньгами, он обещал ему продовольствие. О боги! если вы против нас, то почему же и люди враждебны к нам?

Богохульствуя и проклиная продажных военачальников, он рвал на себе волосы и кричал, обращаясь к царице:

— Да просветит тебя Тот! Вот итоги твоей женской глупости! Бегство из-под

Актиона погубило нас! Что так смотришь? Призови на помощь царей и династов — ни один не пойдет! Ни один!..

Клеопатра лежала, не шевелясь. Отчаяние Антония передалось и ей. Неужели все потеряно? Неужели Египет будет проглочен Римом, а она свергнута с престола Лагидов? Нет, она не допустит этого! Она испробует все средства, пойдет на все. Разве она не красавица и разве тело ее не бесподобно? Телом, только телом можно спасти землю Кем, спасти детей и спастись самой!.. Она пойдет на все.

— Что же ты молчишь? — вскричал Антоний, видя, что она, обнаженная, продолжает валяться на ложе, как простибула, ожидающая гостя. — Говори!

Клеопатра холодно взглянула на цего.

— Полководец должен найти выход из положения... Не я, а ты довел нас до этих позорных дней. Что ты думал, что делал, когда Цезарь находился в Азии, когда восстали ветераны? Почему ты спал?

— Египтянка!

— Ты упрекаешь меня Актионом, — безжалостно продолжала царица, — а ведь я спасла тебя от поражения, ты не устоял бы в борьбе...

— Молчи! Молчи, проклятая! — крикнул Антоний. — Еще слово — и я убью тебя, подлая лицемерка!

Он выбежал из спальни в сильном раздражении» едва сознавая, где находится. Шел по улице Александрии, направляясь к морю. На душе было пусто, мыслей почти не было, — они пролетали стороною, и только одна мысль большая, как летучая мышь, билась в его мозгу: «Киренские легионы! Изменили!»

Выйдя на мол, он разыскал пустынное место и, обнажив грудь, нащупал, где билось сердце. Затем, вынув кинжал, он твердой рукой направил лезвие в грудь.

Сильная рука ухватила его сзади, вырвала кинжал. Разъяренный, Антоний обернулся: перед ним стоял Эрос, бледный, взволнованный, решительный.

— Ты? Как посмел? — сдавленным шолотом выговорил Антоний, дрожа и задыхаясь.

— Подожди, господин! Умереть всегда успеем. Еще не время. Борьба не кончена.

— Я не могу жить... Мои Киренские легионы! — простонал Антоний, опускаясь на песок и в отчаянии сжимая голову. — Все кончено...

— Нет, не все еще... Обдумаем, что делать. Если ты желаешь выслушать меня...

— Говори.

— Пошли к Октавиану посольство, притворись, что ты желаешь мира. А пока будут продолжаться переговоры, отправляйся в Паретоний, попытайся вернуть свои легионы...

Подумав, Антоний согласился.

Вечером он отправил посольство, а сам выехал в со провождении Эроса и нескольких друзей в Паретоний. В биреме Эрос обратился к озабоченному Антонию:

— Перед нашим отъездом я случайно узнал, что и -царица отправила послов к Цезарю. И я думал: «Два посольства лучше, чем одно».

— Ты думаешь? — подозрительно взглянул на него Антоний. — А знаешь ли, что предлагает египтянка? Знаешь ли ее условия?

— Не знаю.

Антоний молчал, задумавшись.

Вольноотпущенник Октавиана проник ночью в спальню царицы, которая его ожидала.

Клеопатра схватила письмо и, повелев Ирас придвинуть к ложу светильню, жадно читала:

«Гай Юлий Цезарь Октавиан — Клеопатре, царице Нижнего и Верхнего Египта — привет и добрые пожелания.

Письмо твое взволновало меня до такой степени, что — клянусь Афродитой! — я не нахожу себе места от радости и очарования. Как хороша жизнь, думаю я, вспоминая о тебе, прекраснейшей из прекрасных, и шепчу с упоением твое имя, в мыслях обнимая тебя со всей страстью влюбленного мужа. Я влюблен в тебя и готов па все — готов даже оставить тебе Египет, если ты погубишь моего счастливого соперника, не отстающего от тебя ни на шаг. Ревнуя тебя к нему, я не успокоюсь до тех пор, пока он не умрет».

Больше царица не читала. Веря Октавиану, она шептала с презрительной улыбкою:

— И этот влюблен... О боги! Как мерзки и отвратительны мужи!

Засмеявшись, она кликнула Ирас и Хармион, повелев узнать, не возвратился ли уже Антоний из-под Паретония.

Оказалось, что он, крайне расстроенный, прибыл рано утром и заперся в спальне Эроса. Как ни расспрашивала Клеопатра Ирас и Хармион о новостях, девушки ничего не могли сказать.

Обеспокоенная, она решила отправиться к Антонию.

Но прежде чем выйти из спальни, написала наспех два письма и, вручив их Хармион, сказала:

— Это письмо передай вольноотпущеннику Октавиана и скажи ему, чтобы привез ответ, а это письмо пошли с гонцом к военачальнику, защищающему Пелузий. Торопись. Обе вы будете сопровождать меня к Антонию.

Однако проконсул не принял Клеопатру. Из спальни вышел Эрос и, доложив царице, что господин спит, сообщил о неудаче: легионы отказались от Антония, и он потерял у Паретония даже часть своих кораблей.

— Господин удручен, — говорил Эрос, вздыхая. — О, какой это великий полководец! Если бы не было измены, он отстоял бы не только Египет, но Азию, Италию и весь мир!

Клеопатра выдержала пристальный взгляд Эроса. Какая буря поднялась в ее душе, какая жалость к себе и к Антонию, и к детям! Она делала все, что могла, что находила нужным. Она пойдет избранным однажды путем и не свернет с него: если позор — пусть позор, если смерть — пусть смерть!

XXIX

Два мужа бежали от гавани по улицам Александрии: один — впереди, другой старался догнать его и отставал. Это были Антоний и Эрос,

Жители расступались, узнавая проконсула: вид его был страшен. С растрепанными волосами, с осунувшимся лицом, потный, он бежал, направляясь ко дворцу.

Ворвавшись в покои Клеопатры, Антоний спросил Хармион, выглянувшую из спальни:

— Где царица?

По взволнованному лицу его она догадалась, что произошло что-то страшное, непоправимое, и тотчас же мысль о Пелузии охватила ее с такой силой, что сердце забилось.

— Царица? Она купается...

Схватив Хармион за руки и увлекая ее за статую Гермафродита, Антоний шепнул:

— Она предала меня... Пелузий сдался...

— Прости, царь и владыка, я ничего не знаю, — солгала Хармион, не отнимая рук и не спуская блестящих глаз с Антония. — Царица скоро выйдет...

— Будь она проклята, изменница!..

— Царь, ты, наверно, ошибаешься...

— Нет, нет! Легионы, на которые я надеялся... Но ты, Хармион, первая советница царицы, неужели ты ничего не слыхала, ничего не знаешь?..

Сердце Хармион сильно билось. Могла ли она предать госпожу и царицу? Нет, она ничего не скажет. Пусть Клеопатра объясняется с Антонием, как знает, А она, Хармион, лишь верная служанка царицы.

— Увы, господин мой, я ничего не знаю. Разве царица отдает мне отчет в своих действиях?

Переписка Клеопатры с Октавианом возмущала девушек, и Хармион пыталась внушить царице, что Цезарь не любит ее, а притворяется, желая захватить сокровища Лагидов. Но Клеопатра, уверенная в силе своей красоты и обаяния, не хотела верить, что письма Октавиана — ложь и обман. А девушка не унималась, утверждая, что Октавиан желает смерти Антония от руки царицы вовсе не потому, чтобы избавиться от соперника, а затем, чтобы обвинить Клеопатру в преступлении и отомстить за Антония. «И он, не задумываясь, казнит тебя», — говорила Хармион. А когда царица ударила ее по щеке и вцепилась ей в волосы, девушка решила молчать и не вмешиваться в дела Клеопатры.

И все же она любила царицу так же, как Ирас, — жизнь без Клеопатры казалась девушкам невыносимой, и обе, привязанные к ней, готовы были на всевозможные оскорбления и помыкания, лишь бы угодить царице и заслужить ее любовь и покровительство.

Изменить? Нет, Хармион не могла. А ведь Антоний благоволил к ней, не отпускал ее рук, и стоило бы ей только захотеть... Нет, нет! А Ирас? Разве можно ее бросить? Она так любит Хармион!

Отпустив руки девушки, Антоний стал дожидаться Клеопатру.

Сдача легионами Пелузия почти без боя потрясла Антония. Войска, на которые он надеялся, не защищались, изменили... Октавиан приближается., Как сопротивляться, когда всюду измена, продажность и трусость?

Лишь теперь понял он ошибочность своей политики; виною всему была Клеопатра. Она, только она разрушила все его стремления, подгрызши, как черная плотоядная египетская крыса, устои его могущества, поработив его душу, подчинив и его самого, и его мысли страшной власти Тела. Он понимал, что она погубила его, привязав к себе...

Был ли он слабоволен? Нет, во всем он проявлял сильную волю — и в государственных делах, и в решениях триумвиров, и в военных походах, и только в одном его воля слабела, подчиняясь чужой воле, даже не воле, а созерцанию Красоты-Наготы, обаянию Тела, которое поглощало волю.

Клеопатра входила в спальню. Ее умащенное тело блестело, и сияние исходило от ее прекрасного лица.

Антоний встал.

— Октавиан овладел Пелузием без боя! — крикнул он. — Это ты велела Селевку не защищать Пелузий!

— Я... велела?.. — удивилась Клеопатра. — Нет! Ничего я не знаю, что делается на войне. Если ты подозреваешь Селевка в измене, вели казнить его жену и детей... Не желаешь? Твое дело. Прошу тебя, сядь и успокойся... Ирас, подай мне прозрачную опояску... Да, это большое несчастье... Нужно готовиться к защите Александрии. Ты уже принял меры? Пехота, конница и корабли, говоришь, готовы? Очень хорошо.

— Сегодня и завтра я выпущу воинственные эдикты, чтобы ободрить население...

— Очень хорошо, — повторила Клеопатра, подходя к зеркалу.

Разбив передовые отряды Октавиана, подошедшие к Канопоским воротам и пытавшиеся овладеть гипподромом, Антоний преследовал их, во главе всадников, до неприятельского лагеря.

Радостный, он вернулся в Александрию, предложив Клеопатре наградить наиболее отличившегося воина.

Вечером Антоний узнал, что награжденный всадник перешел на сторону Октавиана. А утром, когда египетские корабли выступили против судов Цезаря, он, обезумев от ужаса, видел, как моряки, подняв весла в знак приветствия, тоже перешли на сторону противника.

Антоний был в отчаянии. Он стоял, как окаменелый, и мысль об измене Клеопатры утверждалась в его сердце со страшной ясностью.

— Господин, легионы изменили, — сказал Эрос, подбегая к нему. — Царица предала тебя...

— Я подозревал это, давно подозревал, еще тогда... помнишь? О боги! — воскликнул он. — А я за нее сражался!

Задышавшись, он, грузный, сошлем бежал по улицам, и за ним следовал Эрос, верный слуга.

«Убить предательницу, а затем умереть, — осаждали его мысли, — убить, чтобы не досталась бесстыдная блудница в руки Октавиана... убить — погрузить кинжал в вероломное египетское сердце... изуродовать ее прекрасное лицо»...

Он дрожал от ярости и ненависти, вбегая в царские покои. Всюду — пусто, ни одного человека. Молчание, вязкое и томительное, надвинулось на него. Только со двора доносилось пение птиц, заключенных в клетки, да кричал попугай греческие и латинские слова.

— Проклятая египтянка! — сказал Эрос, принимаясь звать громким голосом рабов и невольниц.

Появились несколько человек, и вольноотпущенник спросил, куда девалась царица. Они не знали.

...Сидя на Клеопатрином ложе, Антоний потрясал кулаками. Предан! Всеми покинут! Даже та, которую он считал своим светочем («lux mea» — не так ли называл Цицерон свою Туллию?), не только предала его, но и бежала... О, проклятая, трижды проклятая простибула, достойная жгучих ударов бичей и скорпионов на городской площади!..

Вошел вестник и, подойдя к Антонию, грубо сказал, не скрывая своей радости:

— Что сидишь здесь, господин? Царица не вернется: она кончила свою жизнь при

помощи кинжала!..

Вскрикнув, Антоний вскочил.

Побледнев от ярости, Эрос схватил вестника за горло:

— С кем говоришь, ядовитая ехидна, низкий раб? Не забывайся, что он — царь, а ты — навоз!

Вырвавшись, вестник крикнул:

— Цезарь вступил в город, и ты будешь повешен...

Эрос выхватил меч и ударил его наотмашь по шее, — хлынула кровь, и человек грохнулся на пол.

— Умерла, умерла, — шептал Антоний. — А я... что же я живу, одинокий?..

Шатаясь, он подошел к Эросу и, обняв его, зарыдал.

— О, друг мой, — говорил он, — ты один у меня остался, один... В стране Кем, проклятой богами, жила она, царствуя... И она погубила меня и себя... О, друг Эрос! Окажи мне последнюю услугу — подставь меч свой, чтобы я мог...

Вольноотпущенник молча плакал.

— О, прошу тебя во имя дружбы и любви...

И, обнимая Эроса, Антоний целовал его, пачкая одежду кровью, капавшей с меча вольноотпущенника.

— Отвернись, царь, господин и друг! — дрогнувшим голосом вымолвил Эрос и, выхватив кинжал, вонзил его себе в сердце.

Антоний обернулся на шум упавшего тела.

— Благодарю тебя, друг и брат, за пример! — воскликнул он и, ударив себя мечом в живот, упал на ложе.

Он лежал, истекая кровью, тихо стелая и умоляя рабов прикончить его, но те разбегались, плача от жалости.

И он опять остался одиноким, даже более одиноким, чем был несколько часов назад, потому что тогда с ним был Эрос, а теперь и его не было: мертвый, вольноотпущенник лежал, разметавшись на ковре, и лицо его было спокойно, точно он заснул.

Антоний кричал, призывая к себе людей, но никто не шел. Крики его разносились по опустевшему дворцу.

Наконец в дверях появился писец Клеопатры и объявил, что она жива. Сбежались и рабы Антония.

— Перенесите меня к царице, — приказал Антоний, — там я и умру...

Его подняли и медленно понесли. Кровь лилась у него из живота, и каждый шаг рабов был обозначен кровавыми пятнами.

XXX

Страшась гнева Антония, предательница скрылась в гробницу, куда приказала перенести все сокровища Лагидов. С ней находились Ирас и Хармион.

Вход в гробницу был прегражден плотной железной решеткой — защита от сторонников Октавиана, бродивших неподалеку, и женщины сообщались с внешним миром через окна при помощи цепей и веревок.

Увидев издали окровавленного Антония, которого несли рабы, Клеопатра

подумала, что он умер, и радость блеснула в ее глазах. Но, когда она узнала, что он еще жив и сильно страдает, ее охватила злоба: этот муж смеет еще жить и мешать ей привести планы в исполнение! Однако она сдержалась и, притворившись влюбленной, горестно всплеснула руками. Даже Ирас и Хармион возмутило лицемерие царицы, и девушки растерянно переглянулись.

— О, супруг мой! о царь мой! — рыдала, ломая руки, Клеопатра, в то время как Ирас и Хармион опускали из окна цепи и веревки, к которым рабы привязывали Антония.

Девушки не могли справиться с тяжелым грузом, и царица принялась помогать им: втроем они подымали вверх бледного, залитого кровью тучного мужа, а снизу рабы помогали им, поддерживая его.

— О супруг мой! О царь мой! — не переставая, вопила Клеопатра, и слезы катились из ее глаз.

С трудом втащили его в окно и медленно, спотыкаясь и задыхаясь от тяжести, перенесли на ложе.

Разорвав на себе одежды, царица обнажила груди и, царапая их острыми ногтями (выступала кровь), припала с рыданиями к окровавленному животу Антония. Пачкая свое лицо в крови римлянина, она говорила:

— О господин мой, супруг любимый и высший властелин! Какое для меня горе видеть тебя, умирающего, и не иметь возможности спасти тебя! О судьба, не щадящая несчастных! О боги, вззирающие безучастно на печальный удел смертных!..

Силы оставляли Антония.

— Вина, — попросил он.

Проворная Ирас налила до краев большой фиал и, приподняв ему голову, поднесла к его губам.

— Пей, господин мой, — шепнула она, и слеза покатилась по ее щеке.

Антоний взял ее руку и сжал.

Ирас, сдерживая рыдания, поспешно отошла. Глаза Антония оживились. Взглянув на Клеопатру (лицо ее было выпачкано его кровью), Антоний сказал:

— Много ошибок делаем мы в своей жизни. Ты, Клеопатра, сделала их больше, чем следовало, и последствия будут ужасны, но все же ты должна принять меры к своему спасению... А меня жалеть нечего: я воспользовался всеми благами жизни, взял от нее все, что можно было взять; я был самым знаменитым среди людей, стал царем и могущественнейшим из смертных... И гибну я не без славы, как римлянин, пораженный римлянином... Чего же больше?..

Голос его слабел.

Ирас снова поднесла ему фиал с вином. Глотнув, он взглянул на нее — в его глазах была такая ласка, что Ирас, не выдержав, громко зарыдала.

Не сказав больше ни слова, он закрыл глаза.

Когда Клеопатра, склонившись к нему, назвала его по имени, он не ответил, — на нее смотрели тусклые глаза, нос заострился, бородатая челюсть отваливалась, и белели зубы.

— Умер! — воскликнула царица, и в ее голосе послышалось не то облегчение, не то радость.

Приказав Ирас и Хармион заняться похоронами римлянина, Клеопатра села на большой сундук, окованный железными полосами, в котором хранились сокровища Лагидов, и задумалась.

Она безжалостно предала, а затем и убила Антония. Цезарь будет доволен ею. И если ей удастся обворожить его и покорить своим телом — кто знает? Быть может, она сумеет подчинить своей власти единоподданного правителя Рима и стать царицей Италии, Египта, Эллады, Африки и Азии!

Прикрыв окровавленную грудь, которая сильно болела, она повелела Ирас подать ей вина и приготовить ложе. Затем, вынув из ножен отравленный кинжал, всегда носимый у пояса, сказала:

— Завтрашний день принесет жизнь или смерть. Что лучше — жизнь или смерть?

Ирас не ответила: она предпочитала смерть.

XXXI

В секстильские календы Октавиан вступил в Александрию. Город казался вымершим. Приказав собрать народ, он шел с философом Ареем, держа его за руку, до гимназии.

Перед ним была распростертая толпа александрийцев, дрожавших за свою жизнь и имущество.

Взойдя на возвышение и повелев всем встать, Октавиан произнес на греческом языке речь, сочиненную Ареем.

Он говорил презрительно, крикливым голосом, свысока и заключил речь следующими словами:

— Хотя вы заслуживаете строжайшей кары, я желаю простить вас, александрийцы, по трем причинам: во-первых, вследствие огромного уважения, которое я питаю к Александру Македонскому, основателю этого города, во-вторых, из-за величия и красоты Александрии и, в третьих, чтобы сделать удовольствие моему другу философу Арею.

Подозвав поэта Корнелия Галла, он приказал разыскать Антилла и Цезариона. Наследники Антония и Цезаря беспокоили его не меньше, чем Клеопатра, и он думал, как бы поскорее освободиться от них, боясь, что они начнут войну против него.

К удовольствию Октавиана, Антилл вскоре был выдан своим учителем и, несмотря на то, что искал убежища у подножия статуи Юлия Цезаря, был безжалостно убит, а голова его отнесена Октавиану.

На другой день Корнелий Галл доложил полководцу, что Цезарион отправлен Клеопатрой с сокровищами в Эфиопию, в сопровождении ратора.

— Канидий, Алекс, сенатор Овиний и другие? — спросил Октавиан, боявшийся, как бы не уцелел Канидий, знавший тайну победы при Актионе, и строптивый Овиний, начальник александрийских ткачей.

— Казнены.

— Еще что?

— Вырезаны приверженцы Антония, «друзья смерти», вольноотпущенники и рабы.

— Невольницы?

— Проданы публиканам для италийских лупанаров. Октавиан встал.

— Приказываю детей отправить в Рим: пусть Октавия воспитывает их.

— Ты говоришь о десятилетних близнецах — Александре-Гелиосе и Клеопатре-Селене? — спросил смуглолицый Галл, украдкой вытирая кровь с рукоятки своего меча.

— О них. Если гибрид будет пойман, — продолжал Октавиан, намекая на Цезариона, — доложить мне.

Вмешался философ Арей.

— Ты хочешь его пощадить? Вспомни, Цезарь, стихи Гомера и подумай, найдется ли в мире место для двух Цезарей?

— Казнить?

— Я советую для спокойствие римской республики. Когда Галл вышел, Октавиан сказал Арею:

— Я разрешил Клеопатре похоронить Антония с царскими почестями. Я слышал, что союзные цари и мои полководцы желают почтить побежденного, и не препятствую: он был великий муж. А Клеопатру я навещу после похорон Антония.

— Берегись ее, Цезарь! Она — опаснейшая из женщин. Ее чары губительны, как змеиный яд. Она обворожит тебя, как божественного Юлия или Антония...

— Меня? Ошибаешься, друг! Сердце мое — лед и камень. Афина-Паллада и Афродита — обе вместе — не сумели бы меня соблазнить.

Удивившись его словам, Арей некоторое время молчал. Потом сказал со скрытой насмешкой в голосе:

— Ты, Цезарь, удивительнейший из мужей! Моли этих богинь, чтобы благословили тебя и твой дом!

Октавиан собрался навестить больную Клеопатру.

По его настоянию она переселилась во дворец и жила, запершись в своей спальне в обществе Ирас и Хармион, изредка принимая управляющего, хитрого грека, который составлял опись ее сокровищ.

В спальне дымились две-три курильницы, распространяя аромат сгораемых благовонных трав и сухих восточных растений. Не было, как в прежнее время, эротических картин, роскошных ковров, ваз на треножниках, даже золотая ваза, служившая ночным горшком, была заменена глиняной, а роскошное ложе — соломенным тюфяком.

Клеопатра лежала в простом хитоне на тюфяке. Ей нездоровилось — лихорадка не давала покоя, израненные груди ныли. Легкий румянец окрашивал смуглое исхудалое лицо.

Хармион доложила, что стража, охранявшая дворец, громко приветствовала Цезаря и что он направился к покоям царицы. Ирас, сидевшая у изголовья Клеопатры, вскочила и, подбежав к ней, ожидала приказания. Но царица движением руки остановила ее...

Распахнулась дверь, и вольноотпущенник Октавиана прокричал:

— Гай Юлий Цезарь Октавиан!

Победитель входил, чуть прихрамывая, с легкой улыбкой на губах. Остановившись на пороге, он учтиво приветствовал Клеопатру, не называя ее царицею.

Спрыгнув с ложа, она, босая, растрепанная, упала к ногам Цезаря. Прекрасное лицо ее было искажено, голос дрожал, когда она говорила слова приветствия.

— Ляг, женщина, не волнуйся, — сказал Октавиан, отступая от нее и избегая протянуть ей руку, — он опасался чар, испуганный наставлениями Арея.

Ирас и Хармион уложили Клеопатру на соломенный тюфяк, и Октавиан сел возле нее. Он спросил, имеет ли она все необходимое и не жалуется ли на кого-либо.

— Увы, Цезарь, — вздохнула она. — Что нужно еще бедной, несчастной женщине? — И тут же принялась оправдываться, сваливая вину за враждебные действия против Рима на Антония, который хотел осуществить планы Юлия Цезаря и заставил ее, как римский проконсул, поступать так, как не поступила бы она никогда, предоставленная самой себе.

— Ты говоришь неправду, женщина! — возразил Октавиан. — Не ты ль потребовала от Антония отторжения римских провинций для твоих детей? Не ты ль настояла на разводе Антония с Октавией и заставила его двинуть войска и корабли к Актиону?

Клеопатра не смутилась.

— Ты плохо осведомлен, Цезарь! Враги очернили меня в твоих глазах, чтобы лишить твоего сострадания и великодушия. Будь же милосерден, Цезарь, к моим детям, выдели им земли, причлещтвующие их сану, не оставь их своими милостями!

— Будь спокойна, женщина!

— Я не прошу тебя, Цезарь, о себе, — продолжала Клеопатра, улыбнувшись, и сияние разлилось по ее лицу, — жизнь моя увядает, но я хотела бы жить, чтобы видеть твое величие на суше и на морях.

Как очарованный, смотрел Октавиан на нее!

Глаза его остановились на босых ногах царицы, и непреодолимое желание овладело им. Он протянул к ней руки и вдруг отшатнулся: в глазах Клеопатры сверкнул огонек торжества, и этот огонек, отрезвив Октавиана, решил участь царицы.

Цезарь встал.

— Прости, неотложные дела...

— Умоляю тебя, сядь, — сказала Клеопатра, чувствуя, что случилось что-то непоправимое, и не понимая, почему Октавиан внезапно охладел и нахмурился, — у меня тоже есть к тебе дело. — И, кликнув управляющего, повелела принести опись сокровищ, — Я, Цезарь, — улыбнулась она, и опять сияние разлилось по ее лицу, — позаботилась о том, чтобы ты знал...

Протянув царице опись сокровищ, грек стал упрекать ее, что она утаила часть драгоценностей.

Клеопатра вскочила с ложа и, схватив грека за волосы, с яростью хлестала его по щекам, царапая ему лицо.

— Проклятая эхидна, продажная собака! — кричала она пронзительным голосом, захлебываясь от бешенства, и вдруг обратилась к Октавиану: — Прости, Цезарь, за вспышку гнева, которую я не могла сдержать. Но подумай сам, разве это не ужасно, что раб вменяет мне в преступление — не преступление? Верно, я отложила несколько драгоценностей, и они не попали в опись; я хочу подарить их Ливии и Октавии, чтоб они упростили тебя быть добрее и снисходительнее ко мне...

Октавиан улыбнулся.

— Ты можешь хранить их, — сказал он — в надежде на блестящее будущее, которое ожидает тебя. Поправляйся же поскорее, а я прикажу жрецам молиться богине Валетудо о твоём выздоровлении. Прощай.

И он поспешно вышел, радуясь втайне, что обманул ее своими речами.

Наслышавшись об Октавиане как о демагоге, Клеопатра подозревала, что речи его и обещания были лживы, и беспокоилась о судьбе детей. Не имея возможности увидеться с ними, она знала о них только то, что ей говорили: дети в безопасности, находятся под покровительством Цезаря. Однако сомнения мучили ее. Узнав однажды, что через три дня Октавиан возвращается в Италию и берет с собой ее и детей, она поняла, что обречена на унижение, а потом и на смерть: Цезарь поведет ее, закованную в цепи, за своей триумфальной колесницей, римский народ будет издеваться над ней, плевать ей в лицо и бросать в нее камнями и отбросами, а затем ее ввергнут, по приказанию «милосердного» Цезаря, в Мамертинскую темницу и заморят голодом, как некогда Югурту, или задушат, как Аристоника.

Не выказывая ничем своих подозрений, она написала письмо Октавиану, прося позволения отправиться на могилу Антония, чтобы убрать ее, по обычаю, лотосами.

Это было ей разрешено.

Возвратившись во дворец, она выкупалась в цистерне и возлегла за столе Ирае и Хармион. Оживленно беседуя со своими любимицами, она часто поглядывала на дверь. Наконец вошла невольница, низко поклонившись.

— Некий земледелец принес полную корзину смокв, — сказала она. — Прикажешь, царица, взять их?

— Возьми, — повелела Клеопатра и, когда египтянин поставил корзину на столик и ушел, приказала рабыням удалиться. Написав письмо, в котором просила похоронить ее рядом с Антонием, она вручила его невольнику.

— Отнеси это Цезарю.

Сев на ложе, она говорила:

— Сегодня я решила умереть. А вы оставьте меня... уезжайте из страны Кем в Эфиопию, куда бежал сын мой Цезарион...

— Нет, царица! — одновременно воскликнули девушки. — Жили мы с тобой вместе — вместе и умрем...

— Пройдем в спальню.

Ирас и Хармион поспешно взяли корзину и понесли ее вслед за Клеопатрой.

— Одна из вас должна испробовать действие яда, — сказала царица и, указав на смоквы, прикрытые листьями, добавила, заметив движение Ирас: — Смелее, моя дорогая!

Вынимая смоквы, Ирас увидела черного аспида, пытавшегося скрыться под листком, и, раздражив его, подставила ему руку. Клеопатра с любопытством смотрела, как разъяренный аспид впился в руку Ирае.

Девушка оторвала его от своей руки, а Клеопатра быстро прикрыла корзину ковриком.

Шатаясь, с потным помертвевшим лицом, Ирае дошла до царицы и, повернув к ней голову, вымолвила прерывистым топотом:

— Яд действует... руки онемели... тело холодеет... И тихо опустилась на пол.

Клеопатра заглянула ей в глаза — они мутнели, девушка засыпала.

— Хорошо. Сними, Хармион, коврик...

Из-под листьев выглянул аспид и скрылся. Клеопатра торопливо выбрасывала смоквы на пол.

— А, вот где ты! — вскричала она, увидев аспида на дне корзины. Она дразнила его, то подвигая к нему руку, то отнимая ее (глазки взбешенной змейки сверкали, как угольки), и вдруг протянула ему руку. — Слава богам! Вероломный тиран будет лишен радости созерцать мой позор!

Хармион оторвала аспида от ее руки и поступила так же, как царица, «Легкая смерть», — думала она, поддерживая Клеопатру, и, отбросив от себя гадину, помогла госпоже улечься на ложе.

Одетая в великолепные царские одежды, Клеопатра лежала на золотом ложе, а Хармион, шатаясь, возлагала на ее голову диадему, когда дверь распахнулась и вбежали люди, посланные Октавианом.

Молча они остановились посредине спальни.

— Как это красиво! — воскликнул один из посланцев.

— Да, очень красиво и достойно потомка Лагидов, — ответила Хармион и, пошатнувшись, упала мертвая у ложа, рядом с Ирас.

Вошел Октавиан. Не столько обеспокоенный смертью Клеопатры (он не верил, что она умерла), как целостью ее сокровищ, он, тем не менее, приказал позвать псиллов, чтоб они высосали яд, и, кликнув управляющего, потребовал опись имущества царицы.

Псиллы, осмотрев руки Клеопатры, Ирас и Хармион, заявили, что трудно решить, от чего умерли женщины, — от укусов ли аспида или от уколов отравленными иголками, и принялись высасывать яд.

— Поздно, — сказал главный псилл и повелел своим помощникам оставить в покое Ирас и Хармион. — Яд распространился мгновенно — сердца женщин перестали биться.

Октавиан задумчиво стоял над трупом царицы. Слушая шепот римлян, восхищавшихся ее геройской смертью, он спрашивал себя, нужно ли выразить свое мнение, и, наконец, тихо выговорил, с лицемерной грустью склонив голову:

— Я восхищаюсь смелостью Клеопатры и ее верных служанок. Мудрая египтянка предпочла смерть позору, как будто я допустил бы ее до позора...

Помолчав, он обратился шепотом к Корнелию Галлу:

— Я решил оставить тебя префектом Египта. Взыщешь с граждан пени за сопротивление Риму: с богачей — шестую часть их имущества, со среднего сословия и бедняков — две трети. Отправишь в Рим все золотые вещи, вазы, статуи и сокровища Клеопатры, годные для перчеканки в монету. Еще до моего отъезда взыщешь с города в пользу моих легионариев по двести пятьдесят драхм на человека.

— Будет сделано, — сказал Галл, — Но скажи, Цезарь, почему ты говоришь мне об этом здесь?

— А оттого, дорогой поэт, что после смерти Клеопатры мои мысли приняли иное направление и новые решения созрели в моей голове.

Спустя несколько дней, встретившись с Галлом, Октавиан сказал ему с насмешкой в голосе:

— Птолемей XVI Цезарион выдан его учителем-греком и умоляет о помиловании, как будто я имею право поступать вопреки воле Рима. И я решил...

Галл поспешно перебил его:

— Имей милосердие, Цезарь! Ведь это сын божественного Юлия!

Октавиан нахмурился.

— О поэты, поэты! Ваше милосердие смешно в наше время. Вспомни слова Арея

о двух Цезарях, а также вспомни, что Власть любит кровь: это ее амброзия и нектар. Что? Ты смеешь мне возражать?..

— Я повинуюсь тебе, — молвил дрогнувшим голосом Галл. — Итак — ты решил...

— Я решил казнить Цезариона. Исполни же немедленно мой приговор, чтобы я мог спокойно отплыть в Италию... А Клеопатру, — громко сказал он, чтобы слышали римляне и египтяне, — похоронить, как она пожелала, рядом с Антонием.

XXXIII

Наконец он возвратился в Италию, этот «Покровитель земли и моря», как льстиво величали его азиатские греки, и отпраздновал триумфы: первый — над далматами, паннонами и иными племенами, второй — над Актионом и третий — над Африкой, то есть Египтом,

Лициния, Понтий и Милихий возвратились в Рим лишь к третьему триумфу. Оба видели, как за колесницей Октавиана везли скульптурное изображение Клеопатры, лежавшей на ложе, со змеей, обвинившейся вокруг ее руки. А за статуей царицы шли среди пленных царственные дети — Александр-Гелиос и Клеопатра-Селена: Солнце и Луна.

Играла музыка. Народ рукоплескал. И Октавиан, самодовольно улыбаясь, думал: давно ли его ненавидели и презирали как тирана, а теперь встречают с радостью, как величайшего из смертных, освободителя отечества, хотя он никого ни от чего не освободил, а только стал единодержавным правителем, обещавшим длительный мир в республике. В республике? Но ее уже не было, она погибла, когда утвердилось единодержавие, а Октавиан продолжал называть государство республикой, — не упразднил сената, оставив прежние порядки, как будто все осталось по-старому. И, хотя квириты видели, что старые республиканские формы — обман, а вся власть принадлежит императору, они не оспаривали притязаний Цезаря на единовластие; потому что гражданские войны надоели, народ устал от нищеты и безработицы и желал отдохнуть.

Октавиан приветливо улыбался, а в глазах таилась холодная презрительная насмешка: охлос, ненавидимый тираном, у его ног; тиран получил все трибунские права, каждая из тридцати пяти триб обязалась сделать ему подарок, весом в тысячу либр золотом; сенат утвердил все его распоряжения.

Он стал богатейшим мужем мира, присвоив царские земли, рудники, налоги на религиозные торжества, и дарил земли друзьям, чтобы еще больше привязать их к себе. Ростовщик, овладевший наследием Лагидов, должен был получать ежегодно с одного только Египта около шести тысяч талантов! Он стал богаче триумвира Красса и даже лидийского царя Креза.

Так думая, Октавиан улыбался, и вдруг на мгновение лицо его омрачилось: вспомнил Антония, продолжателя дела божественного Юлия, стремление его соединить Запад и Восток, основать монархию, подобную монархии Александра Македонского, Да, Антоний погиб, ему не удалось осуществить великих идей Юлия Цезаря, но разве он виноват перед человечеством, что Фатум или боги воспрепятствовали его стремлениям? Он так же велик, как Юлий Цезарь, и только он,

Октавиан, мало еще сделал для величия Рима и блага человечества. Что ж! Он молод, жизнь впереди, боги помогут ему установить единовластие на многие века.

Он улыбался, поглядывая на матрон и девушек, улыбался всем, и многие удивлялись, как можно было считать этого кроткого, миролюбивого и веселого молодого мужа тираном?

Лициния, Пойтий и Милихий молча смотрели на твердую Власть, вступившую в Рим. И каждый думал одно и то же.

...Шли садами Виминала.

— Тирания победила, — сказала Лициния, — но надолго ли? Семя, брошенное народными борцами, не погибнет и даст великолепные всходы. Придет время, и на борьбу поднимутся сотни, тысячи и сотни тысяч угнетенных, поднимутся, когда осознают, что под личиной кротости, доброты и милосердия скрывается холодная демагогия и кровавая тирания... Мы победим, друзья, победим!..

— Когда? — вздохнул Милихий. — Видишь, какая сила в его руках? Только горсточка осталась таких, как мы...

— И горсточка хорошо! — прервал Понтий. — Горсточка сделает свое дело, подготовит плебс и рабов к новым боям.

— Когда это будет? — повторил Милихий.

На лице женщины выступил румянец. Поправив седые волосы, свисавшие вдоль щек, она сказала, протянув руку:

— Когда это будет, спрашиваешь, Милихий? Неизвестно. Но это будет. И если не дождемся мы и не дождутся наши потомки, полной победы добьются будущие поколения... Верь, верь, Милихий, что мы, наши потомки и потомки наших потомков донесут искру нашей борьбы до будущих поколений, и тогда вспыхнет великая борьба, которая принесет освобождение всему миру.

— Я верю, что это будет так, — сказал Милихий, — но как тяжело и трудно будет нам жить эти годы, десятилетия, а может быть, и столетия!..

Понтий весело хлопнул его по плечу:

— Не унывай, друг! Плебс вечно молод и всегда готов к борьбе. Сегодня он тешится, как несмышленное дитя, а завтра... На это завтра мы будем работать и накапливать свои силы.

Они вышли на площадь. Громкие голоса глашатаев, донеслись до них:

— *Rex Romana! Rex Romana!*³³ Так говорит Цезарь Октавиан. Отныне кончились войны, и римский народ может спокойно жить и трудиться!

Лициния обернулась к друзьям:

— Слышите? Он возвещает вечный мир на могиле республики, не помышляя о нуждах бедняков. Нет, не вечный мир, а вечную борьбу заповедали нам Гракхи, Сатурнин, Спартак, Клодий и Сальвий, и пока народ не добьется полной победы на земле, только демагог может кричать о вечном мире!

КОНЕЦ РИМСКОЙ ТЕТРАЛОГИИ «ВЛАСТЬ И НАРОД»

³³ Вечный мир.

ПРИМЕЧАНИЯ

Абак — стол или поставец о трех ножках, на который ставилась посуда, золотая и серебряная, обыкновенно напоказ.

Авгуры — жрецы, предсказывавшие события и вещавшие волю богов по внутренностям животных и по полету птиц.

Автаракия — невозмутимость духа, спокойное душевное состояние.

Агафокл (— 289 г. до н. эры) — сиракузский тиран, успешно боровшийся с местной аристократией и воевавший с Карфагеном, В момент смерти под властью Агафокла была большая часть о-ва Сицилии.

Агосилай (442 — г. до хр. эры) — спартанский царь.

Агис III — спартанский царь; на престоле с 244 г., убит в 240 г. по приговору эфоров вследствие того, что начал борьбу с эвап-тридами за раздачу земель беднякам и периэкам.

Агора — рыночная площадь в греческих городах. Нередко ее окружали простыми галереями, украшенными статуями замечательных граждан, богов и героев.

Адгербал — сын Миципы, царя нумидийского; убит в 112 г. до хр. эры по приказанию Югурты.

Адонай — господь (еврейское название Ягве, т. е. бога).

Адонис — прекрасный юноша, любимец Афродиты; в честь его были учреждены в Передней Азии, Египте, Греции и Риме празднества, называемые Адонии.

Аид — по верованию древних — властитель преисподней, подземный Зевс.

Академия — участок к северо-западу от Афин, обнесенный стенами и осененный оливковыми и платановыми деревьями. Место прогулок и занятий гимнастикой. Здесь учил Платон, а затем его ученики.

Актеоц (миф.) — греческий герой-охотник, обращенный Артемидою в оленя и растерзанный собственными собаками.

Александр II Птолемей X — пасынок Вероники, жены умершего царя Птолемея IX Александра I — царь Египта; умерщвлен разгневанным народом за убийство жены своей (мачехи), на которой женился по приказанию Суллы.

Амброзия — по представлению древних, — пища богов, доставлявшая им вечную юность и производившая божескую кровь.

Аменти — по верованию древних египтян, подземный мир, населенный черными тенями умерших.

Аммон-Ра, или Аммон-Солнце — по верованию египтян фиванского периода, бог солнца, царь богов, единый творец вселенной. Изображался в виде человека с бараньей головой и витыми рогами.

Амфитрион — хозяин, охотно принимающий у себя гостей.

Амфора — глиняный сосуд, употреблявшийся для хранения вина или масла.

Амфиктионы — племена, жившие вблизи какого-либо святилища и вошедшие между собой в союз для его защиты, совместного отправления празднеств и т. д.; также представители этих племен. Самой знаменитой из амфиктионий была дельфийско-фермопильская.

«Анабазис», или «Восхождение», — сочинение историка Ксенофонта, изображающее поход Кира Младшего против своего брата Артаксеркса, царя персидского, и возвращение на родину греческих наемников, среди которых

находился и сам автор.

Анадиомена — «из пены рожденная» — название Афродиты.

Анакреон (580 — 495 г. до хр. эры) — греческий лирик, воспевавший радости жизни и грусть по поводу непрочности их.

Анаксагор (500 — 428 г. до хр. эры) — знаменитый ионийский философ, друг Перикла; его учениками были Фукидид и Эврипид. За объяснение солнечного и лунного затмений, как естественных явлений, был обвинен в безбожии и изгнан из Афин.

Анаксимандр (611 — 546 г. до хр. эры) — математик и философ из Милета. Началом всего сущего считал безграничное, бесконечное, которое выделяет из себя и воспринимает неизменные стихии. Первый в Греции открыл наклонение эклиптики и изобрел солнечные часы.

Анаксимен (556 г. до хр. эры) — философ из Милета, учивший, что основой мира есть божественный воздухообразный эфир. Вычислил наклонение эклиптики.

Андроник Ливий — первый римский поэт, родился в 280 г. до хр. эры, умер в конце III века. Перевел на латинский язык «Одиссею».

Аннибал (247 — 183 г. до хр. эры) — великий карфагенский полководец, сын Амилькара Барки, сражавшегося с Римом во время I Пунической войны, воевал с римлянами в течение II Пунической войны; вторгся в Италию, где продержался около 15 лет. Вызванный в Африку для защиты Карфагена, которому угрожал Сципион Африканский Старший, он был разбит римским полководцем при Заме, бежал к сирийскому царю Антиоху Великому, а затем в Малую Азию, но, преследуемый римлянами, принял яд, не желая сдаться в плен.

Антиполис — колония массалийцев в Нарбонской Галлии.

Аппаритор — слуга из свободнорожденных, следовавший за магистратом.

Аргус (миф.) — многоглазый великан, поборовший чудовищного быка, опустошавшего Аркадию. Первоначально многоглазый Аргус обозначал звездное небо.

Аристарх Самосский — греческий астроном, жил в 250 г. до хр. эры. Представитель гелиоцентрической системы мира.

Арсак — прозвище или титул парфянского царя. Арсаками назывались все парфянские цари, управлявшие Парфией с 256 г. до хр. эры по 226 г. хр. эры.

Архилох — поэт-лирик, прославившийся в особенности своими ямбами. Жил в VII веке до н. эры.

Асклепий — греческий бог врачебной науки, сын Аполлона. По преданию, он даже воскрешал людей, за что Зевс поразил его молнией как нарушителя порядка мира.

Аспазия — знаменитая греческая гетера; родилась в 470 г. до хр. эры; с 445 г. супруга Перикла.

Асс — медная монета стоимостью от 2 до 4 коп. на наши деньги.

Астрагалы — кости, выбрасываемые игроками из мешочка поочередно.

Ассигнация — отведение, распределение земель.

Атаргатис — богиня земли у древних сирийцев,

Аторы — египетские богини судьбы.

Атриенсис — раб, в ведении которого находился атриум, *imagines maiorum*, картины, столовая посуда и пр.

Атриум — комната для приема гостей и клиентов, с водоемом для стока дождевой

воды; первоначально это был крытый двор; здесь же находился очаг.

Аттический фут — мера длины у греков, равнявшаяся 296 миллиметрам, или 0,296 метра.

Ауспиции (аруспиции, гаруспиции) — римская коллегия жрецов-предсказателей, совершавших священные гадания. Согласно преданиям, гадания аруспициев заимствованы римлянами у этрусков.

Базилики — великолепные здания для судебных заседаний и торговых дел.

Баллиста — метательная машина, бросавшая тяжелые камни и длинные бревна в дугообразном направлении, под углом в 45°.

Беллона — богиня войны у римлян.

Бирема — судно с двумя рядами весел».

Биселла — двухместное кресло.

Вакх (у римлян) или Дионис (у греков) — бог цветущей природы, вина и веселья.

Вакханка — жрица Вакха.

Валетудо — богиня здоровья.

Веста (у римлян) или Гестия (у греков) — дочь Кроноса и Реи, сестра Зевса, богиня семейного очага и жертвенного огня Рима, покровительница семейного единодушия и мира.

Вилла — имение, деревенский дом, служивший для целей сельского хозяйства.

Виллик - управляющий имением, обычно раб или вольноотпущенник.

Виндикатор (см. Марс).

Военный трибун (см. Трибун).

Всадники - сословие публиканов, купцов, ростовщиков, вообще денежных людей, обладавших имущественным ценном (четыреста тысяч сестерциев), достаточным для занятия по закону Гая Гракха судебных должностей.

Ганнибал (247 — 183 г. до н. эры) — великий карфагенский полководец, сын Гамилькара Барки, знаменитого полководца, сражавшегося с Римом во время I Пунической войны (защищал Сицилию) и покорившего большую часть Испании. Ганнибал воевал с римлянами в течение II Пунической войны, вторгся в Италию, где продержался около 15 лет. Вызванный в Африку для защиты Карфагена, которому угрожал Сципион Африканский Старший, он был разбит римским полководцем при Заме, бежал к сирийскому царю Антиоху Великому, а затем в Малую Азию, но, преследуемый римлянами, принял яд, не желая сдаться в плен,

Гаруспик — гадатель по внутренностям животных, прорицатель, истолкователь знамений.

Гезиод — знаменитый греческий поэт, живший в VIII веке до н. н. эры. Из его произведений известны: «Труды и дни» и «Теогония» («Происхождение богов»).

Геката — богиня Луны, властительница ночи, привидений, ночных страхов, покровительница колдуний.

Гелиос — по верованию греков, — бог Солнца, брат Селены (Луна) и Эос (Утренняя Заря); со времени Эврипида он отождествлялся с Фебом-Аполлоном.

Гераклит Эфесский (535 — 475 г. до н. э.) — греческий философ; он учил, что все течет и не пребывает вечно, а началом природы является вечно-живой огонь.

Гермес (см. Меркурий).

Гесия (см. Веста).

Гигантомахия — борьба гигантов с богами.

Гиксы — пастушеские племена, покорившие Египет ок. 1700 г. до н. эры и

владевшие им 150 лет, т. е. до начала XVI века до н. эры. Египтяне их называли гиксы, т. е. цари-пастухи.

Гиматий — верхняя одежда греков до колен и ниже их, носимая обыкновенно поверх хитона. При выходе на улицу в нее обыкновенно закутывались.

Гимназий — место для гимнастических упражнений, окруженное колоннадой, с банями, местами для состязаний, прогулок и пр., где собирались философы, риторы и т. п. (См Экседра).

Гиммет — гора в Аттике, к югу от Афин, знаменитая своими пчельниками и мрамором — синегато-серым и белым, который славился у римлян во времена республики.

Гинекей — у древних греков (кроме спартанцев) — задняя часть дома, где жили взаперти женщины.

Гиппократ (460 — г. до н. эры), родом из Коса, отец врачебного искусства; первый обосновал медицину на научных законах.

Гистрион — актер, комедиант.

Гор — древнеегипетский бог света и солнца, сын Озириса и Изиды, мститель за отца.

Грамматик — ученый, сведущий в языках и литературе, занимавшийся толкованием языка древних писателей.

Дамоклов меч — символ непрочности земного величия.

Декурион — начальник декурии (см. ниже), а также сенатор муниципального города или колонии, старшина судебных и иных коллегии.

Декурия — воинское отделение, обычно состоявшее из десяти человек.

Децимация, или децемвирование, — казнь каждого десятого воина, независимо от того, виновен он или нет, за воинские проступки, как, например, бегство войск с поля битвы, разбитых неприятелем.

Дивизор — раб или вольноотпущенник, покупавший голоса у бедных граждан в пользу своего господина.

Диктерион — греческое название дома терпимости.

Динарий — римская серебряная монета, составлявшая 4 сестерция или 10 ассов.

Дионис (см. Вакх).

Дорическая колонна — самая простая и строгая; она соответствовала суровому характеру дорян: не имела основания и ставилась непосредственно на землю; вершина ее представляла собою четырехугольный камень.

Драхма — греческая монета, состоявшая из 6 обол; стоимость ее равнялась 25 коп.

Дуилий Гай — консул, одержавший в 260 г. до н. эры первую морскую победу над карфагенянами благодаря применению abordажных крючьев.

Зев с-Ксений — Зевс-гостеприимец.

Иды — середина месяца; для марта, мая, июля и октября иды приходились в 15-й, а для остальных месяцев — в 13-й день (в зависимости от наступления полнолуния).

Изида — древнеегипетская богиня природы и плодородия, супруга Озириса, «великая волшебством», законодательница, покровительница брака, мудрая изобретательница медицинских средств.

Император — полководец.

Империй — высшая власть, данная консулу, диктатору или претору: право повелевать на войне и во время мира, право жизни и смерти граждан (*ius vitae*

pecisque).

Имплювий — водоем для стока с крыши дождевой воды, находившийся в атриуме.

Ирод — сын иудейского полководца Антипатра, захвативший власть в Иудее и признанный иудейским царем вторыми триумвирами. Управляя Иудеей, Ирод с исключительной угодливостью выполнял все пожелания римских правителей. Алчный и жестокий, он сильно угнетал население подвластной ему страны, выколачивая из нее огромные средства, шедшие на роскошные постройки и подарки римским политическим деятелям. Подавляя недовольство, Ирод не остановился перед казнью жены, тещи и ряда сыновей.

Калига — полусапог легионария.

Кальда — горячий напиток из вина и воды.

Каппадокия — страна, расположенная в Малой Азии; она делилась на Таврскую Каппадокию и Каппадокию Поитийскую, жителей которой греки называли белыми сирийцами.

Карнеад (213 — 129 г. до н. эры) — греческий диалектик и философ-критик, осмеивавший богов; его разрушительная работа способствовала развитию эклектизма. Он искал признаков истины, лежащих выше области чувств и конечного разума.

Катапульта — метательное орудие, выбрасывавшее большие стрелы, нередко длиной до 1,5 метров, почти в горизонтальном направлении.

Квадрига — четверка лошадей, запряженная в колесницу.

Квестор — магистрат, охранявший государственную казну, архив в храме Сатурна, ведавший платежами из казны и взыскивавший деньги с должников. В народном суде он был обвинителем. На войне исполнял обязанности интенданта.

Квири́н — сабинское имя Марса, бога войны; так был назван обожествленный Ромул.

Кви́риты — граждане вообще, в отличие от политического и военного названия «римлян».

Кентавры (миф.) — полулюди, полулошади.

Кентавромахия — борьба кентавров.

Кирена — страна на северном берегу Африки, завещанная римлянам в 96 г. до н. эры последним царем Апионом из побочной ветви фамилии Птолемеев.

Клепса — 1/3 часа, равнявшаяся 20 минутам.

Клепсидра — водяные часы, употреблявшиеся особенно при судебных разбирательствах.

Клиенты — свободные люди из числа обнищавших нобилей, вольноотпущенников и плебеев, а также жителей завоеванных земель, перебежчиков и пришельцев. Они находились в зависимости от знатного лица, называемого патроном, который им покровительствовал; они должны были поддерживать патрона, в случае необходимости, на выборах, сопровождать на войну, принимать участие в семейных празднествах патрона и пр.

Когорта — 1/10 легиона, состоявшая из 400 или 500 человек.

Колоны — в республиканское время — свободные съемщики земли, мелкие арендаторы, мызники, находившиеся под контролем хозяина. В случае неуплаты денег по договору они становились дольщиками и за их работой учреждался надзор.

Комиции — народное собрание вообще.

Комиции трибутные — собрания граждан, на которых голосование

производилось по трибам. Каждая из 35 триб считалась за один голос. Эти собрания посещали патриции и плебеи; здесь избирались квесторы, морские дуумвиры по отведению колоний и обсуждались законы.

Комиции куриатные — патрицианские собрания, состоявшие из 30 курий. В республиканское время почти утратили свое значение.

Комиции центуриатные — народное собрание, учрежденное, по преданию, шестым римским царем Сервием Туллием. Оно состояло из патрициев и плебеев, распределенных по цензу. Прежде чем подавать голос по предложенному вопросу, лица, принадлежавшие к одной и той же центурии, совещались вместе. Мнение центурии представляло собою один голос. Число голосов в народном собрании равнялось количеству центурий. Но так как большинство центурий принадлежало к I классу (самые крупные землевладельцы), то этот класс имел перевес над всеми остальными; следовательно, I класс, состоявший из нобилей, имел в центуриатных комициях решающее большинство. Однако допущение плебеев в народное собрание являлось доказательством, что плебеи — римские граждане. В III веке до н. э. число центурий во всех пяти классах было доведено до 70.

Комплювий — отверстие в крыше, через которое дождевая вода стекала в имплювий, находившийся в атриуме.

Конклав — комната матроны (будуар).

Консул — должностное лицо, избираемое в центуриатных комициях и вступавшее в свою должность 1 января. Консулов было два. Они пользовались военной и гражданской властью. Военная власть включала следующие права: ежегодный набор войска, назначение военных трибунов и центурионов, предводительство войсками в Италии, кроме г. Рима. Им подчинялись все магистраты, кроме народных трибунов. Во время диктатуры деятельность их прекращалась. Гражданская власть консулов состояла в руководстве внутренними и внешними делами. Консулы сзывали сенат и председательствовали в нем, сзывали народ в комиции. У каждого из них было по 12 ликторов с пучками розог.

Консуляр — бывший консул.

Контуберналий — однопалаточник, т. е. молодой знатный римлянин, добровольно поступивший в распоряжение полководца ради своего военного образования. Он обедал вместе с вождем, жил в одной палатке с другими контуберналиями.

Кора — название Персефоны, властительницы подземного царства.

Конции — народные сходки, на которых могли присутствовать вольноотпущенники, рабы и иностранцы.

Крез — лидийский царь, сын Алиатта; на престоле с 560 — 546 г. до н. эры. Разбитый персидским царем Киром, он был взят в плен. Известен огромными богатствами, что вошло в поговорку: «Богат, как Крез».

Ксений (см. Зевс).

Лаватрина — баня.

Лагиды — династия, царствовавшая в Египте от смерти Александра Македонского (конец 322 г. до н. эры) до обращения Египта в 30 г. до н. эры в римскую провинцию.

Лаиса — знаменитая гетера, жившая во время Пелопоннесской войны (V век до н. эры).

Ланиста — учитель, обучавший гладиаторов искусству сражаться на арене.

Лапиты (миф.) — фессалийские горцы, враждовавшие с кентаврами.

Ларарий — ниша, в которой хранились лары, домашние боги.

Ларвы — по римскому верованию, злые духи умерших злых людей, в противоположность ларам, добрым духам.

Легат — 1) посол римского или иностранного государства; 2) помощник и советник полководца или наместника, назначаемый сенатом. Военный легат замещал полководца, претора, квестора, наместника, охранял лагерь, командовал частью войска.

Легион — крупная войсковая единица у римлян, состоявшая в военное время из 4200 — 6000 воинов и всадников и разделенная на 10 когорт.

Лектика — переносимые рабами носилки, которыми пользовались состоятельные люди.

Лено — содержатель лупанара.

Либра — римский фунт, равнявшийся граммам,

Ливий Андроник — первый римский поэт; родился в 280 г. до н. эры, умер в конце III века. Перевел на латинский язык «Одиссею».

Ликторы — стражи, сопровождавшие высших магистратов — диктатора, консулов, преторов, пропреторов и др. В мирное время они несли связки прутьев, а в военное — вкладывали в них секиры.'

Логогриф — хитрый вопрос, шутка.

Локоть — мера длины, равнявшаяся 45 см.

Ludi Romani — игры, посвященные Юпитеру, Юноне и Минерве; они продолжались пятнадцать дней.

Луперкалии — празднества в честь Фавиа (Луперка), италийского бога стад, происходившие 15 февраля.

Люцина — название Юноны, или Геры, как богини родов. В честь ее замужние женщины праздновали 1 марта Матроналии,

Магистрат — должностное лицо, как, например, консул, претор, цензор, квестор, эдил, народный трибун и др.

Мания — древнеиталийская богиня земли и подземного царства, покровительница манов, мать ларов.

Маны — по верованию италиков, души предков. В честь их ежегодно 21 февраля праздновались Фералии, праздник мертвых,

Марс (у римлян), или Арес (у греков), — бог войны, сын Юпитера (Зевса) и Юноны (Геры).

Марс Виндикатор — Марс-мститель.

Матрона — название всякой добродетельной замужней женщины у римлян,

Мегалезии — празднества в Риме в честь Великой матери (Magna mater) от 4 до 12 апреля ежегодно.

Менада — жрица Вакха, неистовствовавшая, во время священной пляски в честь бога.

Меркурий (у римлян), или Гермес (у греков) — бог сна, покровитель стад, торговли, изобретений и открытий, путеводитель странников.

Миля римская — составляла около 7,5 стадия, или 1,479 км.

Мим — актер, разыгрывавший мимы, т. е. пьесы, сюжет которых, часто непристойный, вызывал смех у зрителей.

Мойры — по верованию греков, богини судьбы, посылавшие людям добро и зло. Они не зависели от воли Зевса и даже стояли выше его.

Муниципия — небольшой город, имевший право гражданства, свой сенат,

комиции, магистратов и казну, находившуюся в ведении квестора или эрария.

Народный трибун (см. Трибун).

Немезида — богиня мести, дочь Ночи.

Неопифагорейцы — сторонники философского направления, составляющего сочетание разнообразных философских систем, признаваемых истинными (эkleктизм); неопифагорейцы верили в мистическое значение чисел, проповедовали религиозность и нравственность. Первым римлянином-неопифагорейцем был Нигидий Фигул.

Нептун (см. Посейдон).

Нимфы (миф.) — духи, жившие в рощах, ущельях и у источников; изображались в виде девушек.

Нобили — знатные лица плебейского и патрицианского происхождения, предки которых занимали курульную должность (диктатура, консулат, цензура, претора и эдилат).

Нума Помпилий (см. Помпилий).

Нундины — 9-й день первой и третьей недели месяца — праздничный, рыночный день.

Обол — мелкая афинская монета, равная 1/6 драхмы, стоимостью 4 до 5 коп.

Озирис — египетский бог солнца и Нила, загробный судья, муж Изиды.

Олигархия — форма государственного устройства, в котором власть принадлежит нескольким знатым лицам, стоящим во главе государства и бесконтрольно управляющим им. Поддерживая всецело свое сословие, олигархи способствовали политическим и экономическим выгодам его.

Оптиматы — лица консервативных взглядов, в противоположность популярам, знатные землевладельцы, принадлежавшие к сословию патрициев и патриархальной части зажиточного плебса, ревниво охраняя свои интересы, они были противниками демократических реформ.

Орел легиона (aquila) — военный знак римских легионов со времени Мария. Орел был сделан из серебра, водружен на длинном шесте и находился в ведении знаменосца, принимавшего его из рук примипила (см. это слово). Во время боя знаменосец стоял в третьей боевой линии возле триариев, и место, где он стоял, считалось священным. Защита орла была долгом чести воинов, а потеря его — позором.

Охлократия — господство низов — (плебеев и вольноотпущенников), народное управление.

Охлос — так называемая «чернь» (греческое название простонародья).

Палестра — специальная школа для борьбы.

Папирус — письменный материал, вырабатывавшийся из растущего в Египте волокнистого растения семейства осоковых.

Парки (см. Мойры).

Парфенон — храм Афины-Девственницы в Афинах, сооруженный в V веке до н. эры.

Парфенос — Дева, название Афины-Паллады (Минервы).

Патрон — покровитель клиентов. Он защищал их в суде, помогал нередко деньгами, заботился об их нуждах (см. Клиенты).

Пафлагония — государство, находившееся в горной области северной части Малой Азии и граничившее с Понтом и Вифинией.

Пенаты — домашние боги римлян, охранявшие семью. К ним принадлежали

Веста, Юпитер, Лары и т.д. как хранители дома.

Пенелопа — супруга Одиссея, мать Телемаха (см. «Одиссею» Гомера).

Пентера — греческое судно с пятью рядами гребцов.

Пенула — широкий дорожный плащ с капюшоном.

Пеплос — женская одежда у греков. В Риме ей соответствовала палла.

Пергамент — тонко выработанная кожа, заменявшая в древности бумагу; впервые пергамент стал изготавливаться в Пергаме (Малая Азия).

Перистиль — задняя часть дома, находившаяся позади таблинума; она была обнесена крытой галереей на колоннах.

Петаз — род шляпы с узкими полями, носимой греками.

Пилей — остроконечная шапка, символ свободы, носимая вольноотпущенниками, а также авгурами.

Пирр — знаменитый полководец, эпирский царь, воевавший с римлянами в 280, 279 и 275 гг. до н. эры; погиб во время уличной схватки в Аргосе в 272 г.

Плетр — мера длины, равная 1/6 стадия, или 30,83 метра.

Поликрат — самосский правитель, вождь демократов, управлявший о. Самосом с 532 по 522 г. до н. эры. Взятый в плен персидским сатрапом Ороном, он был распят на кресте, после того как с него была содрана кожа.

Помериум — незастроенное, считавшееся священным пространство по обе стороны городской стены, с оградой или частоколом.

Помпилий Нума (715 — 672 г. до н. эры) — второй римский царь, родом сибинянин. По преданию, он учредил богослужебные обряды, жреческие коллегии (весталки, авгуры, салии и др.), распространял образование среди грубого римского народа.

Понтифик, или Понтифекс, — жрец, состоявший в жреческой коллегии, которой было поручено управление всем религиозным бытом, общественным и частным богослужением.

Популяры — название демократов (плебеев и бывших воинов), боровшихся за земельные наделы, кассацию долгов, раздачу дарового хлеба и т.п.

Порнея (см. Диктерион).

Портик — крытая галерея с колоннами.

Посейдон (у греков), или Нептун (у римлян) — бог морей.

Претор — магистрат, исполнявший обязанности судьи, устраивавший игры в честь Аполлона, в честь Цибеллы и в цирке.

Претория — площадка перед палаткой полководца в лагере.

Префект — магистрат, назначаемый ежегодно в союзнические города для наблюдения за исполнением законов и справедливым управлением городом; также начальник флота, конницы и т.д.

Приап — бог плодovitости, продолжения рода.

Примипил — старший центурион; он имел право заседать в военном совете как член его, ему доверялся орел легиона (см. Орел легиона).

Проконсул — консул, назначенный сенатом управлять провинцией.

Помощником у него был квестор, заведывавший финансами.

Пропилеи — преддверие, украшенное колоннадою.

Простас — зала в греческом доме.

Пта — древнеегипетский бог, творец мира и всех вещей, отец богов. В Мемфисе фараоном Менесом был ему построен великолепный храм, в котором поклонялись

Апису, священному «изображению бога Пта», под видом быка,

Публиканы — откупщики, которым государство сдавало на откуп сбор налогов в многочисленных провинциях Рима. Они вносили в государственную казну определенную сумму денег и потом бесконтрольно собирали в свою пользу налоги.

Пунические войны (264 — 146 г. до н. эры). I Пуническая война — война между Римом и Карфагеном за остров Сицилию — кончилась победой римлян; получив Сицилию, Рим наложил на Карфаген контрибуцию в 3200 талантов серебром, т. е. около 9 миллионов рублей. II Пуническая война происходила за Испанию и господство в Средиземном море. Выиграв ее (Ганнибал был разбит Сципионом Африканским Старшим при Заме), Рим потребовал выдачи военного флота и уплаты контрибуции (10 тысяч талантов с рассрочкою на 50 лет). III Пуническая война возникла из-за торговой конкуренции Рима и Карфагена. Сципион Эмилиан взял Карфаген после трехлетней осады и разрушил его до основания.

Ра — вернее Рэ — божество солнца, первоначально почитавшееся в Нижнем Египте, а впоследствии и в остальной части страны.

Рамзес II (1292 — 1226 г. до н. эры) — фараон XIX династии, воевал с хеттами, о чем оставил хвастливые надписи, полные самовосхвалений.

Сапфо (VII в. до н. эры) — лирическая поэтесса, воспевавшая радости жизни; жила на о. Лесбосе.

Сатиры (миф.) — лесные и горные духи, плутоватые, падкие до вина и женщин, резвые и трусливые; их изображали с остроконечными козлиными ушами, щетинистой шерстью и небольшим хвостом.

Сатурн — древнеримский бог земли и посевов.

Сенат — римский совет старейшин, состоявший позднее, в республиканское время из бывших магистратов, как патрицианского, так и плебейского происхождения, называвшихся сенаторами. В древности в состав сената входило 300 человек. Гай Гракх довел число сенаторов до 600, прибавив к прежним тремстам еще всадников. Гай Юлий Цезарь довел число их до 900.

Серапис, или Озирис-Апис, — древнеегипетский бог умерших, врачебного искусства, спаситель от болезней и смерти.

Сестерций, или нумм, — римская серебряная монета, равнявшаяся до 217 г. до н. эры 2 1/4 г ассам, или 1/4 динария; а впоследствии — 4 ассам. Курс сестерция в разное время то падал, то повышался.

Сет — бог разрушения, враг Озириса и Изида, покровитель притеснявших Египет чужеземцев.

Сети I — египетский фараон, отец Рамзеса II, жил в XIV веке до н. эры. Прославился войнами с пастушескими племенами, сирийцами, арабами, нубийцами и др.

Силен (миф.) — пьяный спутник Вакха. Изображался похожим на .-сатира.

Синграфа — вексель.

Скопас — знаменитый греческий скульптор IV века до н. эры.

Солон — афинский законодатель. В 594 г. до н. эры провел ряд мер, которыми облегчил положение демоса (они известны под названием сейсахтени, т. е. «сотрясения бремени»); разделил граждан на четыре класса не по знатности происхождения, а по имуществу.

Софисты — философы, учившие, что человек судит о каждом явлении, о каждой вещи с своей собственной точки зрения. Они говорили, что каждый человек есть мера

истинного и ложного, есть мера всех вещей. Их последователи отрицали всякую возможность знания и, играя словами и выражениями, доказывали верность какой угодно мысли, что не мешало им тотчас же отвергнуть ее, по желанию слушателей. Они осмеивали добродетели, развивали неуважение к закону, к местным божествам, к религии предков.

Стадий — римская мера длины, равнявшаяся 177,7 метра, т. е. более 1/6 км.

Стикс — по верованию древних, река в подземном царстве Аида.

Стил — палочка, металлическая или из слоновой кости, с заостренным концом, которой греки и римляне писали на навощенной дощечке.

Стоики — философская школа, основанная Зеноном в IV в. до н. эры. Стоики учили твердо переносить все невзгоды и страдания, ограничивать свои потребности и смотреть на жизнь, как на служение известному долгу.

Стола — одежда знатных матрон, надеваемая поверх туники.

Стратег — главнокомандующий греческими войсками и заведующий военными делами государства.

Сурена — название у парфян самого высшего сановника, возлагавшего на царя диадему при вступлении его на престол.

Таблинум — комната, расположенная между атриумом и перистилем — сначала была столовой, потом рабочей комнатой хозяина дома.

Талант — денежная единица у греков, равнявшаяся 60 минам, по 100 драм каждая (драхма состояла из 6 оболов). Стоимость таланта была различна в разное время; средняя — около 1500 р.

Тартар (миф.) — подземная бездна. Тартар, по понятиям древних, был окружен тройным слоем мрака и железной стеной с железными воротами. Здесь были заключены Кронос и Титаны, низвергнутые Зевсом.

Теллура — богиня земли, соответствовавшая греческой Гее; римляне сближали ее с Церерой и в праздник посевов совершали в честь ее жертвоприношения.

Терминалии — праздник (23 февраля), учрежденный Нумой Помпилием в честь бога Термина, защитника границ и собственности.

Тессера — свинцовый жетон на право получения хлеба, масла и пр.; также пропуск.

Тетрарх — один из четырех правителей страны, как, например, в Галатии.

Тот — древнеегипетский бог мудрости и правды, «трижды величайший», руководитель усопших в их странствованиях по преисподней; с ним греки отождествляли Гермеса.

Триарии — старые служилые воины, вступавшие в бой в том случае, если с неприятелем не могли справиться принцепсы, воины второго ряда.

Трибун военный — один из шести предводителей части легиона. Их командование было разделено таким образом, что в течение двух месяцев двое из них ежедневно чередовались, — следовательно, каждому из них приходилось исполнять службу по два раза в год в продолжение двух месяцев.

Трибун народный — должностное лицо, защитник интересов плебеев, выбиравшийся из их среды. Эта должность учреждена в 494 г. до н. эры, по настоянию плебса. Народный трибун имел право отменять решения нобилей, не выгодные для плебеев, налагать на закон veto («запрещаю»). Сперва избирались два трибуна, затем пять, а потом десять. Личность трибуна была священна и неприкосновенна. Оскорбление его считалось преступлением против богов. Трибун сзывал плебеев в

трибутные комиции, куда они сходились для обсуждения своих нужд. С 149 г. (закон Антиния) трибуны, подобно другим магистратам, после окончания трибуната стали входить в состав сената.

Триклиний — столовая.

Туника — одежда, надеваемая на голое тело.

Унция — мелкая римская монета, равнявшаяся 1/12 асса; унция также составляла 1/12 римского фута и 1/12 югера.

Уреус — золотая или из позолоченной бронзы змея, как талисман предохранявшая фараона от убийства.

Урна — глиняный или металлический сосуд для собирания пепла и костей, оставшихся от трупа после его сожжения.

Фавн (миф.) — добрый бог стад и предсказаний. Подобно Сильвану, лесному богу, он живет в чащах, предсказывает будущее, преследует нимф, а также женщин своей любовью.

Фатум — судьба, рок.

Ферония — богиня, покровительствующая вольноотпущенникам.

Фидий — великий греческий художник-скульптор, живший при Перикле.

Фурии, или Эриннии, или Эвмениды — богини мести, особенно за убийство матери, родственников.

Харон (миф.) — старик-перевозчик душ через Стикс в подземном царстве Аида.

Хитон — нижняя одежда, носимая греками.

Хлайна (у греков) — шерстяной плащ, застегиваемый на левом плече и оставлявший свободной правую руку, — одежда преимущественно демоса.

Хламида — роскошный плащ, носимый греками.

Хронос — время.

Центурион — сотник, начальник центурии, состоявшей из двух манипулов.

Цинциннат — политический деятель. Избранный диктатором в 458 г. до н. эры (послы сената нашли его в поле за плугом), он разбил сабинян и возвратился к своим земледельческим занятиям.

Эвклид — знаменитый греческий геометр, живший в III веке до н. эры в Александрии.

Эдилы — заведующие городской полицией, помощники трибунов. Они арестовывали виновных, приводили в исполнение казни над осужденными, выступали обвинителями лиц, нарушивших права плебеев. Они заведовали деньгами, которые составлялись из пеней, налагаемых трибунами, наблюдали за порядком в городе, за общественными и частными строениями, устраивали плебейские игры.

Эдилат — вторая плебейская должность, учрежденная одновременно с трибуналом, т. е. в 494 г. до н. эры.

Экседра — полукруглая ниша портика в гимназии, снабженная сидениями. Здесь обыкновенно беседовали философы, риторы и др. (См. Гимназий).

Энний Квинт (239 — 169 г. до н. эры) — поэт, отец латинской литературы; ввел гекзаметр, написал в стихах римскую историю и поваренную книгу.

Эол (миф.) — царь ветров.

Эос (миф.) — богиня зари. Утренняя заря.

Эпикур (— 270 г. до н. эры) — греческий философ, основоположник философской школы, носившей по имени своего учителя название эпикурейской. Жил с г. в Афинах, где в приобретенном им саду излагал слушателям основы своей

философии. Эпикур признавал ощущение источником познания окружающей нас действительности. Ощущение получается часто внешним путем в результате случайного сцепления атомов. В этом положении философия Эпикура являлась родственной философии Демокрита. Человеческая душа, по мнению Эпикура, состоит из мельчайших атомов, разлитых по всему телу. Счастье человека, составляющее цель всякой философии, состоит в устранении неприятных и создании приятных ощущений. Достигается это путем воздействия на чувства разума и воздержания от всяких излишеств, т. е. умеренностью. По мнению К. Маркса «Эпикур... величайший греческий просветитель». «У Эпикура совершенно последовательно проведена и закончена атомистика со всеми ее противоречиями»... (К. Маркс, Сочинения, т. I, стр. 66). В последующее время философия Эпикура понималась в высшей степени вульгарно. Многие лица, называвшие себя эпикурейцами, понимали учение Эпикура как одобрение грубых чувственных наслаждений. В таком же виде учение Эпикура изображалось и христианским духовенством, ненавидевшим философа-материалиста.

Эпона — богиня, покровительница возниц.

Эрарий — казначейство, помещавшееся в храме Сатурна.

Эргастула — рабочий и смиренный дом; также общежитие для рабов.

Эрембы — название народа, жившего рядом с сидонянами.

Югер — мера площади, равная 0,25 га, или 0,2 десятины.

Янус — римский бог входа, дверей, ворот, начала и начинания различных дел. Он изображался двуликим и считался первым после Юпитера.